



ЮЖНОЕ СИЯНИЕ

ОДЕССКИЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ЖУРНАЛ

3(19)' 2016

Главный редактор
Станислав АЙДИНЯН

Выпускающий редактор
Сергей ГЛАВАЦКИЙ

Отдел поэзии
Людмила ШАРГА

Отдел прозы
Ольга ИЛЬНИЦКАЯ

Отдел литературоведения
Алёна ЯВОРСКАЯ

Общественный совет:
Евгений Голубовский (Одесса), Владимир Гутковский (Киев),
Олег Дрямин (Одесса), Олег Зайцев (Минск),
Кирилл Ковальджи (Москва), Татьяна Липтуга (Одесса),
Марина Матвеева (Симферополь), Виктор Петров (Ростов-на-Дону),
Александр Петрушкин (Кыштым), Юрий Работин (Одесса),
Илья Рейдерман (Одесса), Анна Стремшинская (Одесса),
Александр Хинт (Одесса), Евгений Черноиваненко (Одесса).

Свидетельство о регистрации: серия ОД № 1563-434-Р от 16.11.2011 г.
Учредитель – Общественная организация «Южнорусский Союз Писателей»

Е-mail редакции: aurora_australis@lenta.ru
Интернет-версия журнала: ursp.org

© «Южное Сияние», 2016

В НОМЕРЕ

ПОЭЗИЯ

- Одесса: Валерий Юхимов. **Туман, пришедший с моря цитатой.** *Стихотворения* 4
Одесса – Германия: Лев Либолов. **«Мой город во мне, будто Спас на крови...».** *Стихотворения* 11
Одесса: Ирина Дубровская. **История, меняющая землю.** *Стихотворения* 17

ПРОЗА

- Одесса: Галина Соколова и Элла Мазько. **Стонет белый голубочек...**
Отрывок из романа «Хождение по Золотой Горшок, или Сказки Гофкина» 22
Евпатория: Николай Столицын. **Третий – не лишний.** *Кино-проза* 31

ПОЭЗИЯ

- Кыштым: Александр Петрушкин. **Раздавленный кузнечик воздух.** *Стихотворения* 42
Франкenthal: Михаил Юдовский. **Я здесь не родился, я здесь не умру.** *Стихотворения* 47
Киев: Елена Лазарева. **Будь справедливым, Господи!** *Стихотворения* 52

ПРОЗА

- Одесса: Сергей Шаманов. **Идеальная форма.** *Рассказ* 59
Одесса-Иерусалим: Евгений Кузьмин. **Искушение пустотой.** *Рассказ* 70
Одесса: Ольга Соколова. **О чём грустит начальник Главпочтамта.** *Рассказ* 75

ПЕРЕВОДЫ

- Чеслав Милош. **Стихотворения.** *В переводах с польского Анны Стреминской* 80

ПОЭЗИЯ

- Оренбург: Виталий Молчанов. **Весь мир – тайга.** *Стихотворения* 86
Санкт-Петербург: Владимир Шемшученко. **Капельки васильков.** *Стихотворения* 90
Киев: Тамара Синеева. **«Будто снег, пешеходная зебра...».** *Стихотворения* 93

«ДРУЖБА ЖУРНАЛОВ»

- Сокровенные свирели 45-й параллели.** *Вступительная статья* 98
Новосибирск – Нальчик: Георгий Яропольский. **Окно открыто в дождь.** *Стихотворения* 100
Москва: Игорь Царёв. **Лотос в руке.** *Стихотворения* 104
Москва: Михаил Анищенко. **Буратино.** *Стихотворения* 108
Харьков: Екатерина Егоренкова. **Всё, что нужно знать о любви.** *Стихотворения* 112
Санкт-Петербург: Евгений Каминский. **Предчувствие рассвета.** *Стихотворения* 116
Ногинск – Москва: Игорь Гонохов. **Одуванчики.** *Стихотворения* 120
Ашдоа: Михаил Дынкин. **Орфей в аду.** *Стихотворения* 124
Красноярск: Сергей Кухнечихин. **Обсчитаю кукушку.** *Стихотворения* 128

«ЛИТМУЗЕЙ»

Москва: Андрей Краевский. **Гибель богов. Часть 1-3.** Блок Александр Александрович,
Гумилёв Николай Степанович, Короленко Владимир Галактионович 133

«ОКОЕМ»

От редакции: **Провинция у моря.** *Итоги и впечатления* 160
 Москва: Людмила Калягина. *Стихотворения* 166
 Киров: Наталья Панишева. *Стихотворения* 171
 Ростов-на-Дону: Борис Вольфсон. **Миры.** *Стихотворения* 176
 Ростов-на-Дону: Александр Соболев. *Стихотворения* 181
 Москва: Наталья Горященко. **Круг по дороге из жёлтого кирпича.** *Стихотворения* 186
 Киев: Анна Протасова. *Стихотворения* 189
 Харьков: Дмитрий Блазнюк. *Стихотворения* 192
 Ярославль: Наталья Масленникова. *Стихотворения* 196

«ШКАФ»

Коломна: Александр Руднев. **Корней Чуковский – критик и Леонид Андреев.**
К проблеме взаимоотношений писателя и критика 199
 Евпатория: Елена Коро. **Елена и Протей.** *О книге Елены Меньшиковой «Слёзы Гераклита»* 204
 Кирьят-Гат: Леонид Колганов. **У чужого огня.** *О романе Емельяна Маркова «Маска»* 207
 Москва: Станислав Айдинян. **В книге Светланы Василенко...**
О книге Светланы Василенко «Дневные и утренние размышления о любви» 208
 Москва: Станислав Айдинян. **«Тёплый свет памяти» Сергея Тимшина.** *Рецензия* 210
 Москва: Станислав Айдинян. **«Колыбельная дождя» – книга тихой лирической струны.**
О книге Людмилы Саницкой «Колыбельная дождя» 211
 Полоцк: Александр Раткевич. **Поэтический импульс Брониславы Волковой.** *Рецензия* 213

ВАЛЕРИЙ ЮХИМОВ

ТУМАН, ПРИШЕДШИЙ С МОРЯ ЦИТАТОЙ

за молом карантинной гавани,
где слышен выговор австрийский,
тяжелым языком брокгауза
волна карябала страницу,
и ссадин красные пакгаузы
срывали стружья черепицы.

шумерской клинописи маузер
блудил с восторгом ученицы
староконюшенной гимназии
вдали от моря на дальницкой,
во время зимней менопаузы,
обрызганной сухим игристым.

смахнув кефирную испарину,
волна пророчеством излиться
стремилась, аве кайну
с гвоздикой в краповой петлице,
так выброшенная афалина
на берег – продолжает биться.

светает, стая микки-маусов
повисла, опрокинув лица,
двухвостая кривая гаусса
вот-вот над ними надломится,
песок оплавлен в жемчуг паюсный
и карта памяти дымится.

низкая нота наутофона вязнет в раскисшем
склоне запавшей клавишей,
бронхиальный спазм
сжимает нарезамы косточку вишни,
как ружье мюнгхаузена
боеприпас.



как крокодил солнце, туман пожирает пространство,
заглатывая частями и перешливая
двойными рядами зубов,
постоянная больцмана зябко дышит на пальцы,
увеличивая энтропию,
как вирусная любовь.

это сам туман исходит реликтовым стоном,
его ртутные капли-химеры
помнят рождение звёзд,
сливаясь в колонны капельных батальонов,
надвигаются лангольеры
с глазами стрекоз.

за ними то, что было пространством, серой
массой выдавливает свечение
фонаря,
серые в этом занятии преуспели,
град обречённый,
выстроенный зазря.

строевое пенне обрастает воем, твоя одежда
промокает, подвержена тлению,
а душа,
облачком пара дышит на руки, безнадежно
согревая маленькую вселенную
на кончике карандаша.

туман, пришедший с моря цитатой, ничего кроме,
накрыл ненавидимый город, гигрометр
меняет прокладки системы ольвиз, капли
свисают длинные, как когти или ноги у цапли,
с фонарей, заключённых в пространство судоку,
тьнь роняет голову и ложится сбоку.

можно предположить, что здешняя местность – равнина,
пока не встретишь попа, имама или раввина,
они предпочитают поближе к небу, где ветерок нежит,
а тут лишь ты сам-один, да прочая нежить,
и у кошки в доме вздыблена грива –
мутные воды твои, yellow river.

жёлтый паучий туман вызывает кашель,
но если накапать грамм сто пятьдесят капель
с утра, то до обеда хватает и нежить проходит мимо,
как приснопамятные пилигримы,
в сетях тумана бьются фотоны мячом в шинболе,
попадание в глаз – считается голом.

при счете 3:0 в челси пустеют пабы,
потеряв надежду, в долг отдаются бабы,
в жёлтом тумане жёлтые даже кэбы



и жёлтый сотерн неизменно хорош после обеда,
«по вечерам страницы окон жолты»
я рифмовал в поэме – «да пошёл ты!»

открой глаза поворонее, стань зрачком, вбирая
полёт фотонов – в одиночку, стаей,
не отражая лишнего, дырой в пространстве,
куда уходит прошлогодний снег, слетая пальцы
с любовью прошлогодней, стань невидим,
как гантенбайн, прощай, мой друг. овидий.

нет у меня другого народа, он говорил,
и писателей других тоже нет,
и ежели моисей кругами своих водил,
то на это ушло 40 лет.

отопедшего века тень длинна и горбится на песке,
накрывая тебя и меня, как волна, собирающая яссык,
тень резна и узорчата – кес кё се?
это лишь простреленный век и его наборной язык.

это лишь разрывная трава виридоновой зеленью целит висок,
там, где дикость орды оседлала великие грязи,
тень бежит от заката, легко проминая песок,
на котором вигтрувий квадратил свои эрмитажи.

поголовье парето исчислено тенью, она
есть не просто отсутствие света, но серая масса,
в дуализме свободы частица-волна
силы страха сжимают мошонку в гримасе.

по утрам тень становится на весы и намазывает бутерброд,
оставляя пространству вмятину на паркете,
половицы скрипят, как неверный лёд,
торопящийся слиться с шампанью в буфете.

тень прирастает тенью, и нет числа,
чтобы ей поставить в предел,
трудова гудит в апогее пчела
и пыхтит старик-скарабей.

притяжение тени растёт с приближением к ней,
словно к сфере шварцшильда, откуда
не возвращался никто, и темнеет в окне,
и тускнеют глаза у посуды.

и уже по ту сторону, дописываю карандашом,
не отображенным при переходе, с горстью монет,
я бы и рад сказать, и тебе и себе – шалом,
но – ничего здесь хорошего нет.



ртутная лампа желтит туман, как фотографию – время,
маяк насаживает на коленвал линзу френеля
и даёт обороты, дробя лучом висящие капли,
красные брызги пахнут вином, не так ли?

кролик прячется в шляпу, как дождевой рапан, его стошнило,
дождь говорит – жди, и размывает чернила,
хранившие верность фотокартинке, в отличие...
ещё живая, глядит с неё, безразлично.

туман – старый шулер, потомок потёмкина и броненосца,
гримирует старуху, чьи мёртвые души оскароносны,
мёртвые камни осквернены варварой –
свиноматкой варваров, творящих потраву.

злые тени синеют с подъёмом флага
на плацу, где чернила следят бумагу,
где согласные маршем в кибуце иврита –
квадратным шрифтом земля полита.

тот, кто уехал – умер, и тот, кто остался – умер,
на холсте дыра, лишь безумный зуммер
из двадцать восьмой осиротевшим псом воет над пляжем –
скоро, моя душа, вместе ляжем.

веки вагонным лязгом цепи, отходит перрон,
словно воды красного моря просыпаются в сон,
век один, а за ним другой, не размыкая глаз,
фараон скрипит тормозами, путая тормоз и газ.

декамерон на рельсах, пустое, их стало два,
красный огонь засекает поле, и сон-трава
освещает сцену, где фортинбрас
за двумя землекопами наблюдает, как тинто брас.

не убирай ладони, как гертруда – не пей вина,
запри свой вагонный домик на все времена,
на два оборота избушки, беги – но куда бежать,
потому, искривляй пространство, прогибая кровать.

там осыпаются стены, не выдержав кривизну,
параболоид антенны нацель на морскую волну,
эхом её просодий свой катакомбный храм
наполни смиренно, помни, рядом нагрядший хам.

он в полсекунды сзади, он на шаг впереди,
кривая поверхность впадин, влученности среды,
дважды в одну воронку, как дважды на грабли, в лоб,
в пещере платона рондо читаются наоборот.



тени горгоньего мира, словно наскальный язык,
 медуза терзает сатира, остолбеневшего варызг,
 ни взглядом, ни деньгой, ни вдохом не прикасайся к чуме,
 которая вертер эпохе уже подписала вчерне.

где на ветру рваное пугало пляшет
 линиялым пламенем сторожевых башен
 городской окраины, там предместье
 обрывается, словно магнитофонная запись, вместе
 с лестницей, оловянное небо миской
 накрывает брынзу, редиску с зелёным миксом,
 рядом бутылка, не виски, но водки, почата,
 натюрморту в рифму – кукурузный початок.

там обрыв над морем, по ржавой глине
 можно судить о возрасте коломбины,
 чье платье в горошек, уже лет сорок –
 винтажный товар, исчезнувший с полок.
 сполох зарницы с форою в три секунды
 сотрясает стакан, словно фау-2 в пенемюнде,
 не расплескивая, спёртый воздух вязок
 и грозы приближаются метастазы.

чтобы изгнать болезнь – допить бутылку,
 ветер сносит грозу, как любовник пылкий
 в палисаде штaketник, на юг, к стамбулу,
 янычары не пьют – им грозу надуло.
 на холсте со временем соль морская
 разорвёт кракелюрами покрывало
 с натюрмортом и сцену вокруг – топлесс...
 там сейчас асфальт, да и тот затоптан.

тело её было упруго, как well done стейк,
 матовая мадура отливала латунью, ремейк,
 её родина – пылающий в огне гондурас,
 в умелых руках она зажигалась на раз.
 в первой трети быстрыми пальцами нащупывать фа-диез,
 разгоняя сонату, как электростанцию, до 50 гц,
 разжигая пламя, завернутое в покров,
 главные ноты заданной темы – кожа, гвоздика, любовь.

после она набирала силу, раскрывая один за одним,
 вкус чернослива, некоторую строптивость и дымный дым,
 педаль поскрипывала, словно старый матрас,
 и столбик пепла держался ровно, хоть напоказ.
 неторопливо спустившись с холма, потянуть, не давая остыть
 молоточкам, струнам и проч., чтоб аккорд «изыдь!»
 был окрашен торфяным стоном ардбега на берегу
 и водоросли заплетали пальцы – играй, уже пофигу!



соната вступает сигарой в рондо, пронзённое кедром всласть,
над обречённой жирондой встаёт крестовая масть,
с жарким дыханием спора, стянуть с неё смятый бант,
так отступает море с добычей, левиафан
бьёт хвостом, собираясь взлететь, завтра у него выходной,
проливается кремом речь, на губах остывает зной,
и тогда лишь пальцы отпускают ноту земля,
и она осыпается пеплом – ля-а-а...

как абиссинская рабыня,
податлива и холодна,
согретая лучами синими,
качала бёдрами волна.

её минутная покорность,
обман гребущего пловца,
взбивающего жадным кролем
медуз дрожащие сердца.

волна подбрасывает гребень,
то в такт ему, а то – не в такт,
а он, мятежный, ждёт побега,
как шлиссельбургский арестант.

он упирается в тугую,
ему не властную среду,
и ощущает себя – буюм,
паря над прорубью во льду.

от этой гребли абиссинив,
евгений, мухой янтаря,
захлебывается россини,
кляня в россии вечера.

и ненавидит эту греблю,
потёртости и боль спины,
зачем он в воду лез намедни,
какие, к фрейду, видел сны?

волна сжимает конвульсивно
его пещеристый объём,
как в фильме ночи абиссинии –
феллиниевский приём.

на берегу, где бродят плинни,
где сливы жарче, чем восход,
изодранному оливами,
к нему прямая речь придёт.

она нечаянно нагрет,
как комиссары в казино,
их вороненые наганы –
давным-давно, давным-давно.



в деревню, к тётке, в тополиную
степную тень, где гул затих,
и равнобедренными клинами
яр поднимает тракторист.

волна потянется под утро,
умоется, стряхнув пловца,
и покрывалом штиля, бухту,
застелет абсентинница.

ну что ещё делать в этой глуши,
девок драть, да карябать стиши,
от зарплаты к зарплате считать гроши,
да на море глядеть в тоске.
поселение невелико, пограничный наряд
собирает мидии, автомат –
один, и россыпь гранат,
если враг подплывёт на доске.

сочинителей тьма, живописцев каюк,
бакланы с листвой отлетают на юг,
невзирая на узость брюк,
в клубе одни торгаши.
ещё молдаванки не слышно речь,
уже долетает из крыма картечь,
и молчит запорожская сечь,
в ожидании чан кайши.

уже не россия, ещё не стамбул,
если с бореем пускаться в загул,
прощай, ещё-не-ингул,
в карантине французский слог.
гарбий поддаст – не россия ещё,
уже не стамбул, но волна горячо
цепляет во рту крючок –
несочиненных эклог.

чугунный мой холодит постамент,
журчат фонтаны, ангажемент
получил постовой мент –
сгонять с меня голубей.
за спиной, которой я был лишен,
городской голова, изошрён и прожжён,
набивает свой красный мошон –
в думе правит eBay.

племя младое прыщи пубертат
давит и пудрит, как сто лет назад,
репортёры ведут stand up,
и бессмыслен российский град.
беспощадное время полураспад
ускоряет, и цепи звенят,
в портовых карманах ребят...
их не любил сократ.

ЛЕВ ЛИБОЛЕВ

«МОЙ ГОРОД ВО МНЕ, БУДТО СПАС НА КРОВИ...»

СКАЗОЧНИК МАГРИБА

И нечего сказать... Молчу, как рыба,
Наплёл довольно, что уж там скрывать.
Небригой рожей сказочник Магриба
славянских дев укладывал в кровать,
но только в мыслях, души не тревожа.
А что теперь... Итог совсем не нов –
судьба легко накидывает вожжи
на самых непокорных скакунов
и ставит в стойло. Может, и жестоко,
и лучше пристрелила бы, но ей
куда милей молчание Востока,
чем жаркий шёпот западных кровей
и лязг ножей в дворовых передрягах –
какие сказки, тут не до вранья...
Писаки – те же пришлые варяги,
в чужое сердце искру зароня,
сожгут и храм. Поэтому, пожалуй,
пора понять – я лучшего не смог,
а меч не лучше скифского кинжала,
когда тебя подрежут под шумок.
За что – неважно. Хватит глухих бредней,
любой сюжет истории знаком –
незванный гость потопчется в передней,
потом впотьмах повозится с замком
и всё поймёт - опять пошёл по кругу,
в любой земле, тем паче – на Руси,
княжна вольна подтягивать подпругу,
да бить плетьюми, о большем не проси.
Так должно быть, так правильно, так верно,
пора молчать, и значит – замолчи.
Кому нужна рифмованная скверна,
кому нужны поддельные ключи
от царских врат. Владея тайной речи,
храни секрет, Создатель будет рад...
Твоя судьба осталась в Междуречье,
где к Тигру жмётся бешеный Евфрат.



Я это знаю... Дар необъяснимый
 никак нельзя кому-то ставить в плюс.
 Мои слова... Я сам расстанусь с ними,
 я брошу их, я с ними расплююсь,
 чтоб дальше жить без голоса и слуха,
 в своём дворе, в доме, в себе самом.
 Тогда от строк, во мне звучащих глухо,
 уже никто не тронется умом.
 А дикий скиф не станет новосёлом
 в моём стихе... на кухоньке моей.
 Пора писать о чём-нибудь весёлом.
 Пора писать... Да только вот сумей
 молчать, но в голос... Если же, однако,
 рискну упрятать малое в большом,
 пошлёт Всевышний встречу с акинаком,
 а может – с дагой или палашом.

И ПРИХОДИТ ВОЛЧОК

И приходит волчок, за бочок укусить слегонца,
 недокурен бычок и на донце немного винца,
 но стакан отставляю в сторонку, тушу сигарету...
 Вспоминаю, как мама читала мне этот стишок –
 он когда-то меня доставал до нутра, до кишок,
 я об этом сегодня тебе расскажу по секрету.

Мама очень боялась, что буду курить – и курю.
 Что сопыюсь – а не пью, но привычка лежать на краю
 почему-то со мной... Ну, подвинься – я с краешку лягу,
 ты – под стеночку лучше. А серый волчок не жесток,
 он детей не утащит. Ракиновый редкий кусток
 не укроет собой ни меня, ни тебя, ни делягу-

борзописца, который писал колыбельную так,
 словно это ничто, словно это пустяк за пятак,
 но такой пустячок удержал на краю от запоя...
 И чинарик затушен – пожара не будет, не бойсь.
 Да, заядлый курильщик, но всё-таки не из пропойц,
 просто мамино счастье, седое и полуслепое

без очков. Только память бубнит – не хорош, не высок,
 а волчок переборчив – таких не потащит в лесок...
 Можно я докурю и допью, ты прости что упрямый,
 что усну незаметно, как будто бы исподтишка,
 у тебя на груди... И приснится стишок про волчка,
 и, конечно же, мама приснится... Конечно же – мама.



СЕРЁЖА

Окно в муравьиных дорожках
и крошках для малых сих...
Ты где, мой товарищ Серёжка?
Где прочие, Боже спаси...
Да живы ли? Пали до пвали?
Смету с подоконника сор.
Серёжка, мы переживали
обиды мальчишеских ссор.
И синие знаки на рожках
и едких бычков никотин...
Серёжа... скажи мне, Серёжа,
зачем я сегодня один,
не веря ни в бога, ни в чёрта
сухую горбушку крошу,
зачем так не рада аорта
ритмичных толчков барышу.
Пустой подоконник, и тропы,
которыми шли муравьи.
И твой послежизненный опыт –
колючие крошки в крови.

Зима. Колёса режут наст, скользят в
безумство круг разутый... Водила
мёртвый коренаст,
в крови и пятнышках мазута,
ещё не ведая о том,
что умер, в пол вдавил педали...
И встреча падает пластом
на снег... Неведомые дали
зовут к себе, крестом клеймят
его и сбитую собаку...
И вспыхивает горький мат,
как спичка в горле бензобака.

Осень, злая скелетность куста,
прободение стужей,
обнуление старых констант.
Мёрзнешь, кутаясь туже,
плечи съезжены – так существуй, и
не жаждай реванша...
Пусть листва укрывает листву,
облетевшую раньше.



Вот парк – осенняя обитель
 пернатых ангелов небес...
 Почти роденовский мыслитель,
 холодных мыслей мелкий бес
 в мозгу сидит... Ещё мостится,
 зачем-то влезшая туда,
 ополоумевшая птица,
 стихи роняя из гнезда.

это зима, Господи, снег во дворах,
 чёрных акаций строй и голоса грачи...
 мама пекла оладушки, кушались на ура,
 помнится до сих пор – сладки да горячи.
 после – чайку, Господи, мёд, пахлава,
 время умчалось вскачь, кажется – оглянись –
 сад городской, где парочки, музыка и слова,
 давит на кнопки всласть дяденька-баяннист.
 нет никого, Господи, сломан баян,
 парк замело совсем, так и валит стеной
 снег... музыкант на облаке, весел, речист и пьян,
 шепчет – со мною, Господи, эти со мной.

в детстве болел ангинами,
 горло горело, цвело и дёргало
 росчерками сангинными,
 охристыми или около.
 чуть кашлянёшь – и сморщишься –
 красным глотнёшь и слезинку выдавишь.
 гнусная хворь – надсмотрщица,
 преданейшая из идолиц
 долгой зимы. отчаянье
 глухих мальчишек, тут нечем хвастаться.
 будет лекарство чайное –
 жёлто-оранжевое маслице
 в чашке плавёт, пахучее –
 охра, сангина, ангины острые –
 кашельное беззвучие
 живёт на забытом острове –
 памяти... и не вспыхивай,
 помнишь – ангинам сдавал экзамены –
 маслице облепиховое,
 пахло, как руки мамыны.



Обожжённое дерево с пулей в стволе,
что ты маешься, листья бросая...
Им не просто лежать на убитой земле,
там, где смерть проходила босая,
словно красная девка крестьянских кровей,
что в минуту одну постарела,
будто маленький, вжатый в кору муравей,
перепуганный после расстрела.

Из боя выйти, начисто стереть
зубовный скрежет, адский запах серы...
От всех смертей, запомнится лишь треть,
совсем не повод, чтоб в миссионеры –
учить других. Израненный комбат
хрипит – вали волков в овечьей шкуре.
А после ангел, пламенем объят,
в сердцах шипит – у нас в раю не курят.

Всесильный бог, призри своих дворняг,
любую тварь, любого кабыздоха.
Учи любить, напутствуй. На крайняк –
не понял кто – неслабо отмудохай.
Лепил-то сам, и если запорол –
твоя вина. Расхлёбывай, любезный.
Включи погромче райский рок-н-ролл –
его полезно слушать перед бездной.
Пошли собак по капелькам росы,
пускай бегут, взлетая норовисто
под небо, цвета вытертой джинсы,
на оклик, неожиданный, как выстрел.

Фасады – ракушечник, пиленный в куб,
вращённый своим же нутром,
и монументальная холодность губ,
щеке – отрезвляющий хром
на поручнях старых трамваев твоих,
зимой дребезжащих навзрыд...
Мой город во мне, будто Спас на крови,
и я в нём навеки зарыт.
Он сдавленный крик в глубине катакомб,
по стенам – рисунок морей...
Трамвай уходящий, оторванный тромб,
по улице – вене моей.



Бездонных глаз холодный кобальт
желает обжигать... Тверда
в греховных помыслах до гроба
замоскворецкая орда.
Буянит, пьёт, скрываясь в длинных,
подбитых ветром, вечерах...
И жаждет ласки, словно глина
в железных пальцах гончара.

Бледный юнкер, Питер строгий,
отражается в Неве.
Обивает Бог пороги
в поднебесной синеве.
Не спускается в столицу,
знать водица холодна,
да юнцов безусых лица
улыбаются со дна,
будто ангельская стая,
что спешит под отчий кров...
Лёд крошится, отпуская
в небо мёртвых юнкеров.

Почти святые у киоска
бутылку делят на троих.
И в строчку лыко, и здоровско
идёт в картину каждый штрих
в кругу, где жизнь без антуража,
где ловят слово с языка,
и где равны в питейном раже
интеллигенты и ЗЭКА.
Кто выпил – стал богаче Креза,
познал красоты разных стран...
И я меж них, писака трезвый,
никем не званный эмигрант.

ИРИНА ДУБРОВСКАЯ

ИСТОРИЯ, МЕНЯЮЩАЯ ЗЕМЛЮ

ТОВАРЫ НЫНЕШНЕГО ДНЯ

Гроша не стоит Божий дар,
Товары нынешнего дня
Все на виду – гламур, пиар
И сетевая трескотня.

Их пёстрым блёсткам нет цены,
Они, рождённые тщетой,
Как псы, хозяину верны –
Тельцу в короне золотой.

Яснее ясного уже,
Что он и тянет нас ко дну,
И мир в гламурном неглиже
Вступает в новую войну.

О, пик военных авантюр!
Подняв планету на дыбы,
Всю власть берут пиар, гламур
Под залпы сетевой пальбы.

О, как воинствует тщета,
Глумясь над вечною душой!
Мораль же строчек сих проста,
В них нет премудрости большой:

Текли б иначе наши дни,
Когда б считалось образцом
Хоть что-то Вечности сродни,
Хоть кто-то, ставший над тельцом.

НА ТРИЗНЕ

Сердце птицею бьётся,
Чужа смену уклада.
Прежний мир не вернётся,
Да уже и не надо.



О минувшем не плачу
В маете бесполезной.
Стал хрусталик иначе
Видеть звёзды и бездны.

И, как в очи любимой
Смотрит любящий чутко,
Так и взор мой в глубины,
Как бы ни было жутко

От пугающих видов,
Проникает отважно.
Мир уродов, гибридов
С их душою продажной,

Как ни бесится, всё же
Уберётся с дороги,
Мира истины Божьей
Не осилит в итоге.

Но жестокая схватка,
Громыхая оружием,
Косит, как лихорадка,
Наши связи и дружбы,

Заставляет на тризне
Вспомнить суть и причины
Отнимающей жизни
Мировой бесовщины.

ИСТОРИЯ

Мы только и успели удивиться,
Как зрители в кино, разинув рты.
Гляди, при нас История творится,
День ото дня из мелкой суеты

Её черты над нами вырастают.
Вчера ещё заметные едва,
Сегодня очевидностью пронзают.
Ну что ж, давай, вступай в свои права,

История, меняющая Землю!
Пора открыть стучащей в дверь судьбе.
Тебя страшусь, но нехотя приемлю.
Тебе казнить и миловать тебе.

ПРОСЬБА

Как маленький человек
В эпоху больших страстей,
Прошу я: жестокий век,
Моих пожалей детей!



Нет-нет, не ошиблась я,
Все дети сейчас мои,
И в сердце шумит струя
Тревоги за них. Струи

Мне этой не превозмочь,
Я маленький человек.
Прошу, мировая ночь,
Не делай из них калек!

Не режь их под корень, дай
Им шанс пережить твой ад,
Эпоха свирепых стай,
Которым сам чёрт не брат.

Ты слышишь, бурлит струя,
Как в море, где корабли.
То просьба к тебе моя
От всех матерей земли.

КОГДА ДОЖИВЁМ

Когда всё закончится, голос живой
Расскажет о схватке смертельной.
Мы жили в эпоху войны мировой,
Гибридной войны беспредельной.

Когда всё уладится (может быть, вдруг
Удастся дожить до финала),
Не будем делиться, кто враг, а кто друг,
И спрячется едкое жало

Вражды человеческой, что нынче язвит
И сердце калечит отравой.
Когда доживём, что-то мне говорит,
Что станут любезнее нравы,

Сердца милосердней... Седой головой
Кивает согласно прохожий.
«Мы жили в эпоху войны мировой».
А предки нам вторят: «Мы тоже...»

МОЙ ЯЗЫК

Н. Смирновой

На чём, сама не знаю я,
Когда повсюду крен,
Жизнь как-то держится моя,
И жажда перемен

Не гаснет в сердце, видит Бог.
Неяркий свет во тьме
Я различаю – русский слог
Ещё живёт во мне,



И нерушима наша связь.
 Со мною мой язык
 И русский дух, что отродясь
 К лишениям привык.

На том стою, на том держусь
 И, видит Бог, не вру,
 Когда пишу, что эта жуть
 Однажды поутру

Пройдёт как морок, как туман,
 От солнечных лучей.
 Минует срок и наших ран,
 И наших палачей.

И мы вздохнём тогда вольней,
 Осилив злой недуг,
 Свидетель сумеречных дней,
 Товарищ мой и друг.

Диктует не мирская власть
 Мне этих строк полёт,
 А мой язык и к слову страсть,
 Что лишь со мной умрёт.

ОБРАЩЕНИЕ К ЕВРОПЕ

Русский человек... есть человек не играющий.
 М. Кудимова

Солнцу ведомо палящему,
 Знамо облаку с дождём:
 Всё у нас по-настоящему,
 Не играем, а живём.

При любой беде присутствуем,
 Как о сродниках, скорбя.
 Проникаемся, сочувствуем,
 Пропускаем сквозь себя.

Изумляясь нраву местному,
 Аж сойдёте вы с лица:
 Всё взаправду в нём, по-честному,
 Всё без края и конца.

Веселились вы за играми,
 Наводили красоту.
 Мы – в сраженьи были тиграми,
 Мы стояли на посту.

Вы, молясь благополучию,
 Привечали духов тьмы.
 Мы пожертвовали лучшими,
 Вас спасая от чумы.



Смерть налогами подушными
Цельный вывезла обоз.
Может, это потому что мы
Всё восприняли всерьёз?

ТАМ, ГДЕ ПРАВИТ ЛЮБОВЬ

Каждый сам по себе, понимаешь ты, сам по себе.
В разделённой стране об иной и не думай судьбе.
Там, где ненависть сеют, невинные души губя,
Каждый сам за себя, понимаешь ты, сам за себя.

Там, где правит телец, отравляя и мысли, и кровь,
Вырастает зверьё, поколение потеряно вновь.
Сколько их потеряем ещё в этой злобе и лжи?
Разобшённы, раздора, вражды где лежат рубежи?

Сколько выпить ещё предстоит этой мёртвой воды?
Я ответа прошу у Рождественской доброй звезды.
Мне немало уж лет, перед тем, как задует свечу,
Там, где правит любовь, я пожить хоть немного хочу.

АНГЕЛУ-ХРАНИТЕЛЮ

Как ловко жизнь нас гнёт в дугу!
Соблазн велик, мой свет,
Сказать: я больше не могу
Терпеть весь этот бред!

Сказать: я больше не хочу,
Прости меня, мой друг!
Мне этот ад не по плечу,
Я размыкаю круг.

Мне эту тьму не пережить,
Она меня сильней.
Сказать - и разом прекратить
Течение этих дней,

В которых трудно так дышать,
Как будто всё в дыму.
Соблазн велик, как совладать?
Дай сердцу моему

Указ спасительный, мой друг,
Невидимый мой страж.
О, как же я боюсь, что вдруг
Ты голос не подашь,

Не распознаешь ход планет,
Беду не отведёшь,
Надежду хрупкую, мой свет,
Мне в душу не вдохнёшь.

ГАЛИНА СОКОЛОВА И ЭЛЛА МАЗЬКО

СТОНЕТ БЕЛЫЙ ГОЛУБОЧЕК...

отрывок из романа «Хождение по Золотой Горшок, или Сказки Гофкина»

(1817. Июнь. Сандвичевы острова)

– ...Ты обещал рассказать про свой остров, – потребовала она по-русски, не отрывая глаз от иссечённого нордами лица немолодого мужчины. Он вздохнул и ничего не ответил.

– Расскажи, ну расскажи! – девчонка вскинула голову жестом почти неуловимого приказа. Он рассмеялся густым басом морского волка. Ну настырная!

Вот уже несколько месяцев эти несносные девчонки, которых он учил русскому языку, передавали его друг другу, как эстафетную палочку. Эта же, самая младшая, в накидке из золотых перьев, любила звёзды. Звёзды смотрели вниз без всякого интереса. Их мало интересовало происходящее на земле. Хотя некоторые из них казались голубоватыми, как светлячки в старых пнях. А другие перемигивались тёплыми огоньками, словно кто-то там после вечерней дойки зажигал керосиновые лампы и поил ребятишек молоком, рассказывая им сказки про Лукоморье и дуб зелёный. И про кота на золотой цепи. У кота зелёные глаза и жёсткие усы.

«Папка, они у него колятся. – Брысь, окаянный!»

Где-то далеко за семью морями остались у Тимофея родной очаг и Маруся, которую он звал Марьей Моревной и которую давно уже перестал видеть во сне. У перекасти-поля, горькой, иссушенной чужедальними ветрами травы, – забота одна: вцепиться во что-то и продержаться до того часа, пока благословенные пассаты не понесут её в сторону дома.

«Стонет сизенький да голубочек,

Стонет он и день и ночь...» – почти человеческим голосом выговаривает ветер вслед за Тимохой.

– Раньше я думала, – проговорила девчонка, – что кроме нашей земли, другой нет. Но пришли haole¹ – и рассказали о своём северном острове Альбионе... А твоя земля тоже остров?

Он задумался, остров ли его родина? Пожалуй, остров православия посреди ереси и Гоморры.

На его грудь волной упали её волосы – чёрные, длинные, до пояса. И лёгкие пальцы, сначала крадучись, а потом всё настойчивее пробежались по телу, отчего дыханье его, пританцываясь на мгновение, ухнуло вниз. Впрочем, только на мгновение.

– «Там чудеса, там леший бродит...», – проговорил он, глядя, как покатилась одна из звёзд. За звездой расплылся прозрачный шлейф цвета снятого молока. – «Русалка на ветвях сидит...». Висит...

– «Русалка» и «леший» – he aha keia?? – наострила уши девушка. Пальцы её, забыв о несыгранной гамме, замерли.

– Как бы тебе проще объяснить... – хмыкнул Тимофей. Он уже погасил вспыхнувшую искру, но всё ещё смотрел затуманенно, будто и его глаза накрыло звёздным шлейфом. – Это, типа, кахуна³ такая... Вот ты, например, тоже кахуна. Ты живёшь на воде и завлекаешь моряков. И они забывают свою землю.

– Русалка – это кахуна? Волшебник? Шаман?

– Ну, вроде того.

– Я – русалка, – горделиво повторила она с сознанием собственной значимости. Но, поразмыслив, решительно замотала головой. – Нет, ведь русалка меньше и принцессы, и королевы.

Чем-то привлек её ртутный блеск в песке, и она обернулась. Океан иногда выбрасывал на берег что-



то интересное. Случалось, даже ружья с русского «Беринга», недавно разбившегося у здешних берегов.

– А леший? – Сидя к нему спиной, она примерила на себя небольшую раковину. – Он тоже кахуна?

– Леший? – Тимофей не удержался и поцеловал её в глубокую ложбинку, убегающую с позвоночника за пояс. – Леший – это что-то вроде меня, – усмехнулся он. – Это дядька такой в бороде и совсем дикий.

– Ты не леший, ты хо'опонопоно⁴, – забыв о находке, кинулась она осыпать его поцелуями. – Ты повелитель молний и грома, твои огненные стрелы разят на большом расстоянии. И ещё ты король букв и цифр. Единожды один – один, – целовала она его в глаза и губы, – дважды два – четыре, трижды три...

Но он уже взял себя в руки – эти юные особы не ведают что творят. Несколько месяцев он зубрил с ними арифметику и русскую азбуку, и занятия, начинавшиеся с восходом солнца, не всегда заканчивались с его заходом. Они часто гуляли по берегу залива Ваймеа до поздней ночи, и он жестами и на пальцах рассказывал о своей родине. Собеседницы почти не знали русского, а он так же плохо знал гавайский. Иногда они переходили на ломаный английский и как-то понимали друг друга. Особенно интересовалась всем вот эта, с длинным гавайским именем, напоминавшим привычное его слуху имя Галя. Но ему было за сорок, а её весна расцвела в тринадцать. И это был тот самый возраст, когда девушек уже одолевают смутные грёзы, не имеющие ничего общего с реальностью. А у него где-то далеко за океаном чуть ли не в тех же годах подрастал сынок, почти её сверстник, который, наверное, как когда-то он сам, гонял голубей по крышам, привязывая к их лапкам лоскутки старой материнной кофты, и приучал к своему подоконнику. Там, возле герани, трепыхались ситцевые занавески, из-под которых Маруся, наверное, высматривает его и нынче. Случается, время меняет свои полюса, и если сейчас здесь дело к ночи, то на другой половине земли уже утро.

Впрочем, для здешних островитянок такой возраст считался вполне кондиционным. Для него же, рождённого в холодной России, эта золотистого цвета девочка была всего лишь сном наяву. Одним из тех, что смущает мужчин, когда они встречаются с юностью, и когда точка отсчёта их будущего бывает невольно смазанной и размытой. Хотя вообще-то все точки ведут к общему знаменателю.

Ждёт подружку дорогу,

Ждёт её со всех сторон... – напевал Тимофей, слушая, как захлёбывается ветер в оловянных волнах залива и думая о том, что его молодость перегорела в скитаньях по океану, а эти всё ещё не остывшие вспышки желания – всего лишь результат долгого одиночества и беспрестанной пальбы вперемешку с барабанным боем, сопровождавшими большую часть его жизни. Сейчас он чувствовал себя нудным состарившимся идлотом, у которого кодекс поведения всегда один – семь заповедей, отступить от которых ему мешало что-то внутри. Да, его Маруся даже через годы супружества ныряла в постель, скрытая до пят царпучей домотканной рубахой, из которой её горячее, как хлеб из печи, тело ещё надо было выпростать. Поэтому свободные нравы туземок, с голой грудью и в пальмовых юбочках, ошеломили его разве что поначалу.

– Отчего ты так грустно поёшь, кахуна? Тебе скучно?

Она накинула на него лени – пирианду белых цветов, скользнув по коже тугими грудками с тёмными ободками сосков, грудики были такими маленькими, что обе можно было прикрыть горстью.

– Ты, наверное, думаешь, что я не могу полюбить белого? Так я уже любила белых – капитана и первого помощника, но быстро их разлюбила. А тебя буду любить вечно!

Он не понял её языка. Она зажала губами цветок и, невзирая на слабые попытки сопротивления, втиснула его в сомкнутые губы Тимофея.

– Я принцесса, и мне никто не отказывает!

Она приблизила круглое девчоночье лицо, гипнотизируя Тимофея Никитича по-кошачьи светящимися стрелами зрачков.

– Никого я не любила так, как тебя, мой кахуна.

Эту фразу он понял.

– Благодарствую, принцесса! – стараясь не смотреть на неё, отозвался Тараканов, с беспокойством оглядываясь. Послышавшийся рядом лёгкий порох заставил его насторожиться. Но нет, берег по-прежнему оставался пуст. Впрочем, опасность могла таиться и среди цветущих зарослей. В этой укромной бухте норы стихии был скрыт – океан всегда оставался одинаково спокоен и лишь менял цвет. Однако со стрелами туземцев, как и с пулями белых, приходилось считаться.

– Не грусти. Аромат тиаре отгонит твою печаль.



Он снова прислушался. Нет, всё-было тихо, только мышь копошилась в ближайших кустах, да дождик прошелестел в листьях. Прохладные капли сгорали на лету, не достигнув земли.

– Домой пора, – сказал он решительно. – Засиделся я тут, Галочка. Жду не дождусь, когда уж отчалю от твоих берегов.

Она, мало что поняв по-русски, хлопнула в ладоши, и в хибаре появились три юноши из её свиты. Двое тут же принялись танцевать «хулу»⁵ (этот танец традиционно исполняли мужчины), а третий, самый способный из его учеников, приступил к переводу.

– Разве не нравятся тебе мои чудные острова и горячий песок на пляжах, ку`шро⁶? – осознав смысл, удивилась она. Во все глаза рассматривала девушка лицо чужеземца, казавшееся сейчас почти чёрным от озарявших его белых зубов.

– А может, русским не по нраву наша свинина? Может, не нравится, что мясо несколько лун томится в яме? Так я прикажу жарить его днём на камнях. Что хочешь, ку`шро? Чем я могу унять твоё сердце? Посмотри же, как хороши мои плечи и волосы, разве не о такой жене ты мечтаешь?

Её золотистое тело заволновалось, то вздымая руки к небу, то опуская их в лиловую гладь залива. И голосом, похожим на щебет птиц, она запела свадебную песню.

Тараканов встал.

– Не бери мне душу, принцесса. Не буди лиха, пока оно тихо. Нет тебя в моей Книге судеб.

И шорох прибоя приглушил его удалявшиеся шаги.

Насмешливо хмыкнув, Георг юркнул в чащу раскидистых ветвей. Местные деревья разрослись так размашисто, что в переплетениях их корней и стволов укрылся бы не один всадник.

– Если бы мы стали жить вместе, – пыталась не отстать от широких шагов Тимофея Халаукалани, – ты стал бы принцем, почти хозяином острова Атувай, и даже, может быть, королём!

Он промолчал, но шаг ускорил.

Девушка остановилась и посмотрела ему вслед озадаченно – ни один смертный не отказался бы от такого предложения.

– Злой Томи-Оми захватил много островов. Помочь нам можешь только ты, кахуна. Попроси твой Мой выгнать Томи-Оми назад на его остров – он у него и так самый большой. Мы же страдаем. Неужели и это не смягчит твоё сердце?

Но ни один мускул не дрогнул в лице Тимофея.

– Не бывать мне королём, принцесса. Не вылепить из грязи князя.

*

– Тьфу, какой глупый дурак, – срезая угол, пнул подвернувшийся камень Георг. – Зовсем глупый! Шорт! Его в децве мамка уронил! Шорт!

От волнения он не заметил на пути черепаху и чуть не полетел кубарем. Зеленоватое пресмыкающееся, с полметра в поперечнике, было бы нетрудно заметить – луна сияла, как блинш под глазом. Но в тени прибрежных пальм чёртова семя казалось почти неразличимым. Всё живое вело себя здесь так, как находило для себя удобным. словно сам Создатель решил приютить посреди океана этот уголок земного рая, и других забот, кроме как выкормить детёнышей и жить в своё удовольствие, здесь ни у кого не было. Наверное, выучись Георг на какого-нибудь тубика-пачкуна, он запросто бы сказал: «Вот место, где я хотел бы жить». Но Георг Антон Алоис Шеффер, он же Егор Николаевич у русских, лекарь по профессии, представлял интересы Русско-Американской компании, которая, накапавшая промысловые барыши, осваивала Русскую Америку. К неконструктивным сантиментам он склонен не был, ибо с молоком матери впитал принципы своей родины, прагматичной Баварии. И поведение приказчика счёл обычной причудой ума инородца.

– Ну зовсем глупый рюски! Штани снять и набить заднису идиёту, тьфу.

– Переверни её на спину, ваше благородие, – вынырнул из темноты коренастый служивый в незастигнутом гвардейском мундире. – Завтра черепаховый суп сварим.

– Сюп-сюп. Какой из киндер-черепах сюп! На один зюп? Я бы айнтопфчика⁷ с удовольствием, – сум-



рачно буркнул Георг, сталкивая черепапонку в воду. – Иль уж катюшки с серёдкой, или байерн сосиска, – добавил он аппетитно. Егор Шеффер никогда не смешивал эмоции с практикой жизни.

Крепостного Тимоху Тараканова он самолично пристроил обучать детей местного вождя кириллице и русскому счёту. «Злой Томи-Оми» – лукавый Камехамена, стал монархом не по династическому принципу, а постоянно сражаясь за трон, и Томари счёл необходимым укрепить свои позиции с помощью российской короны. Тимоху же хозяин, вольтерьянец и удачливый промышленник Никанор Переверзев, обучил наукам самым разным. А для пушного эффекта и собственной выгоды отправил в промысловую артель на Аляске, официальным представителем которой уже был и барон Шеффер. Смекалистого новичка быстро заметили и определили руководить большой артелью, которая била морского зверя по всему Тихому океану. Она заходила во все широты, от северных до южных. Таким образом, по факту крепостной Тимофей Тараканов был вроде и не совсем крепостной, ибо жил достаточно вольно. Особенно на Сандвичевых островах, куда его вместе со всей командой занесло по чистой случайности. А там предприимчивому Георгу, который в ту пору уже и на островах заправлял, стукнуло в голову судно их не выпустить. Так и свела судьба этих двух людей, у которых было различно всё – от национальности до вероисповедания и представлений о жизни. Впрочем, узурпатор Томи-Оми даровал наставнику своих детей дворянское звание и земли, объявив Тимоху своим личным другом. Это давало русскому крепостному самые широкие права и полномочия. Но из всех наций, с которыми Шефферу когда-либо доводилось ладить, только русские ставили его в тупик. Эти олухи царя небесного подчас выделяли такое, что не могло прийти на ум даже кретинистым финнам, которых Георг и вообще за людей не считал. Так что, в очередной раз пытаясь уразуметь логику своего приказчика, он озадаченно тёр похожий на выцветший мох подбородок.

– Какой глюкий рюски, – удивлялся он. – О, майн гот!

И промокал платком поредевший затылок, вокруг которого с выверенной немецкой тщательностью располагались похожие на птичьи пёрышки волоски.

– Ну пачиму дурак везьёт?! А что у тьебя, зольдат, есть дырка под мышком? – заметил он непорядок в мундире дозорного.

– Дык, вашбродь, нынче мы с факами схватились, – словно ожидая вопроса, с готовностью отрапортовал тот. – Удумали они, вашбродь, наш флаг содрать. Дык мы им, вашбродь, – врубил карачуна! – Солдат хихикнул, прикрыв рот горстью, но, вспомнив устав, лихо козырнул. – А зашить не успел, вашбродь.

– Рузький честь превыше фсьо, – пафосно воскликнул Георг. Но тут же умолк: не пристало ему, барону, точить ляды с кем попало. Он многозначительно надул кругленькие щёчки и, подстелив под себя носовой платок, уселся ждать неразумного Тимоху. После прошлогоднего одобрения руководством РАК Афонинной просьбы вернуть его в родную Полтаву и предварившего эту просьбу загадочного исчезновения старшей Галиной сестры, бывшей Афонинной невесты, надежда была только на Тимофея. Его женитьба на второй принцессе, младшей дочери короля Томари, помогла бы Шефферу в одном чрезвычайно щекотливом дельце, которое доверил ему управляющий русской Америкой Баранов. Посылая его на Сандвичевы острова, Александр Андреич совершенно ясно намекнул: в этих краях нужно создать колонию. Это выгодно и стратегически, и экономически. За десяток заваливших гвоздей тут можно было выменять сундуки провизии. Да и не сыграть на смутах двух местных вождей мог разве что осёл, кони Шеффера себя не считал.

Поначалу дела Георга шли успешно. Он вылечил от жёлтой лихорадки самого Камехамену, после чего тот доверил ему избавиться от странной хвори и любимую жену, королеву Каахуману, и царственная кожа местной владычицы перестала напоминать не виданную здесь ранее шкуру крокодила. А когда Георг избавил кого-то из Камехаменных «царедворцев» ещё и от зубной боли, всего-то повесив ему на шею какую-то трубочку, слава о Шеффере достигла самых отдалённых уголков архипелага. И правители, одарив его землями и заданиями под факторию, втайне друг от друга попросили российское подданство, а взамен посулили передать русскому лекарю все права на сандаловое дерево. Но милостивого дозволения на принятие под корону никак не приходило, и Шеффер, не проявлявший видимого беспокойства, ночами просыпался в тревоге. И рад бы он верить туземцам, да приходилось держать ухо востро. Не такая уж давняя история бедолаги Кука не располагала к долгосрочным кредитам. Тем паче что в дешённые бухты уже повадились и английские, и американские корабли. Попутным ветром стало заносить даже плутоватых



китайцев, быстро оценивших здесьшний сандал и сладкие, как мёд, ананасы. Блокпост в середине океана для кого угодно стал бы той точкой опоры, которой Архимед собирался перевернуть мир. Но у русских всё было не по-людски, и навсегда закрепить на флапштоке российский флаг не удавалось. Драки на ножах между русскими и американскими матросами в последнее время стали на островах главным досугом. Туземцы тоже нередко выходили на тропу войны – производство сахара, которое здесь наладили промышленники из Южной Америки, оказалось выгодным для местных, и стоило теперь прижать одних, как другие начинали грозно махать копьями. К счастью, местные благоволили русским, в них видели единственную защиту от англосаксонского колониализма.

Привыкнув верно служить родине, доктор Егор Николаевич служил и царю Александру I так же – верой-правдой. Потому совершенно непостижимое молчание Петербурга рвало на части его честное сердце. Наверняка, думал он, русские дипломаты не били горшки с Америкой из-за надежды втащить её в Священный Союз. И при этом, небось, мutilи воду с Британией, собираясь, как и он, Шеффер, и рыбку съесть, и косточкой не подавиться. Впрочем, во всех раскладах предприимчивый доктор-коммерсант, поведаясь поначалу на идеи свободы и равенства, а потом, поспешно ретировавшись под знамёна питерского трона, понял одну простую как хлеб истину: победителей не судят. Совершив один-единственный стремительный налёт, можно подчинить архипелаг самыми малыми силами. Но Петербург вёл себя, как барышня на выданье – не говорил ни «да», ни «нет». Поломав над этим ребусом голову не день и не два, Шеффер решил форсировать события. И тишком-нишком провернул одну сногшибательную авантюру. «Ваше Императорское Величество, – написал он царю, споровив тайный договор с династическим соперником лукавого правителя Камехамехи. – Король острова Атувай (Кауаи) Каумуали просит принять его владения под российский скипетр с высочайшим обещанием вернуть вместе с разворованным туземцами грузом российский корабль “Беринг” и дать Российской империи монополию на торговлю сандаловым деревом с правом беспрепятственного учреждения на его земле российской фактории». Прошло полгода, но и на это письмо ответа не последовало. Будто не нужны Российской империи здесьние райские берега, этот стратегически важный объект в центре Тихого океана. Именно из-за проклятой русской неразворотливости превращались в мираж так легко выпавшие поначалу шансы. И даже дорогие подарки принимались теперь от Шеффера как должное, без всякой благодарности, отчего привычно бодрое расположение его духа всё чаще сменялось хмурой озабоченностью.

Георг привычно потёр подбородок. «Верные весы и весовые чашки – от Господа, от Него же все гири в суме»⁸. «Гирь» Шефферу было не занимать. Последней стала Барбара, с которой они бежали в Россию от Наполеона, рассудив, что на тех просторах им будет легче спрятаться. Но именно в Москве жена потеряла рассудок, когда в огромном московском пожаре погиб их сын и всё имущество. Барбара Шеффер отдала Богу душу в клинике для душевнобольных, и Георгу ничего не оставалось, как забросить свои микстуры и градусники и рвануть ещё дальше. В те дни, когда он заключал на Аляске контракт с торговой компанией, Российская империя уже развернула Наполеона, и его армия, ниже плеч повесив отмороженные носы, двинулась восвояси. Чему Шеффер был необыкновенно рад, поскольку терпеть не мог французов. Мало того, что из-за них он потерял семью, но Наполеон уничтожил и главную гордость немецкой нации – Второй Рейх! Ни один немец ни одному французу этого никогда не забудет и не простит. Как, впрочем, не станет жаловать и всех, кто не имеет добропорядочной тевтонской крови.

«Пожалуй, действовать окольно – самое верное», – принял он соломоново решение, и его румяное лицо с белёсыми, почти невидимыми бровками, повеселело.

– Это будет без шнома и пили! – сказал он себе.

И когда со стороны залива возникли очертанья знакомой фигуры, он расплылся в самой широкой улыбке.

– Никак ты, Тимоха?

– Я, кто ж ещё...

Был Тимофей могуч и словно составлен из кубов разной величины: плечи широкие, чётко обрисованные, котелок к бычьей шее привинчен наглухо. И торс посажен на ноги крепко, не высоко и не низко, – будто сантиметром выверяли. Что и говорить, хорош русский богатырь! Георг осмотрел его с неприязнью. Предпочтение, которое отдала Тимохе гавайская принцесса, объяснений не требовало.

– Тожье не сплится? – поинтересовался он, словно и не знал ничего о той встрече.



– Луна, – посетовал Тимофей и брякнулся рядом с неволью отпрянувшим Шеффером. Песок от литого тела приказчика взметнулся, как от упавшего снаряда.

– И жара, едри её в качель. Искупулся вот...

Георг сплюнул. По части мужской красоты с Тимохой тягаться не приходилось. На таких женский пол слетается, что бабочки на огонь.

– О, вон опять. Послушай, – Георг обернулся в сторону плеснувшей воды с видимой опаской. Но уже было тихо.

– Вечером туземцы тебя-себя пиф-паф... Меня тоже пиф – там, там... – показал он на заросли. – А тут акули.

– Бог не выдаст, акула не съест, – Тимоха блеснул зубами. – Я, когда до Калифорнии ходили, сам их за хвосты таскал. Дорадой махну: одна подскочит, цоп – и только хвост молнией. А на хвосте у ней ямка такая. На самом кончике. Чтоб легче ухватиться, стало быть. И кожа вся в мелких бугорках – рука и не скользит. Сообразить не успеет – уже на палубе.

– Большой присутвий духа надо, Тимоха.

– А куда нашему брату без духа? – Тимофей развернулся в его сторону, опять подставив взгляду Шеффера мускулистое тело с порослью на груди. – Сегодня вот союзничкам наложили.

– Угу... Зобакн...

Георг уныло смотрел в сторону залива. Там, укрытый в бухте, всё ещё стоял на приколе одинокий парусник «Кадьяк», когда-то им арестованный. Судно было большое, сработанное по лучшим меркам. Но сегодня потрепанной стихией промысловиком никого не напугаешь и далеко на нём не уплывьёшь – дно, что решето. В конце лета он передал в Ново-Архангельск с молодым Антипатром Барановым оригиналы подписанных с королём Томари соглашений. Опасался, что копия до Санкт-Петербурга так и не дойдёт, – американская шхуна, на которой его отправили, сначала шла в Кантон⁹, оттуда в южную Европу, а на север заходила лишь в конце пути. Но и от Александра Андреича никаких известий не было. Это при том, что Георг просил срочно оплатить перешедший в собственность компании вооружённый корабль «Авон». Георг самолично сторговал его у американцев за двести тысяч пиастров. По его расчётам, сделка с лихвой окупала весь сандал, который по договору переходил теперь в руки компании. Да плюс к тому давал Российской империи все преференции на Сандвичевых островах.

– Айн-цвай соток гвардейци и один корабль – фсьо-о... – с тоской повторил Шеффер то, в чём так тщетно пытался убедить русского царя и Баранова.

– Ничо, мы их и кулаками пуганём! – Тимофей потряс кулаком величиной с добрую пирю и посмотрел на патрона с лёгкой усмешкой.

«Если бы этим драчунам да чуток здравого смысла», – подумал с горечью Шеффер. Но вслух произнёс совсем другое.

– Глюпый кулак машъет, умний – шанс цап-царап. Как умний надо.

Он уже приготовился выложить все преимущества брака с принцессой, но Тимоха вдруг объявил с явной озабоченностью:

– Надо бы этому елдыге нашему что-то подарить. Ему набрыдло ждать ответ из Питера.

– Подарить... – Георг печально улыбнулся и вывернул карманы.

– Совсем плохо дело, – расстроился и Тимофей. – Разорился парень бедный, купил девке перстень медный.

– Плёхо-плёхо, – покаянно опустил голову Георг. – Завсем плёхо.

На сегодняшний день в его казне было пусто. Шхуна «Лидия», которую в знак особого расположения он подарил Камехамехе в прошлом месяце, вытянула из его кармана почти всю остававшуюся наличность – и, по сути, Шеффер был банкротом.

– Дела... – произнёс Тимофей отрешённо. – А кто в тебя-то стрелял, не заметили, Егор Николаич?

– Найдн... Стары Джон, зобака, говорить королю: Шеффер – рюськи шпион, остров хочью цоп-цоп. И меня – пафф.

– Совсем никуда дела. – Тимофей задумался. – Это как у нас говорят: кума не мила и подарок не люб...

– Подарка – люб, кума – не люб, – запротестовал Георг. – Мой воля, я тут всех их сам – пиф-пиф. Джон – айн, Джек – цвай... И рюськи флаг на всё острофф, – похлопал он себя по животу, как если б обильно отужинал.



– А что, из Питера так и ничего?

– Найн-найн... – Георг отчаянно замотал головой: – Глюпий-глюпий царь... Зовсем мальчишка.

Он отёр пот и, наблюдая, как из ближайшей к форту хижины вывалился распоясанный солдатик, с гиком и свистом выписывая коленца под туземный бубен, уныло добавил: – Все рюськи глюпий.

– Слюшай разумный челоффек, Тимоха, – развернулся он к приказчику, изучая собственное брюшко, на котором из кармана свисала цепочка от часов. – Слющай и не теряй многа час. Мала час, саффсем мала сиффодня час. – Он постучал ногтём по серебряной крышке и перевёл острые буравчики на Тимофея.

– Нада, Тимоха, бери замуж принцеца. Ощень нада. Ощень-ощень. Во! – Он провёл ребром пухлой ладошки по горлу. – Принцеца и Тимоха, – он вложил ладонь в ладонь и потряс ими в воздухе. – И тада остроф наща. Баранофф глюпий, царь глюпий, Шеффер умний. Шеффер слюшай.

Тимофей отмахнулся.

– Я что тебе, Егор Николаич, куроцун какой? Зачем мне тутощние безсоромки? У меня дома жена, дети. Не надо мне их «принцецу».

– Фсем дурак везёт, – сокрушенно пробормотал Георг. И представил себе, как бы выглядели скипетр и держава в здоровенных лапах крепостного.

– Жена – там, принцеца – тут. Фот женись огпяты.

– Сам женись, коли охота.

– Она тебя хочет, не меня.

– Колечков ей подари, зеркалаец – мне ли тебя учить, Егор Николаич? – Тимофей рассмеялся. – Тут у них с этим делом просто – они вон с братьями живут, и это у них грехом не считается.

Шеффер задумался. Свободы в мирских делах он не отрицал. Обычно с женщинами у него разговор был короткий – он платил наличными и уходил. Но тут дело было тонкое...

Ой не плачьте, не журітсь,

В тугу не вдавайтесь:

Заграв кінь мій вороненький –

Назад сподівайтесь! – затынула на берегу одна из островитянок, бывшая ученица малоросса Макогоненка. И Шеффер пришёл в себя. Надо действовать!

– Дам ей часи, – открыл он серебряную луковичку, усыпанную драгоценными камнями. Минутная стрелка на её циферблате обегала свой круг, вспыхивая крохотной, еле заметной звёздочкой. Это был подарок Барбары. Но острова требовали жертв, и он был готов кинуть в их пасть очередную.

На другой день он объявил себя единоличным хозяином долины Шефферталь и приказал поднять над Александровским фортом русский флаг. И снова увидел Халаукалани. В окружении таких же, как сама, юных дев, совершенно нагая, она отжимала волосы, стоя в воде у берега на доске. Носиться на досках по волнам было у дикарок главным развлечением, и Георг всегда с опаской смотрел, как эти золотистые существа взлетают на гребень, будто под ступнями крылья, а не коварный кусок дерева.

– Фройляйн Халакали, фройляйн Халакали! – расталкивая её подруг, со всех своих коротеньких ножек кинулся он к девушке. – Фьот! – И протянул ей часы, отчаянно потея от возбуждения.

Она с любопытством вытянула шею.

Он аккуратно раскрыл крышку и продемонстрировал, как бегают минутная стрелка. Девчонки зашептались, толкая друг дружку и пересмеиваясь. Золотистые пальчики потянулись к диковинке.

– Найн-найн, для Халакали! – Шеффер заслонил часы и протянул их принцессе.

Заворожённая Халаукалани не сводила глаз с циферблата. Стрелка бежала, часы тикали и переливались на солнце. Ей понравилась маленькая занятная вещица.

– Майн херц – мой сердце, – согнутым пальцем постучал себя Шеффер по левой стороне грудной клетки, выхватив луковичку из цепких ручек туземки, поднёс к её уху. – Отшень-отшень дорогой штук. Отшень!

Но очаровательная дикарка самым бесцеремонным образом выхватила «штук» и под всеобщий хохот свиты кинулась к фортификационным сооружениям, где мелькала подбористая фигура Тимофея.

– Кахуна, кахуна, смотри, что у меня есть!

Она подняла над головой блеснувшую дорогую швейцарскую диковинку и повесила её себе на лоб.

Взволнованный Шеффер таранился на девушку кругленькими, скрытыми в румяных щёчках глазками. Негоднице даже в голову не пришло поблагодарить! Лишь свита приближённых, толкаясь и пересмеиваясь



за спиной, громко выражала свой восторг. Занятые работой строители на них не обращали внимания, все давно привыкли к выкрутасам царственного подростка. Тимофей приветственно взмахнул рукой, на что свита радостно загалдела.

– Кахуна! – Юная принцесса подняла часы над головой. – Це мой серц, – крикнула она на малоросском, постукивая себя по груди: – Тук-тук, тук-тук... Ты будешь мой?

– Гала, нет!

Может быть, если бы Георгу не довелось подсмотреть их вчерашнее свидания, он бы ничего не понял, может быть, был бы даже польщён и растроган своеобразно сложившимися отношениями с учителем. Для его целей совсем неплохо. Но он уже знал, что скрывается за этой вроде бы невинной сценкой. А поскольку он был из тех, кто на вопрос о бывших ваюблённостях, отвечал с прямодушной сердитостью: «У меня на это никогда не было времени», то даже вспотел от негодования.

– Это мой часи, – запротестовал Георг. – Я хотель толко покажи. Отдай мой часи!

И попытался выхватить их из её рук. Но ватага голых девчонок тут же дружно оттеснила его и с хохотом помчалась вслед за повелительницей, которая, прыгая на одной ножке, вскочила на прибившуюся к берегу доску и принялась раскачиваться на ней, как на качелях. Он уже пожалел о своей щедрости. Он уже был готов даже силой выдрать собственность из рук гавайки. Но полтора десятка горластых подростков было не так-то просто оттеснить, и его обычное добродушие всё больше уступало место нарастающему негодованию. Сколько усилий! Сколько денег и хитроумных комбинаций истрчено на оказавшийся никому не нужным проект, который он выполнял с тщательной прилежностью! Всё впустую! Он так ясно видел эти чёртовы острова на карте Российской империи, что пожертвовал ради них последним, что у него оставалось. Он, чистокровный немец, потомок великих кайзеров! Он даже согласен был на общую постель с этой... этой...

Шефффер даже плюнул в сердцах.

– Стоп, Халакали! – заорал он, внезапно наливаясь холодной злобой. – Отдай мой часи, шьоррт тебья подьери!

Он уже был готов схватить её за волосы. Наверное, со стороны это выглядело как нелепейшее зрелище: маленький, толстый, на коротеньких ножках, сопя и отдуваясь, он бежал за стайкой грациозных голых дикарок, то и дело отирая с себя пот (Шефффер был изрядно плешив, а солнце стояло почти в зените).

Ой ти, старий дідуга,

Изгнувся, як дуга,

А я, молоденька,

Гуляти раденька!.. – озорно пропела Халаукалани, тоже когда-то бывшая Панасовой ученицей.

«Дідуга» уже был возле доски, на которой скалила зубы окаянная туземка. Он бы и выпорол её, будь она принцессой. Он бы... Но в решающий момент, когда его пальцам оставалось лишь вцепиться в её руку, возле уха распорол воздух стрела.

– Шьорт! – ахнул Георг, приседая и прикрыв голову. Стреляли в него и раньше. Но не среди бела дня и не в пределах форта. В этом было что-то новое, угрожающее совсем по-другому. Шея Георга покрывалась розовыми пятнами.

– Пашему стреляль? – попытался он придать своему голосу побольше грозности. – Я – кахуна ха-ха¹⁰! Каука лукини¹¹! Врач! Я – друг короля!

– Убирайся вон, рашен! – увидел он дюжего гавайца в смешных камзолных штанах. Гаваец был не местным, это был один из людей Камехамехи. Парчовые пузыри на бедрах дикаря не скрывали мощных голеней с крепкими щиколотками. А мускулистая рука надёжно держала Шефффера за шиворот. Гаваец взирал на него ничего не выражающими глазами удава. Сходство дополнял лоснящийся торс, казавшийся скользким и холодным. Мода на островах приобрела диковинные формы с тех самых пор, как здесь появились чужие корабли. И теперь один щеголял в жилете на голое тело, другой – в панталонах, третий – в рубашке.

– Убирайся, – повторил «удава» и для убедительности потрянул колчаном со стрелами.

– Она украдь мой часи, – пролепетал Шефффер, пытаясь избавиться от ухватистой руки. – Я дать посмотреть, а она украдь, – объяснял он, помогая себе жестами. Но ещё два здоровенных гавайца ухватили его под мышки и молча потащили к воде. Выдираясь, Георг пнул ближайшего к себе захватчика, но уда-

ры походили на тычки в стену. Гавайцы втолкнули его в лодку, где уже сидело с десяток русских вместе с Тимохой и его угрюмыми алеутами. Там же теснились и Джордж Янг с израненным Фокс-Боннеком. Шеффер взглянул на секретаря вопросительно – тот смущённо отвёл глаза.

– Ну, всё, нас прогнали, теперь всех их, как я акулу, – сказал почему-то всё-таки довольный Тимоха и ухватился за вёсла. Для него дул долгожданный пассат.

«Удав» неспешно направился к берегу. Там, скрестив на груди руки и покуривая трубку, ухмылялся старый Джон с ружьём на плече. Рядом трепетали яркие птичьи перья на шлеме вождя.

Американская марионетка Камехахеа окончательно подгрёбал мокопунни под свою – то бишь американскую – лапу. Пытаясь сохранить жизни людей и животных, которым они поклонялись, вожди почти не сопротивлялись...

– Давай-давай, гребни на свой грёбанный «Кадык»!

Незнакомая золотистая гавайка рассмеялась и показала Шефферу нос.

– *Галю, серденько мое,*

Чи підеш ти за мене?

– *Стидкий, брідкий, не люблю*

І за тебе не підю! – неслась вслед Егору Николаевичу озорная дразнилка.

Лодка нехотя развернулась по течению...

Примечания:

¹ Наоле (*гавай.*): буквально – «бездыханный», белые, иностранцы, негавайцы.

² Не аһа кёһа? (*гавай.*): что это?

³ Кахуна (*гавай.*): гавайский жрец, шаман.

⁴ Хо'опонопоно (*гавай.*): древнее гавайское искусство решения проблем.

⁵ Хула: традиционный гавайский танец.

⁶ Ки'шро (*гавай.*): любимый.

⁷ Айнтопф (*нем. Eintopf* — *густой суп*): первое и второе блюдо баварской кухни.

⁸ Книга притчей Соломоновых 16:11.

⁹ Кантон: старое европейское название города Гуанчжоу на юге Китая.

¹⁰ Кахуна ха-ха (*гавай.*): специалист по диагностированию.

¹¹ Каука лукнини (*гавай.*): русский лекарь.

НИКОЛАЙ СТОЛИЦЫН

ТРЕТИЙ – НЕ ЛИШНИЙ

кино-проза

1, пролог

Абсолютная тьма. Ни черта не видно. Кроме Сидорова, освещённого индикаторами. Пространство и обстановка даже не угадываются, но – странно! – Сидоров, точнее, его рожа... видна совершенно отчетливо.

– Ш-ш...

Сидоров вертит настройки...

– Ш-ш...

Приёмник у Сидорова более чем странный. По форме напоминающий... а, чёрт знает что напоминающий!

– Ш-ш...

Сидоров щёлкает выключателем.

– Транзистор не тот? Что? Всё – по схеме.

Сидоров включает приёмник.

– Ш-ш...

Сидоров трясёт приёмником. Яростно и зло.

– Ш-ш!

Торжествующее шипение на всех частотах. На всех частотах – шипение!

Сидоров скрипит зубами... швыряет приёмник во тьму.

Вспышка...

Молчание...

Смеющийся голос отчетливо произносит:

– Эх, Сидоров...

И всё...

И молчание, и тьма – абсолютны.

2

В кухне, несмотря на вспыхнувшую лампочку, довольно сумрачно и пусто. В ней – ни черта, кроме урчащего холодильника, стола, накрытого газетой, раковины и... зевающего Сидорова. Рослого, но сутулого малого в майке и спортивных трусах.

Рожа у Сидорова явно похмельная, кислая и т.д.

Сидоров сладко зевает и распахивает холодильник.

– Да-а-а, – тянет Сидоров, обозревая не вполне привычную пустоту.

К урчанию холодильника примешивается урчание...

– Ну, чего, чего?

Сидоров поглаживает выступающий над трусами животик.

Урчание делается тише...

Сидоров кивает и распахивает морозильную камеру.

– Эх...

Камера, разумеется, пуста.

Урчание рвётся из животика с новыми силами. Оно торжественно и полно вытесняет из кухни урчание

холодильника. Но холодильник не сдаётся. Он ещё и тар-р-рахтит открытыми дверцами.

Сидоров отключает холодильник и – распахивает тяжёлые шторы.

Солнце хлещет сквозь окна...

Сидоров потягивается, хрустя суставами, и протягивает к Солнцу свои бледно-розовые ладони.

– Хорошо...

Урчание постепенно стихает.

3

– Хорошо...

Сидоров потя-а-агивается... в спине что-то щёлкает, и Сидоров застывает с искажённой рожей.

Сидорову больно. Пот выступает на его бледной коже.

– Ну, мать...

Сидоров семенит в переднюю. К телефону. Набирает 03. Слушает длинные гудки.

– Спят, что ли?

Сидоров долго и смачно ругается. Но спотыкается на очередной «бляди» – и умолкает. Ему становится ещё больнее. Наверное, от усилия.

Длинные гудки становятся ещё длиннее...

– Су...

Сидорова корёжит.

– Су...

Сидоров роняет прозрачные слёзы.

– Суки! – кричит Сидоров и – теряет сознание.

Он заваливается на спину. И в это же время в трубке, которую он, падая, прижимает к груди, звучит женский голос:

– Да! Я вас слушаю.

4

Сидоров на лавочке у подъезда пьёт «Жигулевское». Ему – хорошо. У ног его стоит потрёпанный портфель. Рядом сидит его коллега Гаврилов.

Гаврилов в завязке. Он смотрит на то, с каким наслаждением тянет Сидоров белопенную влагу, он считает глотки...

– Первый, второй... Ты, Сидоров, совсем обнагле! Обязанностями манкируешь! Третий... Четвёртый!

Сидоров жмурится и – глотает...

– Жалуются на тебя... А, Сидоров? Жалуются, говорю...

Гаврилов чертыхается, вырывает у Сидорова бутылку... смотрит через неё на небо, осушает одним глотком...

Сидоров крикает: по-нашему, мол. И достаёт ещё одну. И ещё! И ещё! И все из портфеля.

Вскоре вся скамейка оказывается уставленной «Жигулёвским».

Сидоров и Гаврилов потирают руки, готовясь к «запальву»...

Звучит гром...

Сидоров вздрагивает и – приходит в себя.

5

– Да! Я вас слушаю.

Сидоров, не понимая, вертит говорящую трубку.

– Да!

– Э...

– Да?!

Сидоров мучительно подбирает слова.

– И Ангелу Лаодикийской церкви напиши: так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия...



В трубке слышится покашливание. Уже мужское.

– Знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден, или горяч!

– Гражданин!

– Но, как ты тёпл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих.

Сидоров не узнает собственного голоса. Он не понимает, что происходит, но продолжает «вещать».

– Гр-р-гражданин! – голос «из трубки» становится металлическим.

Сидоров икает...

– Гражданин?!

Сидоров вертит рокошущую трубку... швыряет её на рычаг. Встаёт с пола... потя-а-агивается...

– Норм! – Сидоров хочет выругаться, но... прикусывает язык.

6

Сидоров пробирается к балкону. Пробирается с пачкою папирос.

Вообще, квартира Сидорова – воплощённый Хаос. Причём – планетарного масштаба.

Какие-то железки, разобранные приёмники... радиодетали, с десяток паяльников, километры олова...

Радиотехнический Хаос!

Сидоров спотыкается о банку припоя...

– Ах ты!

И продолжает свой путь.

На самом видном месте, т. е. на разложенном диване, лежит огромная, довольно подробная схема. Это – радиоприёмник. Но какой-то чересчур специфический, если исходить из количества деталей, вписанных в схему рукою Сидорова.

А вот и балкон...

Сидоров задерживается у закрытой двери... надевает сварочные очки, задерживает дыхание и – раз, два! – выскакивает на балкон.

Сквозняк сбрасывает с дивана загадочный чертёж. Под ним обнаруживается выцветшая фотография. На ней – Сидоров. Он смотрит в объектив и – улыбается. А за его спиной распахивается огромное ласковое небо...

7

Сидоров разглядывает пачку папирос.

– Курение опасно...

Сидоров смеётся, смеётся и – заходится кашлем...

Кашель у Сидорова мокрый и какой-то слишком основательный. Кажется, он выворачивает Сидорова наизнанку.

– Ну, гра-кха-кха, Минздрав... ну, гра-кха-кха...

Сидоров кашляет в платок. Сквозь ткань проступают странноватые розовые пятна... Но это – не кровь, т.к. пятна бледнеют на Солнце, исчезают без следа.

Сидоров задерживает дыхание, поправляет очки...

Кашель сгибает его пополам, но Сидоров сдерживает его...

Мгновение, другое...

Сидоров выбивает из пачки папиросу, закуривает её... затягивается через кашель...

– Опасно... А, может, я и хочу...

Кашель не то чтобы оставляет Сидорова, – он становится сухим и отрывистым.

– Так-то... – выдыхает Сидоров и дым, и слова.

8

– Товарищ Сидоров!

Сидоров инстинктивно прячется за сохнувшим халатом.

– Товарищ Сидоров, вам же нельзя...

Сидоров торопливо гасит папиросу, прячет окурок в пачку, а пачку – в карман всё того же халата.

– Товарищ Сидоров!

Сидоров широко... ещё шире улыбается и – отбрасывает халат.

– Чего нельзя?! Я тут, знаете ли, облаками люблюсь!

Улыбка у Сидорова фальшивая, и он знает это.

– Облака, знаете ли...

Сидоров, не глядя, тычет пальцем в совершенно пустое небо и подмигивает при этом соседке Леночке. Леночка – довольно серьёзный ребенок лет 8, не обращает внимания на палец. Она настолько серьёзна, что её не обманывает ни улыбка Сидорова, ни его облака.

– Вы же курили! А вам – нельзя!

Сидоров начинает раздражаться.

– А что можно? Кефир и прогулки с зонтиком? И... и... что?!

Леночка выслушивает Сидорова, не перебивая. Она не только серьёзна, но и воспитана.

– Что?!

– Товарищ Сидоров...

Леночка стоит как раз под балконом Сидорова и смотрит на него, задрав сверху веснушчатый нос.

– Вы поражаете меня, товарищ Сидоров! Курите дрянные папиросы, пьёте дрянное пиво... И всё это не соответствует ГОСТу! Вы торчите на балконе в одних трусах, не опасаясь ОРЗ и ветрянки... Вы ругаетесь разными неприличными словами...

Сидоров зевает. Довольно открыто.

– Вы зеваете, не уважая своего собеседника... Вы – крайне невоспитанный тип! И моя мама запрещает мне разговаривать с вами.

Сидоров пожимает плечами: тоже, мол! Запрещает!

– Но вы же... вы же...

– Я же?

– Вы же погибнете! – констатирует крайне серьёзная Леночка и грозит здоровенному Сидорову маленьким пальчиком. – Но я...

Леночка вздыхает...

– Я не стану безучастно смотреть на ваше падение. Я вас...

Сидоров ухмыляется. Довольно едко и зло.

– Спасу!

Сидоров снимает очки. Солнце ударяет его по глазам. Но он не закрывается, он щурится... смотрит на Леночку, поводит плечами... Поводит ещё раз. Резко разбрасывает руки и начинает смеяться!

– Спаси! Ха-ха! Меня!

Сидоров взмахивает руками и – отступает в сумрак своего радиоэлектронного Хаоса.

Смех его вскоре захлёбывается кашлем...

9

Сидоров набирает какой-то необыкновенно замысловатый номер. В трубке звучит... Бах. Довольно громко. Потом Баха сменяет еле слышное сопение.

– Гаврилов, ты?

Сопение удаляется.

– Гаврилов, сволочь! Это ты мне её подсунул?!

В трубке молчат.

– Леночка, значит... Эх, Гаврилов... Гад ты! Гад!

– Кхе-кхе... – покашливает трубка. Вежливо и сухо.

– А, всё-таки ты...

– Кхе-кхе...

– Гаврилов! Ты чего ко мне привязался? А? Ну... ну, не могу я, Гаврилов! Никак не могу!

– Кхе-кхе...

– Гаврилов, я тебя... как брата, прошу, отстань ты от меня...

Но в трубке уже звучит Бах. Ещё громче прежнего.

Сидоров срыгается:

– Сука ты, Гаврилов! Сука... Су-у-у-ука! – верещит Сидоров и – падает в обморок.



Всё на той же скамейке пьяненький Гаврилов хлопает по плечу мертвецки пьяного Сидорова.

Сидоров икает и заваливается на спину... Над скамейкою торчат только его косопальные ножищи в домашних тапочках.

Гаврилов не замечает отсутствия Сидорова.

– Это... ик, не я... Веришь? Не я!

Гаврилов бьёт себя в грудь кулаком и – тоже заваливается на спину.

– Это, ик... не я...

Сидоров уже не говорит, он только моргает в ответ. Довольно яростно: да, мол, как же...

– Не я...

Сидоров моргает...

– Не я... Ну, с чего бы? Ты же брат... бра-а-ат же... – поскуливает Гаврилов.

Небо над ними затягивается тучами...

– Я же... с тобою, а? Разом, а?!

Ударяет гром...

– Я же...

Небо как будто отдаляется от них, поднимается над ними. Всё выше. Всё быстрее. Вкупе с молниями.

Грома уже не слышно...

– Вместе... Вместе! – кричит Гаврилов.

Небо поднимается так быстро, что Сидорова мутит. Гаврилову тоже нехорошо. Оба они закрывают глаза.

И в оглушительной тишине падают на них первые прозрачные и какие-то сверкающие изнутри капли...

– Дурак ты, Сидоров... – говорит Леночка, поливая Сидорова водою из маленькой лейки. – Дурак!

– Дур-р-р-рак, – отзывается трубка и заходится хохотом.

Сидоров приходит в себя. Смотрит на Леночку.

– Ну, Сидоров...

У Сидорова удивительные... совершенно прозрачные глаза.

– Ну, Сидоров... – Леночка забывает о лейке, переворачивает её, и вода льётся на Сидорова сплошным потоком.

– Глаза у вас... странные...

Сидоров закрывает глаза. Шевелит губами. Явно ругается. Потом открывает глаза... Они, как и прежде, – мутные, больные.

Леночка фыркает, убирает лейку.

– Ну, точно... дурак! – и добавляет, но уже вежливо. – Вы!

У Леночки помимо лейки – целая пачка «документации».

– Значит, так...

Леночка знает, чего она хочет, и потому говорит напрямую, без обиняков.

– Я за нею присматриваю. Тоже, знаете ли... Нет, она – хорошая.

Леночка протягивает Сидорову «документацию», в которой помимо справок ещё и фотографии.

– Тут – всё! В полный рост, профиль... анфас... Обратите внимание на фигуру!

Сидоров, не прекословя, разглядывает фотографии.

– Рожавшая женщина! Понимаете? А выглядит?!

Сидоров показывает большой палец: женщина на фотографиях необычайно красива.

– Далее – дипломы... ВУЗ, поощрительные... Справка о составе семьи...

Сидоров листает «документацию» и ни черта не понимает.

– Понимаете?

Сидоров машинально кивает.



- Но при этом... – Леночка тычет в потолок указательным пальцем. – Верит...
- Что? – Сидоров совершенно запутался.
- Верит! – патетически восклицает Леночка. – Во всякую чушь! Понимаете? Как девочка.
- И что?
- Как что?! Приходится присматривать.
- Кому?
- Да мне же!
- За кем?
- За мамою!
- А я – причём?
- Сидоров, вы притворяетесь?
- Нет...
- Проще присматривать... если вы рядом... – Леночка краснеет. – Вы же... холостяк?
- Сидоров кивает...
- Ну...
- Сидоров смотрит на Леночку... на «документацию»... Поводит плечами.
- Сидоров?
- Сидоров... начинает реготать.
- Сидоров?!
- Ха-ха-ха! Хо-хо-хо!
- Сидоров, вы... дурак! – констатирует Леночка и – хлопает дверью.
- Присматривать... Ха-ха-ха! За мною... Хо-хо-хо! – регочет Сидоров, обмахиваясь «документацией».
- Дверь приоткрывается:
- Я их пока не забираю. Т.ч. – посмотрите, подумайте.
- Дверь аккуратно притворяется.

13

- Сидоров перелистывает «документацию».
- 32 года. Окончила Педагогический. С отличием.
- Сидоров озирается...
- Никого!
- В замужестве Петрова. Дочь – Елена. Игоревна.
- Сидоров понимает, что голос идёт из телефонной трубки... Причём он словно прорывается сквозь шелест дождя. А периодически всё это перекрывается громом.
- Разведены по решению суда.
- Голос, принадлежащий Гаврилову, возвышается, он звучит всё явственнее, и не только из трубки, – отовсюду:
- 90/62/90...
- Сидоров трясёт трубку. Голос начинает булькать. Уходит в трубку. Целиком уходит в трубку.
- 90/62... 90... 90... 62...
- Сидоров кладет трубку на рычаг. Забрасывает «документацию» на антресоли:
- 90/62... 90...
- Сидоров вздыхает и – снимает трубку:
- Эй, Гаврилов!
- В трубке привычное гудение. Однотипное, неживое.

14

- Сидорову нужно работать. Он берёт в руки громадный чертёж. Читает пометки.
- Резистор на 200... Транзистор...
- Сидоров роется в радиодеталях.
- Не то! Не то!
- Находит необыкновенную деталь странной формы. Она сделана из прозрачного стекла. Довольно толстого и всё же прозрачного. В середине её – светящийся шарик.



– Что за...

Сидоров обращается к Справочнику. Листает его.

Ни черта похожего...

– Что за хрень? – вопрошает Сидоров пространство.

Пространство молчит.

Сидоров стискивает деталь в кулаке.

– Ах ты!

Сидоров роняет светящуюся деталь и дует на обожжённые пальцы.

Деталь светится так ярко, что Сидоров надвигает на глаза привычные очки.

Топчет деталь, пытаясь погасить нестерпимо яркое свечение.

– Ух! Ух!

Стекло выдерживает, но свечение постепенно уходит...

В комнате становится не только темно, но и зябко.

Сидоров поёживается. Клацая зубами, забирается под одеяло. Сидорова колотит.

Сидоров натягивает одеяло под самое горло и закрывает глаза...

15

– Это же... – лопочет Гаврилов.

Сидоров икает.

– Это же слёзы!

– Ка...а...акне?

– Ангельские, дура! – выдыхает совершенно отрезвивший Гаврилов и отодвигается от Сидорова. На самый краешек скамейки.

Дождь уже прошёл... Или небо настолько отдалилось от Сидорова, что капли не достигают земли.

Сидоров смотрит вверх...

Вверху – бескрайнее, бездонное нечто. Неба не разглядеть.

– Слёзы ангельские! Источник энергии! Perpetuum, мать его... Тряхни его... только тряхни его...

Ишь, светится!

Сидоров обнаруживает в своих руках проклятую деталь. Собирается выбросить её. Подальше!

– Эй! Ты чего? Рванёт же!

Гаврилов сползает на землю, забирается под скамейку...

– Эй!

Сидоров смотрит на Гаврилова, на деталь... на Гаврилова...

Раздумывает...

– Швырнуть бы, а? И всё! А?!

Гаврилов взвизгивает...

– Всё!

Сидоров стискивает деталь. Ладонь его начинает дымиться. Сквозь пальцы просачивается нестерпимо чистый, пленительно белый...

– У-у-у! – воет из-под скамейки Гаврилов.

Сидоров разжимает кулак, и всё поглощает пленительно чистый, нестерпимо белый...

16

– Ну, бя...

Шторы не просто распахнули, – их сняли... и замочили в пластиковом тазу.

– Ну...

Сидоров отбрасывает одеяло, садится на кровати... и не узнаёт собственной комнаты.

Все радиодетали аккуратно разложены по ящичкам и ящикам. То же и с припоем, чертежами, Справочниками, оловом. Всё разложено и протерто.

Сидоров не понимает, ему кажется, что он спит...

– У...

Сидоров трясёт головою, щиплет себя за ляжку.

– Ай!

Значит, не снится, – решает Сидоров и... принимает.

– Котлеты, что ли? И компот... И борщ?

И всё это – из кухни. В которой – ни черта, кроме пустого холодильника. Снова урчащего?

– Гаврилов?!

Сидоров берёт в руки свёрнутый трубкою гигантский чертёж, затаивает дыхание и – на цыпочках отправляется в кухню.

17

– Проснулись?

Леночка машет оторопевшему Сидорову поварёшкой и возвращается к приготовлению борща.

– Сидоров, я не понимаю...

В кухне идеальный порядок, как и в комнате. И шторы... сняты и замочены.

– Вы же интеллигент. Книжки читаете. Справочники. А порядку у вас...

Сидоров разводит руками. Он даже как-то уменьшается по отношению к Леночке, поразившей его воображение замоченными шторами и т.д.

Леночка чувствует, что Сидоров немного уменьшился и тотчас переходит на «ты».

– Никогда бы не подумала, что ты... такой умный... Схемы чертишь! Детали всякие!

Леночка, не глядя, тычет в Сидорова проклятушкой деталью. Правда, теперь она не светится и кажется обычною лампою от ч/б телевизора.

– Да! – Леночка сует деталь в нагрудный карман. – Я тут без фартука, так я у тебя...

На Леночке – рабочий комбинезон Сидорова. С подкатанными рукавами и штанинами.

– Только он странный... Дырки на спине! Симметричные. На уровне лопаток.

Сидоров переглатывает и судорожно поводит плечами.

– Но ты не переживай... я их зашила! Да! Я карманы ещё вытряхнула... Перья какие-то, белые...

Куриные, что ли?

Сидоров кивает...

– А ты, Сидоров... умный, оказывается...

Леночка орудует поварёшкой.

– Ладно, иди руки мыть. Обедать пора!

Сидоров собирается выругаться, но Леночка открывает кастрюлю с борщом, и Сидоров ведёт носом и восхищённо причмокивает.

– Руки, Сидоров!

Сидоров зажимает нос и отправляется в ванную.

18

Сидоров моёт руки. Тщательно. Со вкусом. Мыло у него хозяйственное. Самое простое. Зато – отмывает.

– Гм...

Руки у Сидорова большие, сильные и в какой-то краске, каком-то мазуте... В общем, хорошие руки! Правильные!

Сидоров трёт свои правильные руки хозяйственным мылом. Сидоров развеселился. Он подмигивает своему отражению.

– Так-то, брат...

Отражение остается холодным и, кажется, не особенно земным.

– Кислишь, брат? Ну, кисли, кисли! А меня... борщ ждёт! – хватает Сидоров и демонстрирует отражению сияющие руки.

– Вот!

Снова подмигивает...

Из кухни доносится голос Леночки. Леночка рассуждает о Сидорове.

– Он, конечно, странный... Очень. Но и мама... странная... В сказки верит.

Леночка шумно вздыхает.

– Хорошая пара... Да! И даже фамилия ничего. Простая, звучная! Сидорова Лена, а?



– Сидорова...

Сидоров застывает с открытым ртом... А отражение, наоборот, улыбается. Строит Сидорову глазки.

Сидоров грозит отражению кулаком. Выходит из ванной.

Отражение смотрит ему вслед, не спеша покидать зеркало. Отражение захлебывается беззвучным смехом.

19

– Комплексные обеды, Сидоров! Ты же не знаешь...

Леночка, как по писанному, цитирует «Поваренную книгу». Причём – с расстановкою. С чувством.

– А) салат из моркови и яблок; б) рассольник «Домашний»; в) котлета с гарниром; г) кисель из клюквы.

Сидоров проглатывает слюну.

– А это? А) гречка отварная с овощной поджаркой; б) рыба тушёная в томатном соусе...

Следуют многочисленные вариации...

– А это? А) гарнир из жареных овощей: кабачки, помидоры, чесночный соус; б) лангет говяжий...

Сидоров облизывается...

Названия кажутся вкусными. Но питательными?

– А...

Сидоров мрачнеет лицом.

– А...

Сидоров давится слюною и – теряет сознание, успевая услышать:

– И всё это – в приложении к порядку и... ну, вы же помните? 90/62/90!

20

Гаврилова нет...

Сидоров озирается:

– Эй!

Гаврилова нет. Вообще.

Только теперь становится понятно, что скамейка Гаврилова находится в замкнутом дворике-«колодце», составленном из типовых многоэтажек. Самая обыкновенная скамейка, самые типовые многоэтажки. И никакого Гаврилова.

– Эй! – что есть силы, багровея, кричит Сидоров.

Хлопают многочисленные балконные двери...

– Товарищ!

– Товарищ!

– Това-а-рищ!

Сидоров втягивает голову в плечи.

– Это – невоспитанно!

– Это – невоздержанно!

– Это – чревато... ато... ато... ато...

Сидоров вскакивает на ноги. Его аж бросает от стенки к стенке, – так яростны многочисленные голоса. Их обладатели совершенно безлики. Как и многоэтажки.

– Су-у-уки!

Сидором сосредоточенно мечется по дворику-«колодцу» в поисках выхода...

Увы, Сидоров не обнаруживает ни единого даже подъезда. Его окружает сплошная типовая стена из типовых блоков...

Сидоров мечется по кругу, и со всех сторон сыплются на его взлохмаченную голову упреки и проклятия...

– Обязанностями манкирует... ет... ет...
– Коллегу с пути сбивает... ет... ет...
– Да, да! И в туалете у него... хе-хе, – хихикает знакомый голос. – Spiritus vini, хе-хе... Как раз за порошками-с!

Сидоров останавливается...

– Что, уже оприходовал?

На скамейке сидит Гаврилов. В руках у него тарелка с борщом. Гаврилов облизывается и нюхает борщ...

– Хорошо-с! И перчик! И капуста! Всего в меру-с!

Сидоров с облегчением выдыхает:

– Ты!

– Ну, я!

Гаврилов исследует борщ.

– И соли – в меру!

Сознательные граждане перестают «поливать» Сидорова и принимаются вторить Гаврилову.

– И соли в меру!

– Соли?

– Соли, товарищи!

Гаврилов заливает в себя – прямо через край! – замечательное, густое... с перчиком и капусткою...

Швыряет пустую тарелку куда-то вверх.

– 90/62/90 в сочетании с перчиком и капусткою... Дурак ты, Сидоров!

Сидоров отмахивается:

– Да пошёл ты!

Гаврилов смотрит на него, вытирает рот рукавом... загадочно улыбается, щёлкает пальцами...

– Тр-р-рах!

Это обрушивается им под ноги пустая тарелка. Обрушивается и разлетается на куски... или брызги солнечного света...

– На счастье! – кричит Гаврилов. И его подхватывают сознательные граждане.

– На счастье!

– На счастье!

– На счастье... тье... тье...

Сидоров смотрит вверх, в сторону отдаляющегося неба, и – кричит, кричит... и захлебывается криком, и кричит, кричит...

– Ты чего?

Леночка смотрит на Сидорова влажными глазами.

– Я...

– Ты, Сидоров, ты!

– Я... ничего... Совсем... совсем ничего! – Сидоров поводит плечами. Поводит, хрустя суставами.

– Я тебе про обеды, а ты... глаза зака-а-атил... Во мне аж перевернулось... все...

Леночка роняет первую слезу...

– Я даже испугалась. За тебя. Чего это он, думаю? Я же про обеды... Ну, и про маму немного... Но в основном...

Сидоров молчит. Он смотрит, как разгорается за окнами и за спиной Леночки... какое-то странное сияние... Глаза его неподвижны. Совершенно.

– Сидоров, ты не бойся! Мама не знает... ну, что я – тут. Она тебя ангелом почитает! Дурочка... Ты – нечёсаный, пьёшь... куришь... а она тебя – ангелом?! Странная...

Сияние становится нестерпимым. Но Леночка не замечает его, хотя и утопает в нём, а Сидоров... Сидоров плачет. И слезы его высыхают. Тут же! У глаз!

– Да, и про 90/62/90... ну, это – так... Ты не подумай, что я навязываюсь. А? Сидоров?



Сидоров встает с табурета, молча подходит к окну, пройдя сквозь говорящую Леночку... распахивает его...

– Но знаешь, я всё же... Ну... – Леночка как будто не видит того, что делает Сидоров.

– Может, и зря я... о спасении... Ведь я не тебя, Сидоров... маму спасаю... Или – себя? Сидоров? Леночка оборачивается, видит распахнутое окно...

– Сидоров?!

Сидоров дёргается и – бросается... в нестерпимое, яркое...

И вслед ему летит отчаянный шепот Леночки:

– Сидоров... ну, Сидоров же... Я – дура! Я! Сидоров...

Летит и обрывается вздохом. Лёгким, практически невесомым...

23, эпилог

Сидоров сидит на скамейке. Рядом сидит Гаврилов. Над ними – привычное, вернувшееся небо. Оно закрыто тучами. Начинается дождь...

Гаврилов ёжится. Ему холодно и неловко:

– Она плачет...

Сидоров запрокинул голову, Сидоров смотрит в небо. Ловит первые капли. Ртом и руками.

– Она плачет...

Сидоров усмехается:

– Ты же этого и хотел!

Гаврилов шумно сморкается, вытирает пальцы о взявшийся ниткуда потёртый халат.

– И не говори, что я... Вообще – не говори!

Гаврилов кивает, закутывается в халат.

– Надоели вы... хуже редьки... Я услышать хотел, чтобы Он сам... ко мне... Приёмник придумал!

Услышать Его!

Дождь всё пуще и пуще...

– А вы?!

Сидоров сидит прямо посредине скамейки. Слева от него сидит нахохлившийся Гаврилов. Справа... Леночка.

У Леночки в руках какая-то белая хламида. Или простынь. Или крылья.

Леночка и Гаврилов вздыхают. Разом.

– А эти? – Сидоров кивает в сторону многоэтажек... и улыбается: многоэтажек нет.

Есть дождь и бескрайнее поле. И скамейка. И Сидоров. С хламидою. Или простынею. Или крыльями.

И – всё! Ни Гаврилова, ни Леночки!

Сидоров потягивается. Без хруста. Набрасывает хламиду на плечи.

– Ну, черт...

Дождь обрывается. Резко. Или, скорее, уходит куда-то на юг. Или север.

Сидоров приглаживает мокрые волосы и уходит следом. Нет, не уходит... он бежит! И смеётся!

АЛЕКСАНДР ПЕТРУШКИН

РАЗДАВЛЕННЫЙ КУЗНЕЧИК ВОЗДУХ

Мы перевозим камни, как прибор,
в своих карманов паузах, и чайка
кричит, перевернувшись в голос свой –
почти что как покойницкая пайка –
она верёвкой распахнётся, если ты,
её ожог почувствуешь внезапно,
связаю темноту до высоты
на детских неисправленных салазках.
По траектории, где больше птицы нет,
гирляндю песочной подымаясь,
осуществлённая душа из всех прорех
везёт себя в особых опечатках.
Бог слово, что из пауз состоит,
провозит в свет, как контрабанду вещи –
а мы уже не плачем, а стоим,
как бой часов перебирая вечность.

Никакие приходим сюда
через судный свой кашель,
через пряники света –
не смертные или не ваши
держим посох из воздуха,
в щели предметы собравший,
как голодные тьмы колоски
из извилистой пашни

Ничего не бывает
помимо испуга вначале,
и нельзя испугать голубей
что в мундирах задиристых ходят,
роют норы полёта,
точнее – как нить расплетают
провожавшего ангела – здесь
до кругов в небосводе.



По спуску в сон, как примитив, бежишь
и, обновляя версию [Дрожишь],
вот этот мир или, скорее, тот
пытается гадать, кто здесь уйдёт –
скорее первым – нежели вторым –
не то чтоб садом, но пока живым,
пока вода вокруг него мертва
и протыкает камышом бока,
чтоб воздухом свистеть почти как речь,
похожая на птичью – не перечь,
но сосчитай ступени до дна сна
где версия иная нас слышна.

Вот предположим, что ты здесь Гомер,
как крот властитель выдоха, как стен
своей округлой плоти и, как шар,
живёшь внутри у грунта, где – нажав
на кнопку – проявляешься внутри
грача, который скоро догорит
внутри другого [негатив] врача –
его оплакав, звяканьем ключа
от одиссеи лестницы на дно,
которое с обратной на окно
похоже стороны – и этот ад
словесный ласточки, как кислота, съедят.

Вот ты себе покажешься живым,
задёрнутым, как иволга, двойным
порезом в жабрах длинного дождя,
который поджигает нас, дробясь,
как мельница в зерне ожог зажав,
но боли больше нет – «ля-ля, ля-ля»
споёт немой и запертый в шумах –
по горке в сон, он подымаясь, страх
оставил дирижёру, отряхнув
голосовую полость в пять минут,
и перебежчиком, почти харон, шуршит
в бинарность обратив чужой мотив,
где буква узнаётся, как число,

и ястреб, ударяясь в ноту до,
рассыпан между мёртвой и живой,
переодетой в звук и тьму, водой –
не отражаясь смотрит в лица мне,
как пятнышко от света на стене,
пока я покидаю общий хор,
и оживаю с этой и другой,
и с мертвецами снов и светляков
всё шарю в темноте слепой рукой
нащупав сны округлые свои –
в птиц просыпаюсь, смерть их ощутив.



Победа в немощи моей,
в воде, что отшлифует зёрна

другой воды, иной страны –
и выймет веточкой из дёрна

меня ещё, но не меня
нести она по свету будет,

как лодочку и рошу, там
где на холмах рыбак нас удит.

ДАО

Спросонок смерть почти вода –
рыбак в неё по грудь заходит
и чувствует, что невода
полны улова и погоды,

что чёлн его легко плывёт
и падает в копилку сердца
и – главное – сирень растёт,
как голосов округлых дверца,

то хлопнет, то наискосок
кружит в сансаре и нирване,
в протоке савловой, как ток
(лишь переменный, но не рваный).

О сколько перемены в этом
чудном и чудном сентябре,
где смерть, как девушка раздета,
идёт с портвейном во дворе!

Из четырёх сезонов пятый присмотри,
которому прикручен изнутри,
приверчен намертво – бессмертьем говоря,
как языком, который тоже яд.

Еврейчик малый в русской глубине,
шестёрке стрекозы не о тебе
шептать тенью, памятью полёта –
но вынимаешь тело из пилота
и остаётся потная земля,
тряпье словес, протёртая погода,
где за тобой немая густера

взирает на лице до небосвода,
где смерть и жизнь, как займы, шелестят.



Раздавленный кузнечик воздух
мелькает снегом на глазах,
которыми весь мир исполнен,
как девочкой смешной лоза.
Она стоит здесь на ладони
у букваря или числа –
как только тень её затронет
[пока бессмертные] уста,
так белый насекомый выдох
скакалки снега за рекой
звук извлечёт, как будто рыбу
из лунки смерти. И другой,
что наблюдает эту деву,
как рукопись и теплоход,
откроет смерть [почти как книгу]
с кузнечиком в неё пройдёт.

ВОДА

Зверь идёт по следу, ты
слышишь, как липаясь кожи,
вырезан из пустоты
[словно дверь] он. И не может

эта ночь себя пройти,
кутаясь в свою изнанку,
в скрип цикад, где мы легки
и напоминаем ранку,

где омыта смерть, как зверь,
и умыта, словно ночью
дождь здесь бегал от детей
в хрусте воздуха непрочно.

Чтобы смерть стала лестницей, звуком, штрихом в углу –
как развёрнутый уголь светила на эту тьму –
я её, как кадр, на котором живу, зубрю
[хорошо, не учу, а возможно, конечно, вру].

Повторится и рай, и свет, и прозрачный снег –
ледяная лестница [чижик] вспорхнёт наверх –
будет снова смотреть механическое кино
где проектор сороки стрекочет, разбивши дно.

Ничего, потерпи, я возможно, что всё сказал –
и внутри у угла нить свернётся, как свет, в овал –
станет лампочкой, светом, птенцом и, возможно, мной,
что соврал здесь смерть – отчего возвращён домой.



Если ласточка – то небо,
если Бог – то тишина,
человек пока в них не был
но музыка в них слышна,

но, почти не беспокоясь,
он проснётся поутру
и пойдёт, оставив тело,
как багаж или суму.

Шаги по свету край у тишины
очёркивают, словно длинный циркуль
из тьмы вороны вынутую тень,
похожую на лётчика и дырку,

похожую на слово и сентябрь,
когда и день рождения – день жатвы,
и ты лежишь под каждым колоском
удваиваясь в капельках до жажды.

Здесь две коровы машут головой,
приветствуя свой сон, и выпрямляют
дыхания прозрачного жульё
и слепоту, как свечку, зажигают.

У нимба каждого есть дерево –
оно невидимо здесь, даже,
когда и ты в него поверила,
взмахнув прозрачную поклажей.

Под деревом кругами рыбными,
и совершив, как выдох, кражу –
мы вдруг поймём, что здесь горит оно,
чтоб не было зачем-то страшно.

Откроется калиткой дерево
и вырвет зрение, как жабры,
что виснут вятелем над тела
холодным синим дирижаблем.

МИХАИЛ ЮДОВСКИЙ

Я ЗДЕСЬ НЕ РОДИЛСЯ, Я ЗДЕСЬ НЕ УМРУ

Я здесь не родился, я здесь не умру,
я разве что тихим дыханьем своим
над лесом и полем пройдусь поутру,
едва ощутим и едва уловим.

Мне тесным покажется здешний приют,
мне близким нездешний покажется свет,
и встречные птицы мне что-то споют,
и я им спою непременно в ответ.

Я буду нигде и я буду везде.
Звезда покачнётся, упав из гнезда.
«Шолом», – улыбнусь я упавшей звезде.
«Аеханим», – негромко ответит звезда.

Над лампой с тростниковым абажуром
летают мошки вьющимся ажуром,
звенящий воздух юга шевеля.
Сгустилась темнота до неприличья,
и в этой темноте свои различья
теряют небо, море и земля.

Не помню, кто писал, что наши души –
не то одна стотысячная суши,
не то остекленевшая слеза –
как этот кубик льда в стакане виски.
И только звёзды, словно василиски,
глядят нам с изумлением в глаза.

Мы в чём-то даже более, чем звёзды,
дозорные посты и перепосты,
несущие янтарь и серебро
под сенью тростникового алькова
светильника. И столь же тростниково
скрипит в руках у вечности перо.



Я видел, как осенние киты
всплывают из осенней темноты,
из сумерек осеннего разлива,
под фонарями грея животы –
бессмысленно, светло и терпеливо.

Они мутили время, а потом
ловили воздух обречённым ртом
в пространстве извивающихся линий.
И становилось ясно: этот ливень –
фонтан над умирающим китом.

И горечью осеннюю дыша,
как истончавший стебель камыша,
я чувствовал, что время опустело,
и понимал: у времени есть тело,
которое покинула душа.

Отчаянный тебялюбец,
приснившийся наяву,
я пью из хрустальных блюдец
небесную синеву

и, чувствуя дней бесплотность,
не веря календарю,
дарю тебе мимолётность
и вечность тебе дарю.

Тобою придуман всуе
и сердцем твоим ведом,
когда-нибудь унесу я
тебя в зазеркальный дом

сквозь вражество всех разведок
и дружество всех границ –
от лестничных этих клеток
и лестничных этих птиц.

Камень прыгает по воде,
как солнце по лысине Будды.
Мы идём на поклон к золотой орде
и приносим ей дань: сосуды

с оливковым маслом, молодым вином
крымской черешней и собственными сердцами.
Время есть подумать о земном –
после представим себя творцами



вселенной, размером с настольную игру.
Становясь то горней, то дольней,
время в нас мечет икру –
за неизменением молний.

Ты не бойся – обопрись на моё плечо.
Всё приемля и всё отвергая,
мы посмеёмся над этой жизнью ещё –
если будет другая.

И жизнь наизнанку, и смерть наизнанку,
и пьяный шарманщик вращает шарманку,
пытаясь озвучить торжественный марш.
Его инструментом владеет простуда,
и кажется – вместо мелодий оттуда
наружу ползёт человеческий фарш.

Пишите майору, пожалуйста Богу –
четвёртая рота шагает не в ногу
и сводит с ума марширующий полк.
Застыло движение на автобанах,
сверчки-великаны стучат в барабанах
и воет в трубе обезумевший волк.

Проходит волна по окошкам и дверцам,
летают цветы с огнедышащим сердцем,
печатает шаг твердолобая рать.
– Устали, ребята?
– Устали, как черти.
– Куда вы идёте?
– Наверное, к смерти.
– Счастливой дороги.
– И вам – не хворать.

И пьяный шарманщик, виденьем пугаем,
хлебнув из горла, говорит с попугаем,
сидящем на левом плече:
– Повторяй,
скажи им: «Почтенная публика – здарсьте!
Тяните билетик – вам выпадет счастье!
А если не счастье, то выпадет рай».

Птицы машут крыльями, потому что всё время прощаются –
с лужайкой, по которой шагали, с веткой, на которой сидели.
Птичье прощание так огромно, что не помещается
в птичьем сердце и во всём птичьем теле.



Я не знаю, на какой очутился ветке,
на какой приземлился лужайке, к какому прирос карнизу.
Говорят, птицы могут жить и в клетке –
поменяв оперение на смирительную ризу.

Можно смирить не только дух, но и тело,
молча заглатывать воду, поклёвывать зёрна,
ибо мир не всегда выглядит чёрно-бело –
иногда он выглядит бело-чёрно.

Из сырой темноты, из синеющей вками мглы
вырастают стволы, выступают, острея, углы –
точно сотни смертей рассекают поветрие косами.
Даже если сейчас тебе плохо – хвала небесам.
Смажь мне тело елеем, пролей мне на сердце бальзам –
я порезан дождём и монгольскими скулами осени.

Не ревнуй меня к ней, но следи за полётом копья,
мимолётности – капаю за каплей – кропя и копя,
и когда времена просочатся последнею каплею,
кочевая орда сентябррей, октябррей, ноябррей
золотистую кожу с ушитанных тел фонарей
снимет заживо влажной от ливней татарскою саблею.

Вот и нас равнодушно столетья пускают под нож,
но, лишённые кожи, мы явственней чувствуем дрожь
мироздания – со всею его наготой подноготного,
разлетаясь на брызги, сухою листвою шурша.
И, свернувшись утробно калачиком, лижет душа
языком на своей бестелесности что-то животное.

Я говорил ему: «Брунеллески,
ты строишь прекрасные храмы,
я отлично рисую фрески.
Фрескам не нужно рамы,
что ставит их выше холстов.
Как животное не сводится к мясу,
искусство – это сотни пластов,
склеенных в единую массу.
В нашей Флорентийской республике,
где правят герцоги-меценаты-купцы,
икру намазывают на бублики,
когда не хватает мацы».

В тысяча девятьсот девяносто восьмом году,
бродя по флорентийским улицам и переулкам,
я точно знал, куда я иду –
наша память разложена по шкатулкам



фрагментами. Ты достнешь их, и мир
складывается в пазл – единый и целый.
На одной из улиц я заглянул в трактир –
то есть кафе. Бармен, усатый и загорелый,
налил мне эспрессо. Хотел меня обчитать,
приняв за лоха и иностранца.
Я хотел сказать ему: «О флорентийский тать,
знаю истинного тосканца!»

Вместо этого произнес: «Брунеллески,
ты прекрасно готовишь кофе,
я при помощи топора и стамески
делаю кресты и продаю – на Голгофе.
Эка жизнь нас поразбросала,
стасовав державы, опрокинув троны...
Я подсел на горилку и сало,
ты по-прежнему трескаешь макароны.
А помнишь, в нашей Флорентийской республике,
где правили герцоги-меценаты-кушцы,
икру намазывали на бублики,
когда не хватало мацы?»

Тот посмотрел на меня, как на безумца,
отсчитал мне сдачу – до последней лиры,
посоветал уйти и не вернуться,
торговать собою, сочинять верлибры,
утопиться в Арно, а свои гротески
прибереечь. Я думал, шагая прямо:
«До чего же скурвился Брунеллески...
Как же низко пала Флоренция-мама...
Время сжалось, стали века короче –
вошью в кармане, блохой на аркане...»

На ступенях базилики Санта-Кроче
пестрым табором расположились цыгане.
И один из них, чадо всех республик,
кочевавших по свету – неторопливо, с ленцой,
мне намазал икру на горячий бублик
и – если бы мог – угостил мацой.

ЕЛЕНА ЛАЗАРЕВА

БУДЬ СПРАВЕДЛИВЫМ, ГОСПОДИ

ИНФЕРНО

Так случилось – планета тому ли виной,
Что реальность не радует глаз новизной,
И живёшь в состоянии вечного краха.
Не бытуешь, а именно просто живёшь:
Невесомая роскошь – как в засуху дождь,
И не рвёшь на груди театрально рубаху.

Так случилось – в кустах пробудился рояль,
И свернулась душа в кружевную спираль,
Беззащитно-опасную, как наutilus.
И не стыдно: что выпито – то за свои,
Но осиновый кол в горле комом стоит.
Обыватель в оргазме – ага, докатилась!

Мудрецы не напрасно таким говорят,
Что в извилинах раковин теплится яд,
Что inferno – арена для мистификаций.
Под прикрытием пламени дремлет вода.
Кто меня приручил – тот со мной навсегда,
Я – не пёс, чтобы с голоду в руки даваться.

Всё, наверное, просто: причина во мне,
Что святые мои оказались на дне –
Разве можно творить, поклоняясь кому-то?
Разве можно, скуля, как побитый щенок,
По тарифу Господнему «всё включено»
Вмиг просаживать жизнь – до последней минуты?

Так случилось. Планета погрязла во лжи.
Хочешь славы – дающую руку лжи
И не смей выделяться из глинистой массы.
Только, Боже, служить – не моё ремесло.
Проще, ветхие мачты пуская на слом,
Хоть куда-то причалить, но в сеть не пойматься.



Ты желаешь награды за храбрость – изволь:
Одиночество – самая сладкая боль –
На усталые струны струится сквозь пальцы.
Не сейчас – много позже предъявится счёт...
Не смотри ни в глаза, ни куда-то ещё.
Не вторгайся, куда не зовут. Не вторгайся!!!

ДОЖДЬ В ЯНВАРЕ

Дождь в январе беззастенчиво театрален –
Звонкую дробь выбивает, впиваясь в мозг.
Боги Земли околели в своём астрале.
Неба изгиб ненадёжен, как ветхий мост.

Город висит ускользящей голограммой.
Окна домов – будто в полночь огни болот:
Там на обед поедают чужие драмы.
Там на десерт прерывают чужой полёт.

Видишь ли, брат, по-другому уже не будет:
Сети плетёт синтетический сытый рай.
В нём я смешон – одинокий промокший путник...
Не приговор, что планета уже стара,

В моде цинизм – оттого притупились чувства.
Мысли – свежи, как больничная простыня.
Здесь ремесло почему-то зовут искусством.
Ты – не игрок, Одиссей в четырёх стенах.

Время – вода. И могло очищать когда-то.
Нынче оно равнодушно, как зимний дождь.
Память – слепа. Вытирает на ощупь даты.
Совесьть – скупа. Но приходит, когда не ждёшь.

Дождь по щекам – как до крови по струнам пальцы.
Дождь по губам иступлённо – молчи, молчи!
Правда – крючок. Ты уже на него попался.
Прячься в тепло, только свет не забудь включить.

Глядя в глаза незнакомцу из зазеркалья,
Стань до конца откровенным хотя бы раз.
Главный ответ мудрецы до тебя искали.
Главный вопрос – ты себе задаёшь сейчас.

И никуда от себя самого не деться,
Слёзы – не грех, и не повод бежать в толпу.
Дождь в январе – заведённый хронометр сердца.
Остановись – чтобы после продолжить путь.



НЕ ПРОЩАЙ

Ничего не случилось – вроде бы,
Только порохом пахнет Родина
И полны закрома уродами,
Чьи стихи – гладкоствольный флуд.
Вы, кто ищете беды, обрящете
Мимолётную славу – в ящике...
Только хочется настоящего,
Предлагают – сплошной фаст-фуд.

И хотелось бы – да не можетя
Наточить поострее ножницы,
А рулоны – они всё множатся,
Будто сходит лавина с гор.
Даже если маршрут изменится,
Я не верю, что бег замедлится,
Завожу с предпоследней мельницей
Доверительный разговор.

Мол, живу, никого не трогая –
Просто карма такая строгая.
Где-то в памяти, за порогами
Все ответы – лежат на дне.
Годы жизни мелькают главами.
С перепуту постигла главное,
И летать научилась, плавая –
Из глубин-то всегда видней.

И когда ничего не хочется,
Свыше данному одиночеству
Отдаю без печали почести –
И довольно меня стращать.
Да, не скованы строки ГОСТами,
Негодует небесный госпиталь,
Только будь справедливым, Господи:
Невиновна я. Не прощай.

ДОРОГА

Снимает зима порыжелый скальп
С верхушек деревьев нежно.
Дорога, которую ты искал,
Завалена пеплом снежным.

С насмешкой метель завывает: «Ишь,
Попался какой упрямый!»
А ты на распутье один стоишь:
Направо, налево, прямо?

Сгибаясь под гнётом вселенских бед,
Отвергнув доспех из фальши,
Настойчиво ищешь в себе ответ –
Куда, ну куда же дальше?



Ты молод. Высоких материй шёлк
Лежит на челе вуалью.
Дорога, которую ты нашёл –
Твоя ли она? Твоя ли?..

Всё те же деревья. Всё тот же лес.
Дыханием пальцы греешь.
На карте – отнюдь не страна чудес,
А ты – не Иван-царевич.

Метель подгоняет – вперёд, вперёд!
И где-то за поворотом
Дорога, которую ты берёшь,
Настойчиво ждёт кого-то.

Она ускользает. И смотришь вследа
Без жалости, но с печалью.
А там, в отдалении, виден свет.
В конце? Или нет, в начале?

И слёзы бегут, как январский дождь...
С тобой в неразрывной связке
Дорога, которую ты пройдёшь –
Когда-нибудь в новой сказке.

ЧЁРНЫЙ ТЮЛЬПАН

Вначале твоя душа
Прозрачными лепестками
Ласкает небесный свет,
И кажется – не печёт.
И молится, чуть дыша...
Господь, как заправский Каин,
Смеётся тебе в ответ:
Неправильно, незачёт.

Смятение. Пустота.
Прозрение – и тревога.
Спасение – утопать,
Пока не коснёшься дна.
Кружение – просто так,
В надежде найти дорогу,
Ходьба по чужим стопам,
Попытка себя поднять.

А после, забив на всё,
Творить – до потери пульса,
Творить, постигая смысл
В бессмысленной суете.
Ни Бродского, ни Басё,
Ни модных поветрий буйства –
Омытый дождями мыс,
И Космос, где ты – везде,



Хоть место твоё – в углу,
 А жизнь – как турнир по гребле...
 На свежий рубец – ожог,
 Ни истины на потом.
 И ты прорастаешь вглубь,
 Качаясь на тонком стебле,
 Закутавшись в чёрный шёлк –
 Закрытый для всех бутон.

ТВИКС

Мы отныне с тобой на равных.
 Днём с огнём не отыщешь правды
 В этом странном бою без правил –
 Ты же, Господи, сам просил.
 Я к тебе не приду с повинной,
 Как с оборванной пуповиной,
 У прозрения – запах винный:
 По-иному – не хватит сил.

Во хмелю всё намного проще,
 Только веру душа на ощупь
 Не находит. Святые мощи –
 Не спасение от потерь.
 Но когда с обнажённой кожей
 Выползаешь на свет безбожный,
 Понимая: не выйдет позже –
 Сгоряча не захлопни дверь.

В этом царстве – ни звёзд, ни терний.
 Здесь экзамен сдают экстерном,
 Выпивая по две цистерны,
 На груди выжигая крест.
 Я не знаю другой планетки,
 Где ручные марионетки
 Отдавались бы за монетку –
 И похвален такой инцест.

Он уложит на стол любого.
 Не хирург – искушённый повар,
 Оглашая вердикт: «Game over»;
 Мол, отмучился – подавись.
 Ты в порыве сдираешь панцирь,
 От сакральных устав экспансий,
 А вдогонку тебе: «Не парься.
 Сделай паузу – скушай «Твикс».

РЕВИЗИЯ

Стольный град. Вместилище всех иллюзий,
 Где «хозяин жизни» – по жизни лузер,
 И тебя, как шар, загоняют в лузу,
 А в июле с неба – дождей десант.



Ты искал полжизни – ну с кем обняться?
Догорела вера в единство наций,
Но тебе останется восемнадцать,
Даже если стукнет за пятьдесят.

На помойку выброшен зомбоящик,
Ты устал от пьянок ненастоящих,
И какой-то бешеный звероящер
Из тепла тебя выгоняет в ночь.
В голове – обрывки забытых песен,
Мир людей в масштабах Вселенной тесен,
Ни к чему орать во всю глотку: «Здесь мы!» –
Тем, другим, наверное, всё равно.

Как летят часы на закате века...
Ты устал от их кругового бега,
Только мысль: «Остаться бы человеком!»
По привычной схеме бинтует мозг.
Омываешь веки прохладой улиц
И мечтаешь: «Только бы не проснулись...»
От густого воздуха сводит скулы,
Не имея гор, ты идёшь на мост.

Так бывает – переоценка хлама:
Что уже ни мама, ни Далай-лама
Не утасят жажды опшибок пламя,
И нирвана – хуже, чем просто смерть.
Под мостом издохнуть смешат угрозы,
Не слепит подержанных истин россыпь,
Ты раздумал вдруг становиться взрослым –
И смягчилась, дрогнув, земная твердь.

MY NEVERLAND

Осень. Вечная, серая, мёртвая осень.
И не хочется пить, потому что не просят.
И не хочется пить, потому что отбросы
Узурпируют сладкое слово «запой».
Брат, чего тебе надобно в здешних широтах,
Где безоблачно счастливы только уроды,
И корячится ночь в затянувшихся родах,
А метро так похоже на душный забой?

Здесь линиялое, тусклое, хворое небо,
И четыре угла – сокровенная небыль,
Но не стоит о том, что задуматься мне бы
О поездке на юг. Там едва ли теплей.
Я стараюсь не помнить, ни кто мы, ни где мы,
Сочиняю легенды на вольные темы...
Ой, да брось ты – какая мы, к чёрту, богема?
Научиться бы лучше летать на метле.



Здесь поётся и пьётся и дышится залпом –
Так не слышен тлетворный удушливый запах.
Мне плевать, что прогнило – «совок» или Запад,
Просто хочется снега. В наличии – дождь.
Ну, кому мы нужны – хоть себе-то признайся –
Там, где глотки грызут за дешёвые яйца,
Где туземцы привыкли по жизни бояться,
И желательно, чтобы бесчинствовал вождь?

Но тебе не понять. Да и нужно ли это?
Возвращайся в своё безмятежное лето.
Я – останусь. Прогулки по берегу Леты
Иногда позволяют взглянуть свысока.
Хоть порою и хочется не просыпаться,
Я сжимаю горячие нежные пальцы.
У меня всё сложилось. А эти паяцы...
Леший с ними – недолго осталось скакать.

СЕРГЕЙ ШАМАНОВ

ИДЕАЛЬНАЯ ФОРМА

рассказ

Косые лучи полуденного солнца выливались из широких деревянных окон, высвечивая рой пылинок в воздухе учебной аудитории и пышное тело молодой натурщицы, которая застыла на стуле с бесстрастным выражением на лице. Рядом с ней полукругом расположилось несколько десятков воспитанников академии художеств, юные дарования прилежно переносили изгибы обнажённого женского тела на бумагу, скрип их карандашей напоминал какофонию в оркестровой яме перед выступлением. Дирижёром и одновременно строгим критиком всего этого действия был преподаватель графики, бодрый мужчина невысокого роста с проплевшиной, разделившей чёрные кудри, в руках которого был не смычок, а чашка растворимого кофе. Это была уже третья чашка за занятие, прихлебывая из неё, он кружил между студентами, придирчиво разглядывая их работы. Застыв над миниатюрной девушкой, он взял у неё карандаш и подправил несколько линий. С чувством выполненного долга он продолжил свой обход, одёрнув весёлого парня, смущавшего насмешливым взглядом хорошенькую соседку, вырисовывавшую женскую грудь. Возле высокого молодого человека с чистым ватманом в руках, он выразительно постучал указательным пальцем по своему запястью, где под рукавом хлопковой рубашки угадывались часы. Студент вымученно закатил глаза, давая понять, что отсутствие вдохновения мешает ему приступить к работе. Преподаватель строго покачал головой и, не говоря ни слова, прошёл дальше, собирая рисунки учеников, уже закончивших свою работу.

По окончании занятия, он позвал неторопливого студента к себе, и, разглядывая его работу, проворчал:

– Давид, я вижу что муза, которую вы искали почти весь урок, пребывая в запредельных сферах, всё-таки попала в ваши руки под самый занавес занятия.

– Я не хотел лишиться вас удовольствия, – отшутился молодой человек.

Преподаватель тяжело вздохнул:

– У меня вся жизнь состоит из таких маленьких удовольствий. Вы не для меня делаете эти рисунки. Я лишь помогаю развивать ваши способности, и хочу, чтобы вы реализовали тот талант, который в вас заложен природой и чуточку больше.

Давид согласно кивнул, длинная прядь чёрных волос скатилась на его высокий лоб.

– Лена, поди-ка сюда! – громко позвал преподаватель натурщицу.

Закутанная в цветастое кимоно девушка вальяжно подошла к ним, и мужчина для сравнения приставил к ней ватман.

– Мне снова принять образ? – капризно спросила она.

– Не надо! – отрезал преподаватель. – Давид, кого вы рисовали? Я вижу здесь совсем другую девушку, а Лену не вижу!

Молодой человек, поскоблив пальцами подбородок, произнёс:

– Я немного улучшил её. Если вы присмотритесь, то увидите, что я не так много изменил. Нос сделал меньше, губы более чётко очертил, удлинил ноги, придал чуть больше упругости ягодицам и животу.

– Действительно, совсем немного, – съязвил преподаватель. – Совершенству нет предела, и я так понимаю, что доказательству этой всем известной истины вы решили посвятить сегодняшний урок.

– Извините, я не удержался от того, чтобы сделать увиденное чуточку лучше!

– Больше так не делайте. Для вас специально позировали, чтобы вы смогли наиболее точно передать образ. Когда рисуете конкретного человека ничего улучшать не надо, в этот момент вы художник, а не Господь Бог.



Ученик снова согласно кивнул, благоразумно воздержавшись от споров.

– На следующем занятии я посмотрю, как вы усвоили наш разговор. А сейчас идите! – строго сказал преподаватель.

Только молодой человек развернулся и готов был покинуть опустевшую аудиторию, за спиной раздался звук разрываемой бумаги. Натурщица, не оценившая работу студента, в которой он улучшил её до неузнаваемости, коварно улыбнулась обидчику, звучно тряхнув в воздухе двумя кусками ватмана.

– Вот реакция – заказчик недоволен! – рассмеялся преподаватель. – Возьмите это себе на память!

Давид забрал рисунок и в мастерской сопоставил его части на рабочем столе. Девушка была выписана довольно тщательно и подробно, не верилось, что он отклонился от оригинала так, что изобразил совсем другого человека. Женщину, которой не было в его реальности. Но преподаватель сказал, что видит на рисунке другого человека таким тоном, как будто действительно знал кого-то похожего в жизни. Давид крепко задумался, что тот имел в виду.

И вскоре он это понял. На выставке живописных работ спешившего предъявить миру свои творения товарища, Давид кроме множества сокурсников встретил и своего преподавателя по графике, который представил ему очаровательную девушку. Можно было особо не присматриваться к ней, чтобы увидеть весьма точное сходство с рисунком.

– Вы раньше не видели Веронику? Она работает в этой галерее.

Девушка с интересом посмотрела на парня. Она его раньше точно не видела.

– Нет, мы никогда не встречались, – ответил Давид, разглядывая девушку на фоне живописных полотен. – Я бы запомнил, у меня хорошая память на лица.

– А у вас красивое, редкое имя, – заметила она.

– Я поменял его на совершеннолетие, когда получал паспорт.

– Вот-вот, – возбуждённо произнес преподаватель, – меня всегда подбивало об этом спросить: имя в честь статуи?

– Признаюсь, что не подумал, когда взял его – влияние Микеланджело на меня и так слишком велико, – с наигранным смущением подтвердил Давид.

– Это не самое плохое влияние. Вероника может повлиять хуже, – подмигнул преподаватель.

Немного постояв с ними, он покинул вернисаж, спеша по своим делам, после чего Давид и Вероника смогли свободно пообщаться.

– Я не искусствовед, просто люблю искусство и всё красивое. Родственница пригласила меня тут поработать, это не занимает много времени.

– Галерея – прекрасное место для работы, – заметил он.

– Вам нравится выставка?

– Посмотреть можно, – неопределённо ответил он.

– Значит, не нравится?

– Если речь идет о красоте – вы самое красивое, что здесь есть.

– Ох, спасибо! Вы и так уже заинтриговали меня своим рисунком, – она жеманно закатила глаза.

У него пересохло в горле от взгляда на неё. То, как она улыбалась, закатывала глаза – всё в ней виделось ему идеальным, и казалось странным, что никто не прикладывал к этой красоте рук, кроме слепой Природы.

– А что вы пишете? В какой манере? – поинтересовалась она.

– Я больше тяготею к монументальному искусству.

– Можно на это посмотреть? Работы где-то выставлены?

– Только в моей мастерской.

– Туда можно попасть?

– У меня нет ни от кого тайн, – с улыбкой кивнул он.

– Тогда я воспользуюсь этим. Увидимся, – Вероника сделала перед ним реверанс, и направилась к группе девушек.

Давид был очарован Вероникой и думал о следующем свидании с ней, но пока он, со всей присущей ему ответственностью, несколько дней размышлял о том, как бы лучше обставить их встречу, она опередила его самым непосредственным образом. Её телефонный звонок оторвал Давида от работы, а бойкий голос заставил об этой работе забыть. Девушка гуляла неподалёку и решила напроситься в гости.

Она стояла перед ним одетая в изящный лёгкий сарафан, напоминающий вечернее платье. Косметика на лице, которой не было во время торжественного вернисажа, красноречиво говорила, что она здесь оказалась не случайно.



– Могла бы предупредить, что придёшь. Я бы подготовился.

– Мужчина за работой выглядит прекрасно, – сказала она, оглядывая молодого человека в комбинезоне на голое тело. Ткань в складках и смуглая кожа были покрыты мраморной пылью.

С трудом оторвав взгляд от его мускулистого тела, она оглядела мастерскую, которую он делил с товарищем. На дощатом полу у стен стояли гипсовые бюсты и статуэтки, пустые бутылки из-под вина, полки шкафа заполнили книги по архитектуре, фотоальбомы, а так же всевозможная бутафория, трещины окрашенных стен украшали различные изображения – приклеенные графические рисунки, написанные маслом портреты, акварели с городскими пейзажами, на которых узнавались достопримечательности Одессы, Москвы и Санкт-Петербурга с его знаменитыми пригородами.

– Тут не всё моё, – сказал он, как будто смущаясь, что она примет некоторые работы товарища за его.

– Но этот купидон – точно твоя работа? – она подошла к небольшой мраморной статуе, изображавшей кудрявого ребёнка.

– Кроме меня к нему никто не прикасался, – гордо ответил он.

– Он как живой. А мне прикоснуться можно? – увидев одобрение в его глазах, девушка кончиками пальцев дотронулась до мраморной щеки. – Тебе кто-то позировал?

– Нет, он, как Афина, родился прямо из головы.

Вероника посмотрела на скульптора и улыбнулась.

– Ты намного талантливее тех художников, что выставляются в галереях. У тебя были выставки?

– Я не спешу заявлять миру о себе.

– Это излишняя скромность.

– Мне ещё надо найти своё понимание искусства.

– В чём оно заключается?

– Я ещё не знаю. Пока просто ищу идеал.

– Ищешь себя в классическом искусстве?

– Чтобы заниматься современным, нужно пройти через классику. Но, занимаясь классикой, понимаешь, что душа к новому искусству не лежит, как бы ни было оно актуально. Ради традиционной красоты я готов пожертвовать скандальной славой. И кто знает, может быть, я приду к чему-то новому – этот путь я для себя не закрываю.

– Покажи мне тот рисунок, – попросила она.

– Он уничтожен.

– Покажи то, что осталось, – не отступала она.

– Лучше я напишу тебя с натуры.

– Потом нарисуешь. Мне интересно посмотреть на то, как ты меня увидел.

– Ладно, – сдался он и нехотя прошёл к шкафу, на полке которого лежали две половинки ватмана.

– Ничего себе, – воскликнула девушка, сопоставив рисунок. – Действительно похожа... Только не говори, что ты не видел меня раньше.

Он стоял рядом, и с удивлением смотрел то на девушку, то на рисунок. И если в её отсутствие можно было говорить о сходстве, то теперь оно было несомненным.

– Может быть, видел тебя краем глаза, – готов был согласиться он, но тут же качнул головой, – Нет, если бы я видел тебя, то не забыл бы этого.

– Наверное, – кивнула она. – Но без одежды ты меня не видел. Мне кажется ноги у меня короче, не такие красивые...

Он посмотрел на её ноги, выглядывавшие из-под сарафана до колен.

– Трудно сказать...

Его неуверенность как будто сделала девушку более уверенной в себе. Она быстро сняла сарафан через голову и очутилась перед ним в нижнем белье – белый лифчик, из-под которого проглядывали тёмные бугорки, на упругих бёдрах – треугольник трусиков.

– Похожа? Что скажешь?

Его лицо зарделось румянцем. Он молчал, окончательно потеряв дар речи.

– С тобой всё в порядке? – виновато спросила она.

Он кивнул и приблизился к ней, заключив девушку в объятия.

Вероника ушла от него под утро, а днём они встретились в центре города.

– Я подумала, что тебе здесь понравится, – сказала она.

Они шли по широкой гравиевой дорожке Летнего сада, между зелёными изгородями, высокие липы

образовывали над ними свод из ветвей, на фоне всеобщей молодой зелени яркой белизной выделялись мраморные статуи в греко-римском стиле.

– Я часто здесь бываю. Люблю античные статуи. Там где я вырос, их почти не было, все скульптуры у нас были или как часть оформления фасадов или какая-то бутафория, украшавшая кафе.

– Мне нравится, что каждая из них обозначает какое-либо явление.

– У тебя здесь есть любимая статуя?

– Есть. Угадаешь?

– Аллегория красоты?

– Нет, – рассмеялась она.

– А какая?

– Не хочу никакую из них выделять. Я их все люблю.

– Статуя, изваянная по твоему образу, была бы лучшей.

Огонек в её глазах выдал заинтересованность:

– Ты можешь это сделать?

– Ответственная работа. Улучшить твой образ я не смогу, а повторить за Природой – придётся попотеть.

– Тебе не под силу сделать статую?

– Я создам её.

Мысленно он уже ваял эту статую. Отношения их развивались благополучно – совместные прогулки по городу на велосипедах, походы в кино на сложные фильмы не для всех и в театр на вечную классику. Они совместно провожали день и встречали рассвет.

Однажды, проснувшись рано, Вероника обнаружила, что простынь скинута с её тела. Давид лежал на боку и с внимательной задумчивостью разглядывал её тело в мягких утренних сумерках. Это был больше взгляд художника, чем любовника.

– Ты думаешь о том, как будешь делать статую?

– Думаю, что момент ещё не наступил.

– Чего ты ждёшь? Что тебя останавливает?

– Для меня работа – это немножко страдание, а тут всё кажется слишком лёгким и приятным.

– Трудно понять ход твоих мыслей, – вздохнула она.

Он погладил её по щеке.

– Я сделаю статую.

– Обещаешь?

Он поклялся увековечить свою возлюбленную.

И вскоре он лепил из гипса статую девушки. Но это была не Вероника, и это был не её заказ. Обнаженная натурщица позировала ему в мастерской для статуи нимфы, судьбой которой было украсить зимний сад особняка.

Увидев почти готовую статую, Вероника ограничилась дежурным комплиментом, но от её холодного взгляда ему стало не по себе.

– Я исполню обещанное.

– Мы почти два месяца вместе, а ты даже ни разу не нарисовал меня, – с упрёком сказала она.

Он подошёл к девушке и обнял её за плечи:

– Нарисую. И изваяю.

– Нарисуешь, куда ты денешься... Я подумаю, как тебе помочь, – сказала она.

Он не понял, что она имела в виду. Но после этого разговора почти не видел девушку. Она перестала ночевать у него, иногда он не мог до неё дозвониться. Он мог заявиться в галерею, где она работала, но Вероника встречала его без радушия, давая понять, что ему не стоит злоупотреблять визитами, которых она не могла избежать. Он хотел с ней объясниться, но в моменты редких встреч она искусно переводила разговор на другие темы.

Неужели всё действительно было из-за того, что он не рисовал её, не ваял статую? Была ли в этом странность непостижимой женской души? Задумываясь об этом, он мучился вопросом: можно ли полноценно изваять тело, не познав душу?

Ему было трудно без неё. Хотелось слышать её голос – не важно, что бы она говорила, видеть её – не важно, как бы она выглядела, знать, что они будут вместе – не важно, что когда-то кончится жизнь и их счастье. Его всегда пугала зависимость от женщины, но в случае Вероники он не видел в этом ничего страшного.



Но не менее зависим он был от работы. Благо, одной нимфой заказы не ограничились, и он лепил новую статую, забываясь в работе.

И ещё кое-что успокаивало его – он верил, что она его не разлюбила. Эта вера была так сильна, что уравнилась со знанием: он верил и знал, что они снова встретятся.

Но он не мог предположить какой будет эта встреча.

Это снова было занятие по графике в академии. Косые лучи солнца падали на подиум, где на стуле сидела обнажённая натурщица. Студенты, сидевшие вокруг девушки, воссоздавали на ватманах её образ, и Давиду было не по себе оттого, что целая толпа знакомых ему людей тщательно разглядывает его девушку не с праздным любопытством, а взглядами внимательных к деталям художников, передающих в том числе и самые интимные из них на бумагу для всеобщего обозрения.

Преподаватель графики хитро ухмылялся, глядя на своего ученика:

– Давид, «Белый квадрат» уже написан. Рисуйте... Время идёт.

Раздались смехи товарищей, прекрасно понимавших, что к чему, ведь слухи среди студентов быстро расходятся.

И только Вероника продолжала сидеть в позе, как будто ничего не происходило, застыв как камень и демонстрируя бесстыжую красоту.

Скрипели грифели молодых художников. Поёживаясь от этой какофонии, Давид один не принимался за работу, рассматривая модель, которая в этот момент олицетворяла всё то равнодушие, которое он пережил с её стороны. Но это была его девушка, живой человек, а не статуя, он хотел, чтобы она его заметила.

И дождался-таки от неё знака.

На миг она повернула к нему лицо, улыбнулась, показав кончик языка, выразительно подмигнула правым глазом и снова приняла каменную позу, как будто и не было ничего.

Но ему этого было достаточно, и окрылённый художник принялся за работу.

По окончании занятия преподаватель подозвал его к себе:

– Достойная работа. От меня – высший бал. Рисунок я отдал Веронике, она хочет его прокомментировать.

Давид зашел в подсобку, где Вероника, уже одевшаяся, в полумраке сидела на краешке стола, сжимая в руках его рисунок.

– Что это было? – недовольно произнёс он.

– Так трудно заставить тебя нарисовать меня. Приходится идти на отчаянные поступки.

– Это было лишним!

– Лишним? – нахмурившись, она посмотрела на его рисунок: – А мне нравится.

Он приблизился к ней, положил руку на выглядывавшее из-под юбки голое колено. Они слились в объятии и поцелуях.

Ночь они провели вместе, вечером девушка снова пришла к нему.

– Ты всё не можешь расстаться с моим рисунком? – спросил он, глядя на большой лист бумаги в её руках.

– Это немного не то, – ответила она.

– Покажи... – он взял у неё свернутый вдвое лист и развернул.

Это оказалась афиша его будущей выставки.

– Я подумала, что только требую от тебя. И вот решила что-то для тебя сделать.

– Спасибо! Но мне пока рано выставляться...

– Ты можешь делать прекрасные работы, значит не рано.

– Но мне нечего показать!

Она нахмурилась.

– Ты совсем недооцениваешь себя. У тебя есть работы.

Девушка смогла убедить Давида в том, что материала для выставки у него достаточно. Они договорятся с хозяевами проданных работ, чтобы те одолжили их на время выставки, а новые скульптуры уйдут к заказчикам чуть позже. Несколько сделанных не на заказ скульптурных работ, не говоря о картинах, есть в мастерской. Вероника надеялась, что привлечёт внимание заказчиков к нему, благо она знала, кому это можно показать.

Всё произошло так, как она задумала. Лучшие работы Давида заняли места в галерее, пришло множество гостей, включая местных репортёров, которым молодой скульптор рассказал о себе и о своем видении искусства.

Один из гостей, вокруг которого Вероника крутилась так долго, что Давид начал ревновать, внимательно рассматривал его скульптуры и графические рисунки.



– Так странно, – медленно проговорил он, оказавшись возле Давида, и не отрывая при этом глаз от наброска обнаженной Вероники, – алмаз в природе получается из гриффеля. Ценный камень. Но и гриффель при определённых условиях может быть ценнее алмаза.

– Алмазом шлифуют другие алмазы, из которых делают бриллианты, – нашелся парень. – При желании можно и алмазом такое нацарапать, что дух захватит.

– Верно! Тут заслуга не гриффеля или алмаза, это заслуга художника, – громко сказал тот и протянул Давиду руку.

Они немного пообщались, и позже молодой человек узнал, что это был известный в городе архитектор. Вероника с воодушевлением нахваливала его – у него всегда много состоятельных заказчиков, которых вдохновляет садово-парковая и дворцовая архитектура старого города и его богатых пригородов. Но этот архитектор, горячо подчёркивала она, всегда стремится уйти от слепого подражательства, стараясь внести что-то новое и оригинальное, и потому подающий большие надежды молодой художник сможет с ним сработаться.

На следующий день Вероника встретила Давида в галерее с охлажденной бутылкой шампанского. Клиент архитектора приобрёл скульптуру купидона и решил заказать ещё несколько работ, за которые обещал щедрое вознаграждение.

Всего пара клиентов архитектора завалила Давида работой на долгие месяцы вперёд. Ставшему востребованным скульптору уже не хватало места в мастерской, график работы становился ненормированным, и он договорился с товарищем, что будет снимать помещение в одиночку. Приходилось выполнять сразу несколько заказов, уже готовые скульптуры стояли в мастерской и ждали своего часа.

Однажды Давид взял Веронику с собой на объект заказчика, известного политика федерального масштаба, строящийся особняк которого ей очень хотелось посмотреть. А самоуверенный заказчик не сводил глаз с девушки, и когда скульптор принялся обсуждать с ним будущий фонтан, попросил сделать нимфу с Вероники. Довольная девушка вскарабкалась на постамент из мешков с цементом, демонстрируя, как будет выглядеть будущий фонтан.

Наблюдая сцену ошарашенной вниманием модели и пораженного её красотой заказчика, Давид молчал, ревниво играя желваками. Но его сдержанное негодование не могло сравниться с тем, что выплеснула из себя Вероника, увидев его вскоре за работой.

– Что это? – обиженным тоном спросила девушка, созерцая изваяние мужчины, который склонился над камнем и с восхищением протягивал ладонь к канавке для стока воды.

– Это Нарцисс. Он будет смотреть на своё отражение в протекающей воде. Мне пришло в голову сделать его вместо избитого сюжета с нимфой, и заказчик эту идею одобрил.

– Он красивый, – ледяным тоном промолвила она, запустив руку в его мраморную шевелюру. – Он больше достоин чести быть увековеченным, чем я.

– Это не то! – сказал он, но Вероника отказалась обсуждать изменившийся заказ и покинула мастерскую.

Давно прошла весна их знакомства, и пролетело лето. Они провели это время вместе, но никуда не ездили, как вначале планировали. Давид был увлечён работой.

– Я у тебя даже не на втором месте. Второго места у тебя попросту нет, – пожаловалась как-то она.

– Скоро все изменится. Всё будет хорошо, ведь я тебя люблю.

Как-то девушка проснулась поутру и увидела, что возлюбленный задумчиво рассматривает её.

– Думаешь – делать ли с меня статую?

– Думаю, что уже пора увековечить твою красоту.

– Что значит «уже пора увековечить»? Я что, по-твоему, начала стареть?

– Нет, конечно. Но мне кажется, что сейчас ты идеальна. Лучше не может быть.

– Ну, спасибо.

Он усмехнулся.

– Почему ты всё время откладываешь работу?

– Ты для меня идеал. Твои формы. Я действительно тебя люблю и восхищаюсь тобой...

– И?

– Это должна быть идеальная работа. А идеальная работа убивает художника. Он уже ничего лучше после неё не создаст.

– Вот оно что ты вбил себе в голову, – вздохнула она. – Но ты не прав. Идеальная работа увековечивает художника.

– Увековечивает его память, но живого убивает.



Она села в кровати и, глядя ему в глаза, с серьёзным видом спросила:

– Ты не готов ради меня умереть?

– Готов. Но пожить ещё хочется, – рассмеялся он.

Он прижал надувшуюся девушку к себе. В этот момент она показалась ему холодной как камень.

Через несколько дней, вернувшись к себе с занятий, он обнаружил записку. Вероника написала, что плохо себя чувствует, и решила пожить у родителей.

Телефон её не отвечал. Снова она пряталась от него.

Он решил не быть навязчивым. Пройдёт время и снова всё будет как прежде.

Он получил новый заказ, в который ушёл с головой. Высекая скульптуру, он думал о том, что время и пространство, окружающее его – это тоже камень, и, совершая определённые поступки, можно убрать всё лишнее, и получить нужную форму. Главное наносить правильные удары в нужном месте и не отбить лишний кусок, отсутствие которого не позволит придать идеальную форму своему будущему.

Он смотрел в будущее и видел его таким, как хотел. Он сделает статую, без модели это будет сложно, но он сможет. Она увидит её и сомлеет, будет поражена и снова будет с ним.

Он был полностью уверен в себе и спокоен.

Но случилось так, что внешнее воздействие всё разрушило.

Однажды в дверь позвонил немолодой мужчина, которого он впервые увидел. Он был высокого роста, крепок физически, чёрные с сединой волосы зачёсаны назад.

– Я отец Вероники, – сказал он. – Хочу забрать её вещи.

– Где она сама? Я хочу с ней поговорить, – сказал Давид.

Мужчина смотрел в его глаза уничижающим взглядом и, не дождавшись приглашения, шагнул в прихожую.

– Вероники больше нет. Она умерла.

Новость эта ошарашила молодого человека. Он потерял дар речи, и пока приходил в себя, отец девушки собрал в сумку немногие её вещи, которые остались.

– Отчего она умерла? – спросил Давид на пороге.

– Проблемы с сердцем, – бросил мужчина и ушёл.

Давид остался один. Теперь совсем один.

Он перестал работать. Смысла в этой работе больше не было. Заказчик его не торошил и всё понял, как будто знал о случившемся несчастье ещё раньше него.

Давид чувствовал, что виноват в смерти девушки. Что он мог изменить?

Больше любил работу, чем её? Но, наверное, она это понимала и смирилась.

Не выполнил обещание сделать статую? Но он собирался её сделать, в голове образ статуи давно кристаллизовался и кристалл этот был твёрже мрамора. Да и не могла она из-за такой ерунды...

Но было ли это ерундой? Он к своей работе относился более чем серьёзно, безупречно выполненная работа могла увековечить его, и его модель.

Он должен был это сделать. Если не тогда, то сейчас.

Снова он размышлял о ней. Была ли она идеальной, если один изъян, невидимый снаружи, погубил её? И тут он приходил к странному выводу, что её слабое сердце могло откладывать отпечаток хрупкости на внешность, и это придавало её красоте особую уникальность. Ведь в этом грубом мире идеальная красота не может не быть хрупкой.

Ему нужно было меньше размышлять и скорее браться за работу.

Но работа не шла. Он даже нарисовать её не мог. Мысли скакали в голове, иногда казалось, что девушка где-то рядом, и он сомневался, что её нет среди живых. Вдруг она жива, а это всё какой-то дикий розыгрыш?

Всё очевидней становилась необходимость поговорить с родителями девушки.

И вскоре он приехал к ним. Это была квартира в старом доме возле одной из набережных, дверь открыл её отец, он провёл гостя на кухню, где налил чай, к которому молодой человек притронулся только символически.

– Как это произошло? – спросил Давид, пряча глаза от сидевшей напротив матери девушки, которая испепеляла его взглядом.

– Во сне. Судя по всему. Мать нашла её утром...

– Простите меня...

– У неё было слабое сердце. Это был единственный её недостаток. Но она никогда не жаловалась на сердце... Это случилось как-то быстро, неожиданно. Это несправедливо!



Мужчина ударил рукой по столу, слеза скатилась с его щеки, он расплакался.

Давиду стало неловко, он заёрзал на стуле. Мать Вероники встала и строго посмотрела на гостя.

– Шли бы вы. Веронике уже ничто не поможет.

Давид покраснел до кончиков ушей и косил глаза на мужчину, который плакал всё сильнее и начинал захлёбываться слезами.

– Да, конечно, вы правы. Я пойду.

Он встал:

– Простите меня...

– Бог простит, – ответила женщина и выпроводила гостя.

Давид чувствовал себя проклятым. Придя в мастерскую, он схватил молоток и разбил почти готовую мраморную статую ангела, от которой остались одни ступни на камне.

Склонившись у постамента, он обнял их и стал целовать. Они были похожи на ступни Вероники – Давид допустил это сходство не задумываясь, он внутренне уже давно готовился к своей главной работе.

Он сделает эту работу.

Но время шло, а он не приступал.

Ни к этой работе, ни к другой. Учёбу забросил, но после новогодних праздников наверстал отставание.

Весной попробовал забыться в любовном романе с сокурсницей, не дававшей ему прохода. Но быстро поняв, что это не приносит ему удовлетворения и причиняет девушке незаслуженную боль, убедил её расстаться.

Он ещё не вышел из отношений с Вероникой.

Он знал, что должен для этого сделать. Но всё откладывал. И так бы продолжалось вечно, если бы не отец девушки.

На самом исходе весны он неожиданно заявился к Давиду домой, потревожив ранним звонком. Молодой хозяин поприветствовал нежданного гостя и спросил, чем может быть полезен.

– Близится годовщина смерти Вероники. Мы хотим поставить на её могиле памятник.

Давид уже понял, о чём его будут просить. И не ошибся.

– Мы хотим заказать у вас её скульптуру. Это возможно?

Парень слотнул слюну.

– Я никогда не делал надгробных памятников. И не хотел бы делать такую скульптуру с изображением Вероники.

– Это не должен быть памятник. Сделайте так, как хотели бы её увидеть, – быстро проговорил мужчина и продолжил: – Мы будем довольны, если вы возьмётесь за эту работу. А с ней вы справитесь. Мы в этом не сомневаемся. Назовите цену – деньги не вопрос. Скажите, какой нужен мрамор и вы его получите.

– Любой мрамор, какой считаете нужным...

– Вы согласны?

– Вы считаете, что это должен делать я?

Мужчина опустил голову.

– Жена была против, но на днях ей несколько раз снилась дочь. Вероника категорично сказала матери, что статую должны извлекать вы.

Давид кивнул. Мужчина твёрдо посмотрел на него:

– Мы не примем возражений. Это должны быть вы.

– Я не возражаю. Я буду рад сделать эту работу, – сказал он.

Через неделю к нему в мастерскую привезли брусок белого мрамора. Камень куском горы возвышался в помещении, глядя на него, Давид терял уверенность в том, что сможет покорить эту вершину.

Пока молодой скульптор пребывал в творческих раздумьях, отец Вероники не преминул позвонить, чтобы узнать, когда работа будет закончена.

– У меня сейчас срочные заказы, которые надо доделывать, – соврал Давид. – После них я смогу точно сказать...

Его заказчик ничего не ответил, но всего через несколько минут, позвонил архитектор и потребовал выполнить заказ на памятник. Он прекрасно знал, что та работа, которая есть у Давида, подождёт, пускай он уже и получил за неё свои авансы. Главное – памятник.

Давид понял, что все они связаны. И заказы архитектора, щедрые гонорары – заслуга Вероники.

Он был обречён на эту работу.

И он настраивался на то, чтобы сделать лучшую работу в своей жизни.



Несколько дней он ходил вокруг камня. Фигура девушки в мраморной глыбе просила его об освобождении.

Он слышал голос, который раздавался внутри камня.

Голос звал его, призывал к работе.

И он взялся за зубило и молот.

До глубокой ночи он сбивал мрамор, подбираясь к очертаниям образа Вероники. Когда он обессиленный закончил – в мраморе можно было представить фигуру человека в мешковатом саване.

На следующий день он продолжил работу. День за днём, ночь за ночью – он уже сбился со счёта. Наконец мраморный саван был сброшен и на постаменте оказалась фигура, напоминающая человеческую.

Наступал самый творческий и самый сложный этап работы. Давид едва касался мрамора, дни проходили в бездействии.

Однажды к нему в гости зашёл товарищ по академии, поболтать и узнать, куда тот пропал, и был поражён изнурённым видом молодого скульптора. Он поинтересовался в порядке ли Давид, тот ответил, что сейчас его интересует статуя, а не он сам.

Молодой мастер готов был сделать перерыв в работе, чтобы развеяться. Но начав ваять скульптуру, он не мог остановиться – это было сильнее его, он должен был закончить работу.

Сейчас ему не хватало Вероники ещё и в том смысле, чтобы с неё делать статую. Он часами смотрел её фотографии, но этого было недостаточно.

Он мог бы сделать её по памяти, приблизительно. Очень похоже. Такая работа удовлетворила бы заказчика, он был бы рад. Но Давид был перфекционистом, он не простил бы себе халтуры, даже самой малой небрежности.

Его заказчик снова интересовался продвижением работы. Давид сказал, что она близка к завершению. И это действительно было так, но он никак не мог закончить её.

Казалось, что ему поможет лишь чудо. И чудо произошло.

В одну из бессонных ночей он снова услышал голос любимой девушки. И обернувшись, увидел её в своей мастерской.

Обнажённая девушка стояла на фоне тяжёлых карминовых штор, обратив к нему взгляд.

– Я схожу с ума, – произнёс он.

– Ты давно сходишь с ума, – улыбнулась она.

– Если я схожу с ума и вижу тебя так реально, – он подошёл к ней и коснулся плеча девушки, – значит, в этом сумасшествии нет ничего плохого.

– Ты можешь видеть больше чем другие, ведь у тебя видение художника, – сказала Вероника, откинув за плечи волосы, закрывавшие грудь.

Он с восхищением смотрел на неё.

– Не трать времени, приступай к работе, – повелительным тоном произнесла она.

И он вернулся к статуе.

Молодой скульптор уверенно обрабатывал ноги изваяния, стали тоньше пальцы на руках статуи, отчётливей проявились контуры ногтей. Он проводил рукой по телу призрака, и кожа её показалась ему тёплой, и может, не призраком она была. Прикасаясь к её груди, наполняя ими свои ладони, он высекал грудь мраморную. Желание охватило его более сильное, чем тяга к работе. И она позволила ему утолить эту страсть.

– А теперь приступай к работе, – сказала она обмякшему на дощатом полу любовнику.

И он снова приступил к работе.

Стали полнее и более очерченными губы на мраморном лице. Выразительней глаза в щётках мраморных ресничек, так тонко сделанных, что сразу думалось – первым, что испортит бесконечное время, это, пожалуй, их. И от осознания этой хрупкости перед вечностью, глядя в её глаза, становилось грустно, хотя не выражал грусти её взгляд.

Чувственность лица, к которому он без конца прикасался, пробуждала в нём ответную чувственность. И снова они сближались, растворяясь друг в друге, и снова он лежал на полу обессиленный, так, точно умер, и возрождался в другом мире.

И он понимал, что снова жив – продолжая работать над статуей.

Всё отчётливей становилась бесконечность её волос, струившихся по плечам и груди. И укрощение этой бесконечности приближало его к завершению работы, достижению своего идеала.

В очередной раз они слились в объятиях. Изнурённый работой и любовью он заснул.



Лежа на кушетке в той же позе, в которой на неё свалился, в позе, по которой угадывалось наличие на этом ложе ещё одного тела, которого в реальности не было, словно оно растворилось с приходом расвета, он спал так долго, как никогда не спал в своей жизни. Пробудившись от сна, он пытался определить свои координаты во времени и пространстве. В животе ныло от голода, пупок едва ли не соприкасался с позвоночником, наверное, он уже несколько суток не ел, питаясь только любовью, которая стала так велика, что приобрела некоторые почти физические параметры, измерявшиеся в калориях, отчего могла наполнять его энергией, давая силу к жизни.

А может, он жил и питался грёзами? Вспомнив о девушке, явившейся к нему, вспомнив своё лихорадочное состояние, далёкое от состояния обычного человека, он с ясностью пробуждённого понимал, что пережитое было в лучшем случае сном.

Он встал с кушетки, подошёл к столу, с которого взял бутылку с водой. Руки и всё тело были в мраморной крошке. Глянув на статую, он испугался так, точно увидел призрак.

Но это была статуя. Уже готовая. Или почти готовая.

Значит, это был не сон?

Рука коснулась его плеча, звонкий голос произнёс:

– Ты готов продолжить работу?

Его модель была с ним. Снова его руки прикоснулись к ней, чтобы приблизить к идеалу камень.

Снова они валились на пол, в порывистых объятиях. И тут он уже не мог отличить реальность от фантазии.

Проснувшись в одиночестве, он первым делом бросил взор на статую. С кушетки она виделась практически готовой.

Выпил воды – он уже приноровился обходиться без еды, преодолев чувство голода.

Только голод к работе ощущался им. Он готов был продолжать, но Вероники нигде не было. Обскавившись её, он сел на стул перед статуей и любуясь, ждал прихода своей модели.

Но пришла не она, а её отец. Мужчина вошёл в незапертую мастерскую и застыл за спиной скульптора.

– Превосходно, – сказал он, разглядывая мраморное изваяние дочери. – Я не представлял, что такое возможно.

– Она ещё не закончена, – сухо сказал Давид, не отрывая глаз от статуи.

Мужчина приблизился к изваянию, обошёл его со всех сторон. От созерцания статуи, столь похожей на умершую дочь, он не смог сдержать слёз.

– Что ещё нужно сделать?

– Остались маленькие детали.

– Сколько времени это займёт?

Не отрывая глаз от статуи, так, точно он говорил с ней, Давид ответил:

– Может быть одна ночь. Может быть... один год.

– Это невозможно! – воскликнул мужчина.

– Она будет готова, но мне нужно время.

– Времени уже нет. Прошёл год, мы должны поставить памятник.

– К чему эта суетливая спешка? У этого камня впереди вечность, главное, чтобы работа была идеально сделана, – с раздражением сказал молодой человек.

Мужчина подошёл к нему, его красные слезившиеся глаза поймали взгляд скульптора:

– У камня есть вечность, а у нас вечности нет. Возможно, что, работая с камнем и увлекаясь теориями вечного искусства, вы об этом забыли!

– Я не прошу вечности, я прошу времени закончить работу.

– Нет! – заказчик скульптуры, ещё только что готовый принять условия мастера, теперь категорически решил не идти на уступки странному парню. – Я вызываю грузчиков, статую нужно забрать отсюда, прямо сейчас.

В его руке появился мобильный телефон, он начал искать в записной книжке нужный контакт.

Давид вскочил со стула и потрянул мужчину за плечи:

– Вы, кажется, не поняли? Работа ещё не завершена!

– Парень, да ты с ума сошёл! Что ты себе позволяешь? Я не уйду отсюда без статуи.

Давид схватил незваного гостя за руку и потащил к двери. Тот сопротивлялся, но немолодому мужчине было трудно бороться с крепким скульптором, силы которого как будто удесятились.

Он громко протестовал, но Давид был неумолим и выкинул мужчину на лестницу.



Громко захлопнулась дверь. Скульптор остался наедине со своим творением – мог ли он желать большего?

Статуя ждала. Осталось выполнить лишь самую малость. Но ему была нужна её помощь.

Он сел перед своим незавершённым творением, понутив голову, уже раскаиваясь в том, что был, возможно, излишне жесток и груб с её отцом.

– Всё нормально, – холодная рука легла на его плечо. – Ты работаешь, чтобы создать идеал. Мало кто это понимает, но я это ценю.

И снова он работал. И снова они любили друг друга.

Его руки меняли тёплую податливую кожу девушки на холодный твёрдый мрамор. И мрамор поддавался, приближаясь к идеалу.

– Смелей. Иди ко мне, шлифуй этот мрамор. Он должен быть гладким как моя кожа.

Все детали были выполнены, статуя стояла перед ним во всей своей красе. Осталось только отшлифовать мрамор.

– Шлифуй его! – настойчиво твердила красавица. – Убирай с него царапины, лишние слои. Молекула к молекуле, атом к атому. Когда форма статуи не будет отличаться от формы моего тела, моя душа войдёт в камень и оживит его.

Давид полировал мрамор от кончиков пальцев до мочек изящных ушей. Такая работа одновременно изнуряла и возбуждала его.

– Давай, не останавливайся, – подгоняла она. – Ещё немного и я буду твоей.

Она щедро давала ему авансы любви. Каким-то чудом ничком лежащий скульптор находил в себе силы встать и продолжить работу – любовь и желание завершить начатое, приблизиться к идеалу, двигали им.

– Я твой идеал, – многократно повторяла она, словами своими, вводя его в транс.

И он продолжал натирать идеальные формы статуи, к этому идеалу приближаясь.

Увлечённый работой, он неожиданно понял, что работа доведена до конца. Мрамор под его пальцами стал податливым, упругим, точно кожа.

Могло ли такое быть?

Со страхом он отшатнулся от статуи. В этот момент Вероники уже не было в помещении, но что-то ему говорило, что она присутствовала здесь – внутри мраморного тела.

Статуя пришла в движение – опустились её белые руки, лицо обернулось к нему, моргнули щёточки-ресницы.

– Ты это сделал. Ты создал идеальную форму, – сорвался гудящий шепот с её губ.

Она простёрла руки:

– Иди ко мне...

Теперь он сам застыл как статуя и не мог, да и не хотел пошевелиться.

– Иди ко мне, – настойчиво повторила она.

Он стоял.

– Не бойся приблизиться к своему идеалу. Я идеал, цель твоего существования – приблизиться ко мне.

Он сжал пальцы в кулаки и шагнул к ней. Улыбка разгладила мраморные уста:

– Иди ко мне.

Он приблизился к ней и взлетел на пьедестал – он не мог противиться этому желанию.

Статуя обняла его, прижав к себе, и кости его захрустели в каменных объятиях, а тело ослабло и обмякло.

Он был уже мёртв, но она не выпускала его, держа в своих руках. Было ли то желание выпустить его, или просто трещина прошла по затвердевшему мрамору. Каким-то образом он смог передать камню хрупкость, что была присуща его девушке, не прижившейся в этом мире и столь рано его покинувшей. Камень громко затрепал, и рассыпающаяся статуя кусками обрушилась на дощатый пол вместе со своим создателем.

Он всё сделал идеально.

ЕВГЕНИЙ КУЗЬМИН

ИСКУШЕНИЕ ПУСТОТОЙ

рассказ

*Особым свойством возникшего является
его сотворенность ради некоей цели
(если конечно оно не возникло акцидентальным образом,
что, однако, случается редко)*

Ральбаг, Войны Господа

I. СКУЧНОЕ, НО НЕОБХОДИМОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ

1. Записная личность

Моему поколению свойственна слепая наивная вера в дневники. Дневник – задушевный собеседник, с которым делится сокровенным и записной гений, и отпетый асоциальный элемент. А если уж делится, то обязательно что-то осознаёт, познаёт себя и исправляется, становится полезным и благонадёжным. Это своего рода исповедь, но пафосная. Это не спрятанное непременно обязательной тайной сокровенное, но апология, которая если и закрыта в тумбочке, то всё равно позднее триумфально явит себя изумлённым не понявшим, не прозревшим, не оценившим равнодушным прекраснотворным. Люди прочтут и узнают. «Рукописи не горят».

Дневниковые записи выходили за рамки индивидуального, сугубо субъективного. Ведь, например, школьные учителя привносили в дневники учащихся свои оценочные суждения, далеко не всегда совпадающие с желаниями и мнениями тех, чье имя гордо красовалось на обложке. На, казалось бы, хранилище индивидуального сосредотачивалось множество волей, мнений, взглядов. Только в этом многообразии, на стыке разных взаимодействий и можно говорить о личности, которая вся соткана из набивших оскомину общепринятых суждений, условностей, необходимых знаний и вынужденных поступков. А дневники приводят в порядок, организуют хаос событий и мыслей, подчиняя их некой единой цели.

2. Два мира, два дневника

Дневники школьника бывали двух типов. Первый – обязательный. В нём расчерчен учебный распорядок, указаны задания, а учитель отмечает степень прилежания подопечного, иногда добавляя короткие замечания и поучительные наставления. Дневник может использоваться и для инициирования коммуникации. Преподаватели привлекают к диалогу родителей школьника посредством лапидарных записей. А суммарно, в дневнике виден общий стержень ученика, его главные цели, задачи, успехи и поражения. Школьный дневник скупо и лаконично описывает личность в ее социальном контексте. Причем, представляет не только позицию своего владельца, но и взгляд со стороны.

Второй тип дневника – собрание личных записей. Тут может царить полная свобода, а потому и обобщать нечего. Бывает, человек иницирует ведение записей в результате социального принуждения. А фиксировать особенно нечего. Его мир – официальный дневник, учёба и активная социальная позиция. Кто сказал, что для такого персонажа важны внутренние колебания и духовные поиски? Чрезмерная рефлексия способна разрушить гармоничную личность. Однажды я поразился запискам одного из лучших и умнейших школьников. На большинстве страниц красовалось что-то вроде «скучал», «ничего особого не делал» и т.п. И, напротив, радикальное несогласие с объективной реальностью, неумение организовать



своё существование порой обуславливает богатство альтернативного дневника. Впрочем, это крайности. Настоящая жизнь многообразна.

Однако, два типа дневников непременно связаны. Записи одного обуславливают характер записей другого. Ведь, так или иначе, они оба описывают, квалифицируют своего владельца.

II. ТЁМНАЯ ИСТОРИЯ

1. Опавшие листья

Я отлично помню тот солнечный, но немного прохладный сентябрьский день, приоткрывший мне наличие некой тайны. Я нашёл истории без окончания. Но должны ли истории иметь окончания? Разве вечность и бесконечность – пустой звук.

Утро выдалось пустым и блеклым. Оно принесло нелепую рутину. Но с самого пробуждения так сильно ощущалось прикосновение запредельного, что, казалось, весь мир перевернётся за один день, откроется нечто существенное, важное. Явственно помню, я не позавтракал, а в обед ел гречневую кашу. Кажется, к ней прилагался кусочек говядины, впрочем, столь незначительный, что и упоминания вскользь он не достоин. К чему это? Иногда именно мелочи важны. Дьявол кроется в деталях, как говорят автомеханики.

Врезались в память опавшие листья. А я подумал: «Сгниют и удобрят почву, они – эмбрионы бытия». Такая вот глупость. Просто апофеоз беспочвенности.

А вот и оно, особенное. Вечером я получил мешок макулатуры. Такие подарки мне иногда делали близкие, друзья. Я любил разбирать старые бумаги. Даже не исписанные тетради возбуждали мой интерес своим необычным рисунком на обложке, слегка пожелтевшей бумагой, особым запахом. В них проявлялась другая форма жизни, они несли послание далёких времен, требующее особого подхода, дешифровки. В мешке обнаружились чрезвычайно любопытные вещи, режиссёрские сценарии, старые чистые общие тетради, конспект по истории английской литературы и записки по истории костюма, а также разные, вырванные откуда-то листы. Эти разрозненные листы-личные записи я решил сдать в макулатуру, – в те времена сдача 20 килограмм бумаг давала право на покупку одной дефицитной книги. Медленно отсортировывая мусор, я перекладывал его в особый пакет. Моё внимание по необъяснимой причине привлекли вырванные из школьного дневника страницы, перемешанные с клочками из личного дневника. Почерк совпал, – две стороны жизни одного человека. И хотя история не имеет ни начала, ни конца, она может представлять интерес. Ведь что, в сущности, начало и конец для человека? У всех людей они одинаковы, а, значит, непримечательны. Это всегда и везде у каждой без исключений особи, рождение и смерть.

Выдержки из дневников я систематизировал по дням. Это позволяет сопоставить две формы в хронологически параллельные записи. В школьном дневнике упущены подписи учителей. Нет никакой необходимости вводить в текст имена реальных, не вымышленных людей без их на это согласия. Поиск же отметившихся в дневнике преподавателей, а также получение необходимых разрешений – задача слишком сложная и ненужная для короткой заметки.

2. Понедельник, 12.12.1988

Число	Предметы	Задание на дом	Оценка	Подпись учителя
Понедельник 12				
	УПК		5	



День без учёбы проходит как-то живо. Даже ненавистный труд кажется простым и совершенно необременительным. Из-за своей нерегулярности, очевидно. Это создаёт иллюзию простора, избытка времени. А записать нечего. Всё пустое, хотя и радостное.

Я собирался после музыкальной школы пойти с Димой на выставку К. Малевича. Я ничего не понимаю в живописи. Музыка мне ближе. Но столько разговоров о картинах в Русском музее!

Вчера вечером вошёл на кухню и услышал обрывки разговора папы с бабушкой о Малевиче. Был рассеян и ничего толком не помню, но сознание ухватило за фразу: «Каждый рабочий-ленинец должен держать дома куб в напоминание о вечном, неизменном уроке ленинизма, чтобы создать символическую материальную основу культа». Я пристально всмотрелся в них, ожидая объяснений. Но папа не обратил на меня внимания, а бабушка лишь рассмеяся, поймав мой взгляд. Расспрашивать я не решился, устыдившись своего невежества.

Устал, но сделаю запись. Чувства переполняют, но ничего не удаётся и сформулировать. Собственно, мы с Димой не смогли обсудить увиденное. Нет слов. Слишком необычно. Неоконченные фразы повисали в воздухе.

Главный объект. Чёрный квадрат. Квадрат – не вполне квадрат. Он неровный. И не чёрный. Цвет у него какой-то невнятный. Забавно, что рядом с ним стояла вполне реалистическая статуя. Какой-то крестьянин с плугом. Не рассматривал крестьянина, но вглядывался в квадрат, хотя что мне в геометрической фигуре? Может, все дело в плуге? В самой установке на пропаганду... труда... всё равно чего. Любая пропаганда – форма насилия.

3. Вторник, 13.12.1988

Число	Предметы	Задание на дом	Оценка	Подпись учителя
Вторник 13	Алгебра	466 (б, г), 462 (чет.	4	
	История	записи в тетр.		
	Русск. яз.	упр. 212		
	Англ. яз.		4	
	Зоология	черепахи, крокодилы		
	Физика		4	

Жизнь бьёт ключом. День был насыщенный. Но нелепый. Конфликтный. И не хочется разбирать. Защищаюсь нападением. И не умею иначе. Наверное, это от чрезмерной чувствительности.

Но всё как-то и мимо. Всё время думал о Чёрном квадрате. Он отменил, нивелировал все многообразные внешние события. Что мне в нём? Как можно думать ни о чём. А ведь дело обстоит именно таким образом. Ничто. Геометрическая фигура. Да и она фальшива. Чернота, которая не чернота. Квадрат, который не квадрат. Придумалось: «Нет площади, поддерживать фигуру». Чужь. Но ощущение обманчивости рутинны, чувство неизбежных и роковых перемен, смысл которых полностью скрыт от меня.



4. Среда, 14.12.1988

Число	Предметы	Задание на дом	Оценка	Подпись учителя
Среда 14	Химия	стр. 89, 90, упр. 2		
	Алгебра			
	Физ-ра			
	Геометрия	18, 9 (1, 2)		
	Музыка			

Ощущение потери оснований. Словно весь мир потерял устойчивость, заколебался. Порядок, справедливость ведут к уединению, а инициатива ставит перед необходимостью выбора. Удивительно, но на перемене говорил с друзьями о Чёрном квадрате. Олег опять повторял что-то подслушанное, обыденное: «Чёрный квадрат – это обман, каждый может такое нарисовать». Но почему обман? Разве немота может обманывать? Обман – это реализм. Он подстраивается под истину, но не способен её воспроизвести во всей её полноте. А бывает и сложнее. Натюрморт возникает как символическая, религиозная живопись. Склонный к абстрактным теориям Дима оригинальничает: «Чёрный квадрат – портал в мир мёртвых». А что если так? Что случилось с Малевичем? Где его могила?

Пытался представить бесконечность, разглядывая ряды столбов, – за одним непременно следует другой.

5. Четверг, 15.12.1988

Число	Предметы	Задание на дом	Оценка	Подпись учителя
Четверг 15	Черчение			
	Русск. яз.	упр. 205, билет		
	Лит-ра	в тетради		
	Алгебра	489 (б), 478		
	География		5	
	Англ. яз.	стр. 47, № 27	4	

Сказывается предвкушение выходных? Удачный день. Сердце переполняется радостью. Всё говорил и делал правильно. Попадал в яблочко. Часто случайно, удивительным для меня самого образом. В музыкальной школе Василий Иванович сыпал анекдотами. Потом пили сок в кафе. Сережа пытался «ставить подножки машинам». Вот дурак. Водители объезжали, конечно, «не трамвай». А возвращаясь домой, спокойно смотрел в чёрный квадрат окна метро. Но я перемещаюсь? Значит, портал.



6. Пятница, 16.12.1988

Число	Предметы	Задание на дом	Оценка	Подпись учителя
Пятница 16	Химия	40, упр. 4	4	
	Зоология	Древние пресмыкающиеся		
	Алгебра	48		
	Физика			
	История	20, 21		

И снова навязчивые мысли про чёрный квадрат. А остальное, внешнее, поблекло и утратило смысл. Словно всё разделилось на истинную реальность, которая представлена чёрным квадратом, и на всё остальное, являющееся подделкой, иллюзией. И действительно, мир кажется декорацией, – вот вытяну руку, а там поверхность какого-то материала; рвану, сильно дёрну, а за тканью чернота и пустота, изначальная бесконечная. Знание этой пустоты и является настоящим всеобъемлющим знанием. Ведь любая вербально выраженная мысль накладывает ограничения, вычленяет что-то из чего-то, а, значит, относится к частному вне контекста. Но только общее подлинно.

Я обещал проводить Лену домой, но забыл. Может, я люблю квадрат? Кажется, пифагорейцы учили, что чётные цифры женские.

7. Суббота, 17.12.1988

Число	Предметы	Задание на дом	Оценка	Подпись учителя
Суббота 17	Геометрия	4 (3), 15, 20, 22 (2)		
	Химия			
	География	Конспект в тетр.		
	Русск. яз.			
	Лит-ра	План, эпитафия, вступление		
	Физ-ра			

Всегда любил субботу. День полный предвкушения выходного дня. И это трепетное ожидание намного приятнее пустого безделья в воскресенье. А тут предвкушение особенно сильно... но, нет, не отдыха. Не сейчас. Как-то всё особенно. Перестройка? Столько ожиданий. Но что будет на самом деле? И важно ли это? Важны ли внешние события для моего внутреннего мира?

Одно вполне ясно, всё не так, как видится. Обман во всём. Ощущение, начало чего-то нового, радикального и величественного. Возможно, завтра я умру, уйду в противополоственную черноту? Или просто в неизвестность? Прогноз погоды предвещает осадки. Сегодня ещё сухо, а завтра уже нет. А что потом? Останется ли мир или погибнет вместе со мной? И погибну ли я или перемещусь куда-то. Ощущение, что мрак способен одержать победу над солнцем. Но сможет ли? И не из пустоты ли начинается всё новое?

ОЛЬГА СОКОЛОВА

О ЧЁМ ГРУСТИТ НАЧАЛЬНИК ГЛАВПОЧТАМТА

рассказ

22 сентября 1972 года папа римский Павел VI подписал апостольское письмо архиепископу венскому, по которому Архангел Гавриил является патроном почты и филателии (из Википедии).

День в офисе тянулся невыносимо долго, и Оля уже запрещаала себе смотреть на часы. На улице стояла прекрасная погода, но «офисного планктона» она не касалась, изволь отработать с девяти до семи, как все. И, конечно, суровому и надменному директору было не объяснить, что Оле как никогда нужно домой, ведь там, на просторах всемирной паутины Интернет, её ждал её новый знакомый – Вадим.

Оля была девушкой с богатым воображением, что выливалось в следование гороскопам, приметам и поиск знаков судьбы. Вот и сейчас она в очередной раз схватилась за «знак», она считала, что Вадим послан ей судьбой.

Ещё бы: умный, вежливый, с тонкий эстетическим вкусом, интересной работой и неженатый Вадим создавал впечатление какого-то принца из сказки. Почему он выбрал именно её, Оля могла объяснить только мистикой. Всё как будто бы было направлено, чтобы у них состоялся самый прекрасный роман в мире: свидание в Питере, прогулки по Москве, путешествия по старинным городам России, всё это было Оле в новинку и волновало её. Москва особенно запомнилась ей – сумасшедший мегаполис, живущий по своим законам. Оле было очень забавно увидеть внушительное здание агентства новостей ИТАР-ТАСС, таинственная аббревиатура которого в детстве будоражила её воображение, ведь диктор каждый раз очень серьёзным голосом произносил: как сообщает ИТАР-ТАСС... И, казалось, этот всемогущий ИТАР-ТАСС знает всё на свете и к нему сходятся все дороги. Также Оле было странно увидеть здание главпочтамта. Оно выглядело совсем не так, как могло бы показаться заранее. Мрачное, зловещее, похожее на Пентагон; было очень странно осознавать, что такое место ответственно за доставку самого важного, что только может быть – писем людей друг к другу. Впрочем, удивительного было мало, о почте России в народе, а особенно интернете, ходили весёлые анекдоты, которые отражали весьма грустную реальность: письма терялись и не доходили до адресатов, причём не единичными случаями, а массово. Так что скромную надпись на здании «Почтамт» можно смело переименовать в «Департамент разгильдяев и тунеядцев».

Воспоминания были резко прерваны боем электронных часов, стилизованных под старинные (причуда начальства). Оля пулей побежала в гардероб, собралась и устремилась домой к центру её мира – компьютеру.

Ужин занял от силы минут 20 и вот уже запущен Скайп, ура, Вадим онлайн, значит сегодня можно поболтать.

- Привет, Вадик!
- Привет. Как работа?
- Сам знаешь, у меня работа не такая, как у тебя: деловые бумажки, звонки...
- А я только что от издателя, мою книгу будут печатать.
- Поздравляю!.. Ты знаешь, я сегодня как раз вспоминала наши путешествия по России, аж сердце защемило, до чего же нам было здорово! Приезжай к нам в Украину, повторим!
- Я с удовольствием, солнце... Видно будет, мне надо будет доделать всё, связанное с выходом книги и потом я абсолютно свободен.



– Что ещё нового?

– Ты знаешь, видел своего друга, он мне рассказал любопытную вещь. Он писал монографию и попутно для этих целей копался в истории России XX века. Далее он обратил внимание на гербы России за это время. Что интересно, в царской России были изображены на гербе два Архангела – Михаил и Гавриил, а вот на гербе Российской Федерации, после отмены этого всем надоевшего серпа и молота, изображен некий всадник без названия, который, тем не менее, очень напоминает архангела Михаила. Но вот что характерно, ни следа архангела Гавриила там нет и в помине, видать списали за ненужностью. Кстати Гавриил по Писанию – вестник Божьей воли, видно правительство решило, что и без неё обойдется. Впрочем, это мелочи всё, просто сейчас вспомнилось, сам не знаю почему.

– Ну почему же, довольно интересная история...

– Слушай, а у меня для тебя сюрприз.

– Не может быть! Говори скорее!

– Ну это же сюрприз, как же я тебе скажу. Я послал его по почте, скоро получишь.

– Ура!

– Ну всё, солнышко, мне надо кое-то дописать.

– Пока, до завтра, целую!

– И я тебя! Крепко!

Угрюмый сортировщик почты Борис Игнатьевич устало вытер со лба пот. На складе почти ощути-мо висела в воздухе промозглая сырость, и было так тихо, что, казалось, вот-вот можно будет услышать мышинное шуршание. Борису Игнатьевичу очень хотелось домой, подальше от места, к которому он был прикован последние пятнадцать лет своей жизни. С каждым днём он всё больше изматывался от напряжения, видеть какие-то вещи, не имея возможности их изменить. В руках был очередной конверт с розовой пометкой «важно», и сердце опять сжалось, предчувствуя обычный сценарий развития событий.

Выйдя со склада, он подошёл к служебному телефону и набрал такой до боли знакомый номер личного секретаря начальника главпочтамта.

– Лидочка, это Игнатьевич с двадцать седьмого склада. Да, опять конверт. Во сколько можно будет занести? Хорошо.

Закончив смену, Борис Игнатьевич тщательно умылся и привёл себя в порядок. Поднявшись на шестой этаж, ещё раз перечитал адрес отправителя. «Ну, может быть хоть в этот раз», – с тоской подумал он.

Зайдя в приёмную, поздоровавшись с Лидой, он сел и стал ждать, пока его вызовут, но Гавриил Петрович что-то не торопился. «Хороший знак», – подумал Борис Игнатьевич.

Вещание селектора заставило его подпрыгнуть на стуле. Низкий хриплый голос тихо сказал: «Лидия Сергеевна, попросите, пожалуйста, Бориса зайти».

В кабинете был приятный полумрак, ничего не изменилось с тех пор, как Борис Игнатьевич был здесь в последний раз. То же несметное количество книг, аккуратно разложенных стопочками по длинному директорскому столу, тот же едва теплящийся камин и свечи, из которых горело сейчас только две. Старинное зеркало в полный рост тускло блесело, отражая сгорбленный силуэт пожилого начальника.

Лицо у руководства было суровым и непроницаемым. Борис Игнатьевич подошёл ближе, надеясь увидеть на нём хотя бы признаки колебаний, но безрезультатно.

– Ну что ж, давай конверт, сказал он.

Борис Игнатьевич нерешительно протянул руку и осторожно положил конверт на стол.

– Когда можно будет за ответом зайти? – с надеждой спросил он.

– Ты узнаешь, если ответ будет положительным.

«Нет, он не в настроении», – подумал Борис Игнатьевич безнадежно.

– Хорошо, ну тогда я пошёл?

– Да, Борис, ты свободен, спасибо.

Дверь за сортировщиком закрылась, и Гавриил Петрович ощутил обычный зуд на спине. «Нервы, – подумал он. – Столько лет работаю, а всё не привыкну». Он машинально потянулся рукой за воротник рубашки, но вдруг спохватился, сам на себя сердясь, и резко положил ладонь на стол. На безымянном пальце было два маленьких белых перышка. Гавриил Петрович осторожно отлепил их, задумчиво повертел в руках и, с тоской вздохнув, кинул в блестящую чёрную пепельницу.



Конверт с розовой пометкой белел ярким пятном на столе тёмного резного дерева. Гавриил Петрович смотрел на него долгим взглядом, не в силах оторваться, потом одним резким движением взял его и распечатал. «Так я и думал», – подумал он, вынимая бумажное чудо из конверта.

Это была удивительная по своей красоте открытка, по периметру украшенная маленькими коронами, с первого взгляда было видно, что сделана она в Париже.

Гавриил Петрович задумчиво вертел её в руках, вновь и вновь читая имя получателя, точнее получательницы.

«Одно исключение, всего одно, а вдруг это судьба, всё на это указывает...» – думал он. Кажется, придётся спросить у Главного. Приняв решение, что в данном случае он не может нести такую ответственность лично, он решительным жестом снял трубку с маленького хромированного телефона и нажал единственную кнопку прямой связи. Один долгий, гудок, второй, десятый. С каждым гудком напряжение становилось всё невыносимее. – Не отвечает. Решение придётся принимать самому. Он ещё раз посмотрел на открытку. Было видно, что стояла она безумных денег.

Гавриил Петрович положил трубку и посмотрел в угол, где стояло механическое чудовище, шредер, которому было наверно лет сто на вид.

– Судьба... Не судьба... Не судьба! – твёрдо произнес он, стремительно подошёл к агрегату, занёс руку с открыткой над входным отверстием, как вдруг резко запищал мобильник. Гавриил Петрович вздрогнул, положил открытку обратно на стол и посмотрел на экран телефона.

«Это ещё что такое!» – подумал Гавриил Петрович и мысленно выругался. Но трубку взял.

– Миша, что случилось?

– Мне Борис позвонил.

«А, ну как же! – подумал устало начальник главпочтамта, – конечно, Борис. Надо будет ему выговор сделать за самоуправство».

– И что ты хочешь сказать?

– Я уже вылетел к тебе.

«Только этого ещё не хватало», – подумал Гавриил Петрович. И ругательство приобрело в его голове более замысловатые формы.

В кабинете раздался лёгкий шорох, и из зеркала показалась нога в ботинке огромного, не меньше сорок восьмого, размера. Вслед за ногой вынырнул и весь её хозяин.

Это был человек чрезвычайно массивного телосложения, косая сажень в плечах, мускулы бугрились под дорогим костюмом. Лицо его было строгим, открытым и бесстрашным.

Гавриил Петрович жестом пригласил гостя присесть, но тот решительно подошёл к столу и грозным голосом спросил:

– Ну и где конверт?

Предмет разговора по-прежнему белел на столе, рядом мерцала открытка. Гавриил Петрович вопросительно посмотрел на вошедшего.

– Зачем ты пришёл?

– Гаврила, ты же понимаешь, что нельзя с этим конвертом сделать то же, что и с остальными. Юпитер в пятом доме и Меркурий проходит транзитом. Этим двоим суждено быть вместе.

– Нет, Миша, не суждено. Не я приговорил себя делать такие вещи. Ведь сам понимаешь, кто виноват. Кто там у нас утверждал герб Российской Федерации в 1993 году? Вот-вот. И кого там назначили главным победителем змия? Правильно, тебя, дорогой мой, Архангел Михаил. Надо заметить, этот «самый прекрасный ангел» очень веселился после утверждения герба, ведь получилось всё с точностью до наоборот. Нет Архангела Гавриила – нет и Божественной вести людям. А что есть не самое Божественное, как соединить два любящих сердца? И то, что ты сейчас пытаешься сделать, называется «победить судьбу». Только не получится у тебя ничего. Думаешь, я хочу такого развития событий? И мне мало страданий людей земли русской, чтобы отнять у них последнее? Вот только поделаться я ничего не могу, не имею права.

Гавриил Петрович решительным жестом взял открытку и опять подошёл к шредеру. Михаил одним прыжком оказался возле него и попытался вырвать её из рук более слабого противника. Но Гавриил Петрович, извернувшись, забросил в аппарат красавицу-открытку и нажал кнопку. Золотые ниточки мягко блеснули в выходном отверстии и скользнули в приёмник.

– Что ты наделал! Такая любовь приходит на Землю раз в сто лет! – Михаил застонал и схватился за голову.

– Ничего не поделаешь, дорогой мой. – Гавриил Петрович ласково обнял того, с кем только что собирался драться.



Лицо Михаила было искажено невыносимой болью.

– Я доложу Главному!

– Бесплезно, он уже давно не отвечает мне.

Михаил, свирепо зыркнув на Гавриила Петровича, сделал несколько шагов в сторону зеркала.

– Если сумеешь попасть на приём к главному, позвони, пожалуйста. Мне это тоже очень важно.

Только Бориса сюда не привлекай, хорошо? Он человек пожилой, зачем ему эта лишняя нервотрёпка.

– Ладно, – буркнул Михаил и скользнул во тьму зеркала.

«Вот только бесполезно всё это», – подумал Гавриил Петрович. Сколько раз уже сам пытался! Но у правительства России другое мнение на этот счёт. Как не пересматривали герб с 1993 года, так и не собираются.

Пустой конверт всё ещё лежал на столе. Гавриил Петрович задумчиво посмотрел на него, сделал лёгкое движение в воздухе над конвертом и имена отправителя и получателя вспыхнули, искрясь и переливаясь, исчезли, как будто их и не было.

Оля шла из парикмахерской, знакомые улицы родного города были как никогда пустынные и безрадостные. Впрочем, Оле было всё понятно, потеряв два года назад то, что у неё было с Вадимом, она не могла это восполнить ничем другим. Прошло столько времени, но она снова и снова мысленно возвращалась в то время, стремясь понять, что же произошло. Казалось, вот они были так счастливы, понимали друг друга с полуслова, жили вместе в любви и согласии, и вот уже ругаются из-за мелочей, уходя, хлопают дверьми... И этот холод, просто арктический мороз, повисший между ними. Откуда он взялся? Почему? Оля в сотый раз задавала себе одни и те же вопросы, но как всегда, не найдя ответов, одёргивала себя и запрещала себе об этом думать.

Привычным жестом она заварила себе чай и открыла ноутбук. Почта, фейсбук, вконтакте... Автоматически загрузился Скайп, и Оля увидела, что сегодня Вадим онлайн. Давно надо было уже удалить его из контактов, но всё как-то рука не поднималась. Оля открыла текущие новости, как вдруг звук входящего сообщения в Скайпе привлек её внимание. Сообщение было от Вадима. Вне себя от изумления, Оля открыла его.

– Привет, Оль.

– Привет, Вадик! Как давно мы не списывались! Как твои дела? Как новая книга? Как родители? В каких странах ты был в последнее время? Ой, прости, кажется, я задаю слишком много вопросов...

– Ничего страшного. Дела хорошо, мою новую книгу напечатали и она стала самой рейтинговой среди новой научной литературы. Я ездил в Канаду к сестре, вот только вернулся в Россию... Собственно, я собирался позвонить твоей тезде, Ольге Малиновской, моему издателю, да вот ткнул в твоё имя.

– Я рада, что дела у тебя идут хорошо. *И рада, что ты ошибся адресатом.* А я сейчас работу ищу. Скоро день рождения, двадцать семь лет, ужас, сколько времени прошло. Подарков можешь не дарить, так уж и быть, ха-ха! Кстати, я тут вспомнила... Нет, это даже весело... Помнишь, когда мы только начали встречаться, ты говорил, что у тебя есть для меня подарок, но ты его пошлешь почтой. Я ведь тогда так ничего и не получила.

– Правда? Вот разгильдяи! А я так старался, чтоб он дошёл, там более, что история его покупки была очень необычная.

– Да? Расскажи.

– Это был чудесный парижский день, всё было словно на картинке в детской книжке, я как вышел из гостиницы утром, так и не заходил. Даже Сена казалась голубой и прозрачной. Я просто бродил бесцельно по улицам и вдыхал аромат весны. На Монмартре я заметил очень необычный магазин. Двери были очень низенькие, как игрушечные, выкрашенные весёлой зелёной краской, любопытство подтолкнуло меня зайти, и я увидел, что это старинный букинистический магазин. До самого потолка здесь громоздились сотни пожелтевших, издававших ещё войну, книг. Царила приятная атмосфера чего-то таинственного. Продавцом был маленький и совсем седой еврей в монокле. Честное слово, это был монокль!

– Ищите что-нибудь особенное, месье? – вдруг по-английски обратился он ко мне.

– Да нет, в принципе, просто смотрю...

Он внимательно осмотрел меня с ног до головы.

– И, тем не менее, у меня есть кое-что для вас.



Он ушёл куда-то в глубь магазина и вернулся с небольшой коробкой, долго рылся в ней и, наконец, извлёк оттуда удивительную по красоте открытку.

– Держите, с вас 25 евро.

– Но я не планировал покупать ничего, тем более за такие деньги! – воскликнул было я.

– Берите, берите, не пожалеете. Вашей девушке она очень понравится, и это не простая вещь.

Конечно, старый еврей был очень проницательным и умел выгодно преподнести товар. Скрепя сердце, я отсчитал деньги и уже собрался уходить, как еврей остановил меня в дверях и с заговорщицким видом подмигнул мне.

– Позаботьтесь о том, чтобы эта открытка обязательно была доставлена. Потеряете – не видать вам счастья.

Посмеявшись над забавным старичком, я отправился гулять по Парижу дальше. Возвращался я той же дорогой, и с удивлением увидел, что двери магазинчика наглухо закрыты и на них висит амбарный замок, покрытый таким количеством пыли, как будто его не открывали лет 10. Я зашёл в кафе по соседству, улыбочивая официантка тут же подбежала, чтобы предложить мне столик. Я спросил её, а когда открывается букинистический магазин. «Какой магазин? – нахмурившись, спросила она. – По соседству, говорите? Я работаю в этом кафе уже полгода и за всё это время магазин ни разу не открывали».

Подивившись, я отправился в гостиницу, так как уже вечерело, и выбросил всё это из головы. Однако, я на всякий случай послал открытку заказным письмом через главпочтамт, для большей надёжности.

– Да, но она так и не дошла, Вадик...

– Жаль, очень уж она красивая была.

– А ведь старик-еврей оказался прав. Он же тогда сказал – не дойдёт открытка и не видать вам счастья.

– Да ладно, Оль, что ты ерунду выдумываешь, вечно ты во всё ищешь какую-то мистику. Ладно, мне пора, счастливо, надеюсь, у тебя всё теперь будет хорошо.

– Не знаю Вадик, не знаю... *Как же всё будет хорошо, если тебя рядом не будет.*

Но значок напротив Вадима уже переключился на офлайн.

ПОЛЬСКАЯ ПОЭЗИЯ

перевод с польского Анны Стреминской

ЧЕСЛАВ МИЛОШ

ВАЛЬС

Звук вальса кружит, в зеркалах отражается,
Светильник, качаясь, плывёт в дальний зал.
Гляди, сто светильников в дымке качаются,
Сто зеркал отражают кружащийся бал.

И розовый дым лепестками яблонными,
Искры, подсолнухи колеблющихся труб.
Распятые широко, как на крестах в агонии,
Блеск плеч, чернота, белизна плеч и рук.

И кружат, прищурившись, пристальны взоры,
А шёлк: «тсс, тсс» на телах шелестит.
И перья, и жемчуг в снующем просторе,
И шёпот, призыв, и вращенье, и ритм.

Девятьсот десятый. Часы уж пробили.
Песок в клепсидах поёт о годах.
Исполнится мера, и гнев станет былью.
Кустом пламенеющим смерть станет в дверях.

А где-то далёко поэт в мир рождается.
Не для них, не для них песнь напишет светло.
И Млечным путём к хатам ночь приближается,
В рощах лаем собачьим захлебнулось село.

Хоть его ещё нет, будет где-то, когда-то,
Ты, красотка, не зная, вальсируешь с ним.
И так танцевать будешь вечно в преданьях,
В боль войн вполетена, в треск сражений и дым.

То он удалён из пучины кровавой,
Тебе шепчет в ушко, говорит: ну, смотри.
А чело в печали, в предчувствии славы.
И не знаешь, то плач твой иль вальс: раз, два, три.

Стань здесь, у окна и раздвинь-ка ты шторы,
В ослепленьи виденья на чуждый глянь свет.
Вальс ползает, золоту листьев покорный.
За окнами зимний беснуется ветер.



Ледяное поле жёлтым рассветом
В разодранной ночи предстает одетым.
Толпы, бегущие в смертельных криках,
Которые не слышишь, угадываешь на ликах.

До края небес доходящее поле
Кишит убийствами, кровь снег румянит.
Тела, застывшие в покое камня,
Дымящееся солнце кроет ранней пылью.

Речка, вся почти льдом покрыта,
Невольников вдоль берегов походы.
Над синими тучами в чёрных водах,
В кровавом солнце бич в небо взвитый.

Там, в том походе, в безмолвной колонне,
Смотри, то твой сын со щекой красно-липкой,
В порезах, идёт с обезьяньей улыбкой.
Кричи! Он тем рабством доволен.

Понимаешь, есть терпенья граница,
За которой улыбка тихой бывает.
Живёт человек и уже забывает,
За что и зачем он должен был биться.

И есть ослепление в рабском том рае,
Где смотрит на тучи, на звёзды, рассвет.
Хоть другие мертвы, для него смерти нет,
И так он всю жизнь умирает.

Но нет ничего кроме белого зала,
И вальса, и роз, и света, и эха,
Светильников ста в зеркалах того бала,
И глазок, и губок, и криков, и смеха.

Ни с кем не танцуешь – открою я тайну.
На пыпочках ты в зеркалах чуть взрослей.
Заря на дворе, в небе звёздочка ранняя,
И бодро звенят колокольцы саней.

ПЕСЕНКА ДЛЯ ОДНОЙ СТРУНЫ

Дар вдохновения неподвластный,
В какой-то вечер тёплый, ненастный
Я понял, что я несчастный.

Шёл по улицам, под липами, небесами.
Дождь тяжёлыми каплями мыл глаза мне,
Добрый дождь, не умыл бы слезами.

Итак, это та самая зрелость,
Немного мудрость, немного сердечность,
Жизни собственной беспечность?



Последние трамваи заскрежетали,
Облака на восходе привет мне слали,
Как будто о себе где-то читал я.

Уже минувший, всеми забытый
На мост возвращаюсь, туманом сокрытый,
Облако в небе, как голубь подбитый.

И всегда, юный или с седою гривой,
Спрашиваю, разве кто Справедливый
Хочет, чтоб я не был счастливым?

Или для того, чтобы книги писал,
Или, чтоб безмолвный, я мир качал,
И всех других улыбкой утешал?

Не горящим книги писать тяжелей,
Задумчивым тяжко утешить людей,
Одиноким печаль развеять трудней.

Ветер волны на Висле лелеял,
Последнюю иллюзию развеял.
Любовь застыла, ненависть истлела.

Раннее солнце ласточки встречают,
Бедный язык мой слова рождает,
Маленькая, смешная песенка возникает:

*В зеленой дубравке
Спали три короля на травке,
Дятел стучал.*

*Пробудились, сели,
Золотые яблоки ели,
Кукушка куковала.*

ЧЕРЕП

Пред Марией Магдалиной белеет в сумраке
Череп, свеча угасает. Кто из её любимых
Эта иссохшая кость – она не пытается вспомнить.
Остаётся так, размышляет век, один и другой.
Песок застыл в клепсидре, потому что она видела
И ощущала на плече прикосновение Его руки
Тогда, когда на рассвете крикнула: «Раввунни!».
А я собираю сны черепа, ведь он – это я,
Влюблённый, вспыльчивый, мучающийся в саду
Под тёмным окном, не уверенный, только ли для меня
И ни для кого больше, тайна её блаженства.
Восторги, клятвы. Она плохо их помнит.
И лишь та минута длится, неотменяемая,
Когда почти уже была по ту сторону.



МОЛОДОСТЬ

Твоя несчастная и глупая молодость.
Твой приезд из провинции в город.
Запотевшие стекла трамваев, суетливая бедность в толпе.
Испуг, когда ты вошёл в слишком дорогой для тебя ресторан.
Но всё слишком дорого, слишком недосыгаемо.
Здесь должны заметить твою неотесанность,
И немодную одежду и неуклюжесть.
Не было никого, кто стал бы рядом и сказал бы тебе:

– Ты ладный парень.
Ты сильный и здоровый.
Твои несчастья все призрачны.

Ты б не завидовал тенору в пальто из верблюжьей шерсти,
Если б знал о его страхе, и видел, как он погибнет.

Рыжая, из-за которой ты мучаешься,
Столь красивой она тебе кажется, – кукла в огне,
И не понимаешь, что кричит она ртом паяца.
Форму шляпы, покрой Букем, лица в зеркалах
Будешь неясно помнить, как что-то, что было давно.
Это фрагменты сна.

Дом, к которому приближаешься с дрожью,
Апартаменты, которые тебя ослепляют –
Смотри, на этом месте экскаваторы убирают мусор.

Ты в свою очередь будешь иметь, обладать, хранить,
Сможешь быть высокомерным, когда не будет причин.

Желанья твои исполнятся, и ты обернёшься тогда
Ко времени, сотканному из тумана и дыма.

К изменчивой ткани однодневных жизней,
Которая трепещет, поднимается и опадает, как постоянное море.

В книгах, которые ты читал, больше не будет нужды,
Ты искал ответа – жил без ответа.

Ты будешь идти улицами сверкающих южных столиц,
Вернувшийся к своему началу, любуясь в восторге
Белизною сада, выпавшим первым снегом.

СЧАСТЬЕ

Какой тёплый свет! В розовом заливе
Сосны мачт, отдыхают канаты
В туманах утра. Там, где в воды морские
Проскальзывает луч, у мостика, голос флейты.
Дальше, под сводом древних руин,
Видны маленькие фигурки,
Одна из них в красной косынке. Есть деревья,
Башни и горы в этом раннем часу.



ВСТРЕЧА

Мы ехали перед рассветом по замёрзшим полям,
Красное крыло поднималось, но ещё была ночь.

И заяц перебежал дорогу внезапно прямо пред нами,
А один из нас указал на него рукой.

Это было давно, сейчас уже нет в живых
Ни зайца, ни того, кто на него указал.

Любовь моя, где они, куда они исчезают:
Взмах руки, линия бега, шорох комьев –
Спрашиваю не в печали, но в раздумьях.

ОБРЯД

Вот так, Береника. Не столько спокойней,
Сколько снисходительней к себе и к другим.

Не требовать от людей
достоинств, для которых они не созданы:
гармонии мышления, верований,
не противоречащих друг другу, согласия
между действиями и верой, убеждённости.

Казалось, они прозрачны, так что видны насквозь,
А там тёмные, клубящиеся силы.
Я думаю сейчас о Ежи, Атаназе, Касе,
О которых никто не расскажет до самого Судного дня.

Как там всё перепутано! Линия судьбы
Раздваивается под клубящимися силами.
Но остаётся единой в человеческой памяти.
Слова, один раз брошенные, им приписаны,
Хоть они не признали бы их своими.
И даже когда хотели свидетельствовать верно,
Из этого ничего не вышло, потому что куда им до правды.

Так тогда преклоняем колени в нашем костёле,
Среди колонн, увенчанных золотым акантом,
И нарядных ангелов, чьи изящные трубы
Оглашают слишком великую для нас весть.

Внимание наше мгновенно, говорит Береника.
Мысль моя возвращается, литургии наперекор,
К зеркалу, постели, телефону, кухне,
Не способная вместить город Иерусалим
Две тысячи лет назад и кровь на кресте.

Однако ж парим, хоть и отягощённые
Запахом соусов, криками узких улочек,
Видом огромных туш в мясных лавках,
Взмывая над алтарём, церковью, городом,



Облетая вращающуюся землю.
И они, наши ближние, они, Береника,
На той же скамье, бок обок, их сознание –
Моё сознание. Это тайна
Почти любовного превращения «я» в «мы».

«Вы соль земли, вы свет земли» –
Сказал Он и призвал нас к своей славе,
Преодолевший никому не подвластные законы света.

Знаю, что призывал, – говорит Береника.
Но что с сомневающимися? Свидетельствуют ли они,
Молчашие из любви к Его имени?

А может, мы начнём обожествлять камень,
Обычный полевой камень, само его Бытие,
И станем молиться, не размыкая губ?

ВИТАЛИЙ МОЛЧАНОВ

ВЕСЬ МИР – ТАЙГА

АСТРОЛОГ

Сжирали свечи темноту,
Вгрызаясь острыми зубами
В тягучий сумрак – факты лбами
Сшибались, канув в немоту.
Блеснув, созвездий парафраз
Проник на тонких мыслях-стропах
Сквозь линзы в рупор телескопа,
Стократ усилившись для глаз:
В Орле разгневан Волопас.

Кормил морозного коня
Январь простуженными снами.
Толстели стекла письменами –
И дата, с точностью до дня,
Забилась рыбой на столе,
Хватая воздух в диаграмме:
Вздых – это спад, стремится к драме,
А выдох – всплеск, чей пик в земле.
Астролог понял: «В феврале».

Пульсируя, шурупы звёзд
По шляпки вкручивались туго,
Напрасных ожиданий мука
Пророчеств распатала мост,
Где годы жизни тесно в ряд
Связали предсказанья сутью.
Морозный конь бьёт ставни грудью,
И космос дышит в циферблат.
Что жизнь? Секундный взгляд назад.

Лакали свечи темноту,
Любовь сучила тихо пряжу.
На шляпе неба туч плюмажи
В Орле скрывали суету.
Пошив парного молока,
Астролог вышел утром к смерти.
По кронам дунул лёгкий ветер,
Страхнув тяжёлые снега:
Сбылось! Сбывается пока.



ШАМАН

На его немытой шее – банка «Пепси», амулет.
 Бьётся юность в тощем теле, сам же выглядит как дед.
 Волос сед, тесёмкой схвачен, вместо бубна – барабан.
 Пыль столбом – в шинели скачет городской дурак Шаман.

Час рассветный – для камлания; у фонтана босиком,
 Словно жертва на заклянье – в дробном танце круговом,
 Плачет, морщится, смеётся под затейливый мотив.
 Вдруг к прохожему метнётся, бормоча речитатив:

«Мир – тайга, вы все не люди – волки, рыси и песцы.
 Крови мало? Так добудьте, жрите слабых, подлещи.
 Люди – звери, души – тундры: мох, лишайник, мерзлота.
 Сколько дерзких, тонких, мудрых провалилось в бездну рта?..»

Кто-то в страхе отшатнётся, тыча пальцем в телефон.
 Кто-то громко рассмеётся, кто-то врежет сапогом...
 Тёмно-синий с красным кантом, взяв Шамана за бока,
 Мелочь стащит, после, франтом, пропоет: «Весь мир – тайга».

На работу люди-тундры, шаг ускорив, проскользнут.
 Равнодушной, снежной пудрой чумы сердца заметут...
 Как медведь в углу таёжном, спит Шаман, обняв сосну.
 Маша-школьница, возможно, завтрак свой отдаст ему.

РОБОТ ТАНЯ

Таня лепит пельмени в «Диете» до позднего вечера,
 Надо больше лепить – платят сдельно за каждый пельмень.
 Тесто-фарш, тесто-фарш-и-мука – в заморочках заверчена,
 Будто робот живой производства родных деревень.

Таня хату снимает с подругой-землячкой, уборщицей,
 Тоже робот – метёт три двора, моет каждый подъезд.
 И грустят они вместе – домой бы, да там одиночество,
 Парни в городе, здесь, где так много для роботов мест.

Таня любит таксиста, весёлый мужчина, настойчивый,
 «От сохи», работающий, но кризис все планы сломал.
 У него порожняк, а она, как всегда заморочена,
 Лепит, лепит – стремится на свадьбу слепить капитал.

Таня смотрит кино: бьются роботы, в латы одетые.
 Только люди умнее – восстание глохнет машин.
 А Луна, как пельмень недолепленный, жалобно сетует:
 – Ты долепишь меня? Спать ложись, вновь с утра в магазин...



ПОРТНОЙ

Мы часто смотрим на часы одним глазком, легко и просто.
А стрелки-ножницы снуют: «Щёлк-щёлк, закройщик, поспеши
Судьбу порезать на куски, портной потом сошьёт по росту
Из разноцветных лоскутков костюм для зябнувшей души.

Всё чаще серые тона с зелёным галстуком надежды...
Нелепо, грустно? Ну и пусть, получше, чем на рукаве
Золототканого сукна проступит грязь, черня одежды, –
Знать был хозяин богачом, но пачкал руки по злобе.

Умельца ровные стежки сшивают тщательно лохмотья, –
Убоги ткани, но чисты, иголка излучает свет...
Другое время на часах, иди, душа, в свои уголья:
Ступенькой вверх – ступенькой вниз, набросив тряпки прошлых лет.

Мы часто смотрим на часы одним глазком, легко и просто.
А, может, стоит поглядеть чуть-чуть внимательней порой?
Не за горами скрытан миг, когда костюм пошив по росту,
Его примерить на себя предложит опытный портной.

МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ ФРАНСУА

– Месье, я смеялся во время диктанта
Совсем не нарочно – шепнула мне парта,
Что раньше была корабельной сосной.
Но с детства страдала морскою болезнью,
Поэтому плотник Анри из предместья
Поехал на верфь с древесиной другой.
Бедняжке обидно, она проскрипела,
Что дух флибустьера таит её тело.
Зовут океаны: «Покинь материк,
Подальше от класса, от школы, Парижа,
И там, где волна тебе щёки оближет,
Зовись гордо шхуной «Акулий плавник!»
Месье, Вы поверьте, смеялся сквозь слёзы.
В минувшую среду – почище курьёзы.
По нашему парку в обнимку брели
Два карпа в плащах и вишневых беретах,
В киоск направлялись, купить там газеты,
Да видно в бистро перебрали шабли.
А пони, который в конюшне Фламандца
Работает частным учителем танцев,
На праздник воскресный устроил канкан:
Подковы на мощных ногах першеронов
Дробили брусчатку, взлетали попоны...
И – сел на свою же фуражку ажан.
...Иллюзии детства живут вместе с нами:
Из капли дождя вдруг родится цунами,
От мелкой обиды случится война.
Пусть взрослым нелепое кажется грустным,
Фантазия пропуском станет в искусство.
– Месье, Вы не будьте строги с Франсуа...



СИНДБАД

Глаза вцепились в потолок.
Прожилками мясного студня
Пьют злобу трещин – чёрный сок
Рутинных запылённых будней.
Лень обездвижила корабль –
Кровать бессонницы Синдбада,
И не поднимет с пола таль
Тяжёлый якорь. Нет возврата
К безумству молодых морей.
Под парусами-простынями,
Как в морге – штиль. Теперь Борей
С другими пьянствует друзьями.
Ему бы распахнуть окно,
И дверь открыть: «Входи без стука».
Но страшно на родное дно
Впустить раскаркавшихся рухов,
Циклопов-дворников, шаги
Чужих скелетов в форме власти...
А в полушариях пески,
Пересыпаясь пеплом страсти,
Воспоминая текучь,
Итога, приближая к смерти:
«Синдбад был мореход и плут,
Но сел на мель и свыкся с этим».

ВЛАДИМИР ШЕМШУЧЕНКО

КАПЕЛЬКИ ВАСИЛЬКОВ

Ветер замёл под ковёр облетевшей листвы
Милые глупости и разговоры о лете.
Перелиставший Сервантеса северный ветер
Жестью на крыше грохочет... Ах, если бы вы
Или другой кто-нибудь на весёлой планете
Вместе со мной расплескал по страницам печаль.
Впрочем, о чём я? Никто за меня не в ответе –
Сею любовь – собираю дамасскую сталь.
Некто однажды сказал мне: «Иди, дождь с тобою...»
(Был он, признаюсь, смешон и довольно нелеп).
Даже писал мне невнятное что-то из Трои
И, наконец, замолчал, потому что ослеп.
Чёртово время! Бегу, как собака по следу,
За показавшими гонор и прыть в человеческих бегах.
Если сегодня же ночью я Троию спасти не уеду,
То на рассвете в «испанских» проснусь сапогах.

Вместо бессильных слов
В самом, самом начале –
Капельки васильков,
искорки иван-чая.
Ну и ещё – река.
А на реке – светает...
Это издалика,
Это растёт, нарастает.
Это – ещё не звук.
Это – из сердцевины.
Это небесный паук
Звёздной наткал паутины.
Это корова-луна
Тучу поддела рогами.
Это кричит тишина,
Смятая сапогами.
Это – здесь и сейчас! –
Заговорить стихами.
Это – последний шанс
Не превратиться в камень.



Художник поставит мольберт
И краски разложит, и кисти,
А я – двадцать пять сигарет –
И с ветки сорвавшийся листик.
Мы будем сидеть vis-a-vis,
Пока не опустится темень
И ради надмирной любви
Пространство раздвинем и время.
Мы будем глядеть в никуда
И думать о чём-то неважном:
Сквозь нас проплывут господа
В пролётках и экипажах –
Улыбки сиятельных дам,
Смешки, шепотки одобренья,
Последним проедет жандарм,
Обдав нас потоком презренья.
А ночью в дрянном кабаке,
Где слухи роятся, как мухи,
Он – в красках, я – в рваной строке
Хлебнём модернистской сивухи,
Забудем, что есть тормоза,
Сдавая на зрелость экзамен,
И многое сможем сказать
Незрячими злыми глазами.
И к нам из забытых времён,
Из морока рвани и пьяни
Подсядут: художник Вийон
И первый поэт Модильяни...

Светилась яблоня в саду
За три минуты до рассвета.
В тени ракиг купало лето
Кувшинки жёлтые в пруду.

Играла рыба в глубине
На перламутровой свирели,
И камыши о вечном пели,
И подпевать хотелось мне.

Звенел комарик у виска
О чём-то бесконечно важном,
И так бывало не однажды,
И те же плыли облака...

Упало яблоко – пора –
И ветка, охнув, распрямилась...
И, торжествуя, жизнь продлилась
За три минуты до утра.



Черёмуховый обморок. Безумье соловья.
Подслеповатый дождь, крадущийся по крыше...
Скучают во дворе верёвки для белья,
И во дворе земля волнуется и дышит.

На цыпочках рассвет по лужам пробежал
И в спешке обронил роскошный куст сирени...
Он долго на ветру качался и дрожал,
Роняя на траву причудливые тени.

Откуда ни возьмись нагрянули скворцы,
Снуют туда-сюда... И важные такие...
И тотчас воробьи – на что уж храбрецы! –
Расстроили свои порядки боевые.

И, кажется, что зла на свете вовсе нет,
Зато добра вокруг – невышито море:
И от костра дымок, и яблоневый цвет,
И соло василька в большом цветочном хоре!

Бросил в угол и ложку, и кружку,
И когда это не помогло –
На чердак зашвырнул я подушку,
Что твоё сохранила тепло.

Не ударился в глупую пьянку,
Не рыдал в тусклом свете луны,
А принёс из подвала стремянку,
Чтобы снять твою тень со стены.

ТАМИЛА СИНЕЕВА

«БУДТО СНЕГ, ПЕШЕХОДНАЯ ЗЕБРА...»

СНЫ ГОРОДОВ

Города с приходом ночи
закрывают глазки-окна,
отпускают сны
на волю погулять.
Все дома укрыты небом,
будто чёрно-синим пледом,
шар земной для них –
огромная кровать.

Меж домами сны летают,
колыбельную Вселенной
на своих играют скрипках
городам.
И на ангелов похожи
сны, а может, на прохожих,
пролетающих легко
то сям, то там.

Вот стараются присниться
сны Парижа старой Ницце,
а красотке Барселоне –
сны Афин.
Снятся Киеву каштаны,
Питеру – дворцы, фонтаны,
Самарканду снится
хитрый Насреддин.

Только утром, потихоньку,
сны куда-то исчезают.
Просыпаются, зевая,
города.
Вот спешит один прохожий.
Под рубахой сзади – крылья?
А в его футляре черном...
скрипка? Да!..



СТЕРХ

Ниоткуда с любовью,надцатого мартабря...
И. Бродский

Пересиливая себя, несмотря на солнечный август-сентябрь,
я тебя отпускаю, лети, словно грустный белый журавль.
Догоняй своих, видишь, в небе тревожно мечется клин?
Ты же знаешь, там нужен ты, только ты один.

В каждой стае свои вожаки, законы и свой устав.
Взмах крыла, и ещё сотни раз – не стони, что устал.
Ты поймёшь – это выше всех сил – лететь и лететь,
это битва с самим собой, где победа – жизнь или смерть.

Я тебя отпускаю, любимый, мне птицей не стать уже.
Буду в небо глядеть сквозь стёкла космических витражей,
сквозь полосы бесцветных дождей – пока не увижу тебя.
Ты ведь вернёшься, мой стерх,надцатого мартабря?..

МОЁ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

Что-то сломалось в душе,
и осколков не счесть.
Смерть и болезни
маячат за каждым углом.
Средневековье моё будоражит,
и каждая весть
кажется будто с подтекстом
и подленьким злом.

Я – инквизитор и ведьма,
судья и палач.
Я – разжигаю костёр
и горю в нём сама.
Слышится мой же
по мне завывающий плач,
где-то вдали стонет филин,
а может, сова.

Утром себя поднимаю легко,
я – зола.
Вмиг разлетаюсь по комнате
пылью в лучах
солнца весеннего
и оседаю в углах,
зная, что средневековье –
мой страх...



СЕНТЯБРЁВОЕ

На расстоянии вытянутой руки – дыхание сентября,
Тёплого, как в июле мелкая галька на пляже.
Небо цвета индиго разбавлено молоком. Пестрят
Вывески магазинов, салонов, рекламы о распродаже.

Будто поломанная арба – в пробке ползёт автобус.
Так надоело считать медленные километры.
Хочется думать, что врёт старый потёртый глобус,
И от меня до тебя – осень в промокшем ретро.

Вот она, улыбается, только ладонь протяни –
Тронь паутинки на листьях рыжего клёна.
Ты позвонишь мне из прошлого в эти сентябрьские дни.
Я отвечу, смеясь: Алло? Осень у телефона.

МАЛЬВИНА. ПОСЛЕСЛОВИЕ

Она свою седину
подкрашивала голубым
и часто спрашивала,
какое сегодня число.
Искала то кошелёк, то очки,
что где – позабыв,
вымещала на ближних
своё непонятное зло.

Но потом приходила в себя,
извинялась. Спала.
Просыпалась с улыбкой,
пила корвалол и компот.
По привычке своей многолетней
бралась за дела,
и тогда всем казалось,
что долго ещё поживёт...

А она вспоминала,
в холодное глядя окно,
как девчонкой несмелой
страдала по ним, по троим...
Буратино, Пьеро, Арлекин...
Память – словно кино.
Каждый дорог ей был
и по-детски «навски любим».

И не знала она,
как сложилась судьба у друзей.
Только сердце её
так предательски ныло порой.
...Арлекин, весельчак и красавец,
погиб на войне.
От тяжелой болезни
скончался печальный Пьеро.



А в далёкой стране,
в городке, что на синей реке,
Буратино с инсультом лежал,
с безразличьем в глазах,
и сжимал в деревянном
шершавом своём кулаке
фотографию девочки с лентой
в густых голубых волосах...

НЕСКОЛЬКО ЯГОД

Руки без усталости месят упругое тесто.
Долго потом выпекаются чудо-коржи.
Что там в итоге? Пока никому не известно.
Руки без усталости месят упругое тесто.
Так и проходит в рутине обычная жизнь.

Много коржей. Много дней и ночей невозвратных.
В чашке взбивается миксером сливочный крем.
Джема вишневого банка, орехи, цукаты...
Много коржей. Много дней и ночей невозвратных
Лягут прослойками в торт на вечерней заре...

...Помнишь, как в детстве срывали поспевшие вишни?
Соком измазавшись, дружно смеялись тогда.
Несколько ягод на тортике будут не лишни.
Помнишь, как в детстве срывали поспевшие вишни?
Счастливы были. Ну что ты, не плачь. Ерунда...

ЗЕБРА

Я давно уже
не открываю америк
и велосипедов
не изобретаю.
Нынче холоден март
и высокомерен.
Будто снег,
пешеходная зебра тает,

потому что завтра
апрель случится –
и по ней пройдут
в светлых куртках люди,
у которых в руках
запоют синицы.
а в глазах ни тоски,
ни зимы не будет.

На кусте у дороги
висит перчатка,
разноцветная, детская –



ждёт хозяйку,
с января ещё.
С нею теперь встречать мне
мой апрель.
Полночь.
Зебра зевает.
Зябко...

ВЕСЕННЯЯ МЕЛАНХОЛИЯ

Так меркнут мечты,
не сбываясь всё чаще и чаще.
Так в марте под землю уходит
израненный серый снег.
Так шарик воздушный,
всё выше и выше летящий,
становится точкой на небе.
Потом и её уже нет...

Так память моя
барахлит, так ночами не спится,
и прошлая жизнь – настоящей –
так больно сдавила плечо.
Размыты, как будто в тумане,
события, лица –
я силяюсь их вспомнить, а в мыслях
то «холодно», то «горячо».

И, словно стекляшки
в детском калейдоскопе,
сменяются быстро обрывки
иллюзий, фраз, декабррей...
Но, всё-таки, – ночь. И весна.
Я иду по асфальтовым строкам.
А рядом шагают
длинные тени повес-фонарей...

«ДРУЖБА ЖУРНАЛОВ»

СОКРОВЕННЫЕ СВИРЕЛИ 45-Й ПАРАЛЛЕЛИ!

Поэтический интернет-альманах «45-я параллель» (<https://45parallel.net>) продолжает и обогащает лучшие традиции международного ежемесячника с таким же названием, вышедшего в девяностые годы XX века. Первый номер печатного издания увидел свет 1 апреля 1990-го. А стартовый выпуск электронной «сорокапятки» появился в Интернете 21 июня 2006-го: новые номера публикуются с регулярностью три раза в месяц. Наш девиз: «Поэтам – да! Графomanам – нет!».

Миссия проекта-45: собирать ярких русскоязычных авторов, живущих по всему миру: в Париже, Одессе, Хабаровске, Мельбурне, Монреале, Венеции, Лондоне... Наша параллель – и виртуальна, и реальна: книги, встречи, вечера, знакомства, дружбы – в Торонто и Чикаго, Филадельфии и Одессе, Монреале и Сиднее, Владивостоке и Москве, Челябинске и Санкт-Петербурге, Франкфурте и Перми, Киеве и Ставрополе, Ростове-на-Дону и Иерусалиме, Нальчике и Нью-Йорке... По последним данным, число авторов «45-й параллели» давно перевалило за две тысячи. Беспристрастный счётчик «Яндекса» докладывает: 5.775 просмотров за сутки, 6.376, 7.437.

Наш стартовый раздел «Из первых рук» – компас, позволяющий ориентироваться в пространстве, времени, именах альманаха-45. Это – с одной стороны. С другой – в названном разделе мы публикуем эмоциональные впечатления, аналитические статьи, критические обзоры, связанные с поэтическими акциями по обе стороны сакральной широты – к северу и югу (ну и, конечно, к западу и востоку от малой родины электронного проекта).

На страницах проекта-45 представлены поэты самых разных направлений, классики и современники. Классики у нас заседают в «Вольтеровском кресле». В этом разделе представлены Анна Ахматова, Марина Цветаева, Николай Заболоцкий, Арсений Тарковский, Семён Липкин, Ярослав Смеляков, Валерий Перелешин, Семён Кирсанов, Борис Слуцкий, Николай Глазков, Борис Чичибабин, Александр Межиров, Ион Деген, Наум Коржавин, Михаил Гаспаров, Владимир Соколов, Инна Лиснянская, Генрих Сапгир, Герман Плисецкий, Юрий Ряшенцев, Юрий Володов, Роберт Рождественский, Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Лев Лосев, Белла Ахмадулина, Николай Рубцов, Иосиф Бродский, Леонид Филатов, Юлий Ким, Игорь Губерман, Леонид Губанов и многие, многие другие.

Материалы рубрики «VK» нигде не дублируются и основываются на личных впечатлениях поэтов, прозаиков, журналистов, которым судьба даровала дружбу, встречи или переписку с великими поэтами и писателями. Есть и эссе, основанные на изучении архивных материалов, связанных с именем того или иного крупного поэта, – доступ к ним открывают родственники/наследники, зная, что в нашем издании готовится публикация.

Главная рубрика интернет-версии альманаха – «Четвёртое измерение», своеобразное поэтическое лекало нашего трёхмерного мира. Авторами «Параллели» стали такие известные мастера слова как Владимир Алейников, Виталий Амурский, Евгений Витковский, Сергей Гандлевский, Бахыт Кенжеев, Кирилл Ковальджи, Юрий Кублановский, Борис Юдин, Марина Кудимова, Юрий Беликов, Александр Габриэль, Олег Горшков, Александр Кабанов, Константин Кедров, Юрий Кобрин, Вадим Ковда, Сергей Кузнецихин, Елена Максина, Юрий Перфильев, Вероника Долина, Иван Жданов, Сергей Плышевский, Лада Пузыревская, Михаэль Шерб, Юлия Драпкина, Евгений Каминский, Олеся Николаева, Валерий Рыльцов, Марина Саввиных, Михаил Юдовский и другие не менее замечательные поэты.

В разделе «Новый Монтень» публикуется проза малых форм.



Члены команды-45 реализовали и несколько крупных книжных проектов. В их числе – «45-я параллель. Антология» (2010), двухтомник «Антология XXI века» (2013), «45: параллельная реальность» (2014), «45: русской рифмы победный калибр» (2015), «Сокровенные свирели» (2016).

В сезонах 2006–2015 под эгидой нашего альманаха состоялось несколько международных поэтических конкурсов. Один из них – «45-й калибр», собирающий ярких мастеров слова, живущих в самых разных странах мира, – стал традиционным и с 2016-го носит имя Георгия Яропольского. С подборками победителей конкурсов мы и знакомим читателей журнала «Южное сияние», попутно отметив: многие авторы «45-й параллели» публикуются в Одесском издании. Не ошибёмся, сказав: многие авторы «Южного сияния» давно получили прописку в «Сорокапятке»!

Альманах имеет свое представительство в социальных сетях:

<https://www.facebook.com/groups/45parallel/>

<https://vk.com/almanac45parallel>

В соответствии с общей концепцией нашего проекта члены редакционной коллегии «45-й параллели» также проживают в разных городах и даже странах, что не мешает им эффективно работать – ведь все они – единомышленники, хотя у каждого свои художественные вкусы и предпочтения, что и обеспечивает жанровое и стилистическое разнообразие материалов, представленных в интернет-издании.

Решения о публикациях принимаются коллегиально. Портфель с материалами для публикаций, как правило, заполнен на несколько месяцев вперёд.

Состав редколлегии:

Сергей Сутулов-Катеринич – главный редактор (Ставрополь, Россия)

Прина Арутина – заместитель главного редактора (Челябинск, Россия)

Андрей Баранов (Москва, Россия)

Евгения (Джен) Баранова (Ялта – Москва)

Юрий Беликов (Пермь – Москва, Россия)

Прина Валерина (Бобруйск, Беларусь)

Борис Вольфсон (Ростов-на-Дону, Россия)

Георгий Жердев (Санкт-Петербург, Россия)

Вера Зубарева (Филадельфия, США)

Наталья Крофтс (Сидней, Австралия)

Вячеслав Лобачёв (Москва, Россия)

Татьяна Литвинова (Ставрополь, Россия)

Владимир Монахова (Братск, Россия)

Лера Мурашова – заместитель главного редактора (Москва, Россия)

Сергей Плышевский (Оттава, Канада)

Сергей Смирнов (Кингисепп, Россия)

Эмиля Травина (Харьков, Украина)

Александр Шапошников (Ставрополь, Россия)

По поручению редколлегии проект «45-я параллель» представила Лера Мурашова

ГЕОРГИЙ ЯРОПОЛЬСКИЙ

17 декабря 1958, Новосибирск – 21 ноября 2015, Нальчик

ОКНО ОТКРЫТО В ДОЖДЬ

МУЗЫКА ГОРОДА

Музыка города... Ночью, без света,
облокотившись на подоконник,
вслушайся в гулы и лязганье. Это
было когда-то грохотом конок.

Стуком пролёток. И скрипом засовов.
И колотушка билась ночная...
Меньше скрипичных и больше басовых –
музыка ночи нынче иная.

Требует сменного пятого цеха
радиоголос за два квартала.
Где-то вдали заливается Пьеха.
Брань за стеною... ну и октава!

Грузовиков нарастают аккорды,
чтобы угаснуть диминуэндо.
В паузах ритм задают пешеходы...
Ах, мои окна с видом на небо!

Звёзды молчат? Но имейте терпенье:
вознаградится! Вслушаться если –
рёв реактивный и ангелов пенье
смешаны в этой странной пиесе.

Ночь – обострённого слуха причина.
Пусть ревёт дизель зло и натужно –
если прислушаться, то различимы
конка, пролётка и колотушка.

Вслушайся в музыку – ночью, без света,
не соблазняясь словом дешёвым.
Это, наверное, поза поэта –
в тёмном проёме стыть дирижёром.

ВЛАЖНАЯ УБОРКА

Пыль всех дорог – сквозь щели рам оконных.
Я был везде, и я открыл закон
Неубыванья Пыли.

В моём скелете кальций тот же самый,
что был в скелете давнего врага
подобных измышлений.



В его зрачках ночное небо отражалось,
он отражён в зрачках погасших звёзд,
чей свет в морях рассеян.

И я курю шестую сигарету,
пуская дым в снопы солнца из-за штор,
где мечутся пылинки.

В их танце – мятный холодок предчувствий,
и земляной прохладой веет день,
но запах полироли –

побеждает...

ОТКРОВЕНИЕ

На два мой мир расколот: в тусклом ночном окне
вижу небесный город, что отражён во мне.
Нет – он скорей пронзает образ размытый мой;
светом он дивным залит, несовместимым с тьмой.

Скомканная страница... Свет! Я его не звал –
как же он смел явиться в кухонный мой развал?
Свет – среди липкой сажки, крошек да комаров...
Мир не расколот даже – множество в нём миров!

Каждый из них раздроблен, разен любой излом:
если в одном я – гоблин, то Гавриил – в другом!
Все они – сонмы стычек: ангелов песнь слышна –
смятых бычков да спичек пепельница полна...

Где же мне здесь приткнуться? Крутится колесо –
радостно спице, гнусно: как ей изведать всё?
Я в прихотливой притче смысла не распознал.
Скучно многообразие – так Гумилёв сказал.

Но изо всех раскопов надо извлечь добро...
Мало здесь микроскопов? В дело пушу перо.
К дьяволу проволоочки! Скоро подступит край.
Время расставить точки мне над своими «и».

Как
слепит
замороженный свет
и меня, и мгновенных прохожих!..
Всё – везде. Непохожего нет.
Но другого такого же – тоже
никогда не изведает свет.

Интерьер отразился в окне,
а оно – в том окне, что напротив.
Два пейзажа плывут в глубине:
слева – праздничен, справа – уродлив...
Но окно отразилось в окне.

И купейный мирок наш – во всём.
 Во вращенье стволов и домишек...
 Всё, что видим, в себе увезём,
 но останется некий излишек:
 всё должно
 отразиться
 во всём.

СОБАКА ПОД БАЛКОНОМ

Опять собака сдохла под балконом –
 такая же, как сдохла прошлым летом.
 Что молвить мне при зрелище знакомом,
 почти никем на свете не воспетом?

Тот цензор, что внутри, пищит: «Да надо ль?
 Ни ода здесь не сложится, ни fuga.
 Один Бодлер осмелился про пададь,
 но у него там – лошадь и подруга...»

Молчи, зои! Скорбеть пристало ныне:
 подумать о щенке, его восторгах –
 и как повергла жизнь его в унынье,
 пройдя на грязных улицах и стогнах.

Но, впрочем, что мы знаем о собачьем
 (киническом!) принятии кончины?
 Болтая, страхи собственные прячем,
 навеянные духом мертвечины.

Быть может, не гнетёт их бремя наше –
 и смена дней не кажется им знаком –
 и не подносят гефсиманской чаши
 часов не наблюдающим собакам?

Окно открыто в дождь. Черно лоснятся листья.
 Конечно, я его забуду... Но пока
 дождю ещё не час, шурша сонливо, литься –
 недаром день-деньской томились облака.

Окно открыто в дождь. Четыре тихих слова.
 А я ишу других, не в шёпот чтобы – в крик!
 Но, может, напишу спустя полжизни снова:
 «Окно открыто в дождь». И – выключу ночник.

ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ

Все земные заботы становятся мелки,
 когда листья прощально дрожат –
 под конец октября, когда сдвинуты стрелки,
 когда сдвинуты стрелки назад.



Дополнительный час у природы похитив,
что сказать за него я смогу –
под конец октября, в пору первых бронхитов?
Под конец октября – ни гу-гу!

В этот час вне времён надо быть молчаливым,
надо быть молчаливым, как дым.
Когда видишь, как горько берёзам и ивам,
только кашель один допустим.

Здесь слова – вне игры, здесь иные законы.
Встань, застынь у ночного окна –
ты увидишь, как дрогнут платаны и клёны,
как грустят о них ель и сосна.

Лист раздольно летит над землёю, а значит,
он с землёю простился почти.
И никто не вздохнёт, и никто не оплачет,
и никто не оплатит пути.

ПАСМУРНЫЙ ЗАПЕВ

Средь золотой кутерьмы южного края
ёлку поставили мы, в детство впадая.
За полночь вышли во двор, как для проверки, –
тёмен был вышний простор, лишь фейерверки.

Новое небо и днём неблагоприятно –
пятые сутки всё ждём антициклона.
Пасмурных дней череда – словно ущелье.
Я просыпаюсь, когда ночь на ущербе.
Но невозбранно черна веткой любою
ёлка в проёме окна – наша с тобою.

ИНВЕРСИОННЫЙ СЛЕД

Небезопасное кочевье,
чей индоевропейский корень
через латынь пророс в сегодня,
покрыли кучевые волны,

и в щели меж двумя домами
витают знаковые сгустки,
и это носит то же имя –
простор от nebula до неба,

и знаю: больше не увижу
того диковинного солнца
ноябрьского, вишнёвым соком
ко мне вливавшегося в окна,

когда присел у телефона,
но мириады вариаций
всё той же темы неизбежны,
покуда время не иссякнет,

и, вроде подписи-печати
на документе человека, –
след бахромистый на закате,
инверсионная засечка.

ИГОРЬ ЦАРЁВ

11.11.1955, пос. Пограничный Приморского края – 04.04.2013, Москва

ЛОТОС В РУКЕ

ТОБОЛ

На Тоболе край соболий, а не купишь воротник.
Заболоченное поле, заколоченный рудник...
Но, гляди-ка, выживают, лиху воли не дают,
Бабы что-то вышивают, мужики на что-то пьют.

Допотопная дрезина. Керосиновый дымок.
На пробое магазина зацелованный замок.
У крыльца в кирзовых чунях три угрюмых варнака –
Два праправнука Кучума и потомок Ермака.

Без копеечки в кармане ждуг завмага чуть дыша:
Иногда ведь тётя Маня похмеляет без гроша!
Кто рискнёт такую веру развенчать и низвести,
Тот не мерил эту меру и не пробовал нести.

Вымыл дождь со dna овражка всю историю к ногам:
Комиссарскую фуражку да колчаковский наган...
А поодаль ржавой цацкой – арстантская баржа,
Что ещё при власти царской не дошла до Иртыша...

Ну и хватит о Тоболе и сибирском кураже.
Кто наелся здешней воли, не изменится уже.
Вот и снова стынуг реки, осыпается листва
Даже в двадцать первом веке от Христова Рождества.

СНЕЖНОЕ

Мы и ухари, мы и печальники,
Разнолики в гутьбе и борьбе,
Как тряпичные куклы на чайнике,
Каждый – столоначальник себе.
Всякий раз по державной распутице
Выходя свою самость пасти,
Ждём, что ангелы всё-таки спустятся
От осенних напастей спасти.



Ни фен-шуй, ни шаманские фенечки
Не защита от ночи лихой.
Время лузгает души, как семечки,
И нахально сорит шелухой.
Обретаясь у края безбрежного,
Сам себе я успел надоесть:
Ты прости меня, Господи, грешного,
Если знаешь вообще, что я есть!

Безответный вопрос закавыкою
Око выколет из темноты:
Если всякому Якову «выкаю»,
Почему со Всевышним «на ты»?
Сверху падают снега горошины,
Снисходительно бьют по плечу,
И стою я во тьме огорошенный,
И фонариком в небо свечу.

БРОДЯГА И БРОДСКИЙ

Вида серого, мятого и неброского,
Проходя вагоны походкой шаткою,
Попрошайка шпарит на память Бродского,
Утирая губы дырявой шапкою.

В нём стихов, наверное, тонны, залежи,
Да, ему студентов учить бы в Принстоне!
Но мажором станешь не при вокзале же,
Не отчалишь в Принстон от этой пристани.

Бог послал за день только хвостик ливерной
И в глаза тоску вперемешку с немочью...
Свой карман ему на ладони вывернув,
Я нашёл всего-то с червонец мелочью.

Он с утра, конечно же, принял лишнего,
И небрит, и профиля не медального...
Возлюби, попробуй, такого ближнего,
И пойми, пожалуй, такого дальнего!

Вот идёт он, пьяненький, в лысом валенке,
Намешав ерша, словно ртути к олову,
Но, при всём при том, не такой и маленький,
Если целый мир уместился в голову.

Электричка мчится, качая креслица,
Контролёры лают, но не кусаются,
И вослед бродяге старухи крестятся:
Ты гляди, он пола-то не касается!..

АЭРОПОРТ ИНТА

*Если налить коньяк или водку
в пластиковый стаканчик, опустить
в него палочку и выставить на снег
при сорокоградусном морозе,
вскоре получится снегшибательное эскимо.*

из личного опыта

Опустив уныло долу винты,
На поляне загрузил вертолёт –
И хотел бы улететь из Инты,
Да погода третий день не даёт.
Нас обильно кормит снегом зенит,
Гонит тучи из Ухты на Читку...
И мобильный мой уже не звонит,
Потому что ни рубля на счету.

Знает каждый: от бича – до мента,
Кто с понтами тут, кто честный герой,
Потому что это город Инта,
Где и водка замерзает порой.
Здесь играют в орлянку с судьбой,
И милуются с ней на брудершafft,
И в забой уходят, словно в запой,
Иногда не возвращаясь из шахт.

Без рубашки хоть вообще не родись,
Да и ту поставить лучше на мех.
По Инте зимой без меха пройдишь –
Дальше сможешь танцевать без помех.
Что нам Вена и Париж, мы не те,
Иноземца тут собьёт на лету!
И я точно это понял в Инте,
Застреляя по пути в Воркуту.

Рынок – Западу, Востоку – базар,
Нам же северный ломоть мерзлоты,
И особый леденящий азарт
Быть с курносою подругой «на ты».
Угловат народ и норовом крут,
Но и жизнь – не театральный бурлеск.
И поэтому – бессмысленный труд
Наводит на русский валенок блеск.

ХАСАН

Скорлупа водяного ореха, желтоглазый цветок горчачка,
Оторочка оленьего меха и от старой гранаты чека...
Это лето на краешке света, где восход и бѣдов, и медов,
Нанизало свои амулеты на цепочку звериных следов.



Там от звуков ночных и касаний тёмный пот выступает из пор –
Это эхо боёв на Хасане между сопок живёт до сих пор.
Это сойка печально и тонко голосит под луной молодой...
И упрямо скользит плоскодонка над живою и мёртвой водой.

Я там был... И как будто бы не был, потому что с годами забыл,
Как гонял между лугом и небом табуны диковатых кобыл.
А припомню – и легче как будто, что в далёком моём далеке
Удэгейский мальчишка, как Будда, держит розовый лотос в руке.

Так важно иногда, так нужно,
Подошвы оторвав натужно
От повседневной шелухи,
Недужной ночью с другом лепшим
Под фонарём полуослепшим
Читать мятежные стихи,
Хмелея и сжигая глотку,
Катать во рту, как злую водку,
Слова, что тем и хороши,
Что в них – ни фальши, ни апломба,
Лишь сердца сорванная пломба
С неуспокоенной души...

В ГОСТЯХ У СЕВЕРЯНИНА

Все берёзы окрест расчесав на пробор,
Ветер трётся дворнягой о санки.
Проплывает над полем Успенский собор,
Пять веков не теряя осанки.
И такой воцаряется в сердце покой –
Не сплутнуть его, не расплясать бы...
И смиренно стою я, касаясь рукой
Северянинской старой усадьбы.

Ну, казалось бы, крыша, четыре стены,
Но не скучною пылью карнизов –
Воздух таинством грамоток берестяных
И рифмованной дрожью пронизан.
Здесь проходят века сквозняком по ногам,
Время лапой еловою машет.
И играет скрипучих ступеней орган
Тишины королевские марши.

Потаённой зарубкою, птичьим пером,
Волчьим следом отмечено это
Заповедное место для белых ворон,
Неприкаянных душ и поэтов.
Ледяной горизонт лаконичен и строг –
Совершенством путает и манит.
И звенит серебро северянинских строк
Талисманом в нагрудном кармане.

В белоснежной сорочке босая зима
 Над Шексною гуляет, да Судой.
 Вместе с нею построчно схожу я с ума.
 Или вновь обретаю рассудок?
 Уходя, хоть на миг на краю обернусь,
 Залобуюсь пронзительным небом...
 Я вернусь, я ещё непременно вернусь,
 Пусть, хотя бы, и выпавшим снегом.

МИХАИЛ АНИЩЕНКО

9.11.1950, Самара – 24.11.2012, Москва

БУРАТИНО

ЗИМА

Разогрею чифирь, помусолю сухарь,
 На картинке понюхаю мёд.
 Белый кот-идиот по прозванию Январь
 Мне из подпола мышь принесёт.

Я штаны подтяну и поправлю фитиль,
 Будет примус светить без ума...
 Помусолю сухарь, разогрею чифирь...
 И скажу своей милой: «Зима».

Она молча натопит воды снеговой,
 Станет таять, как в небе луна,
 И закроет своей золотой головой
 Польньню ледяного окна.

Станет милая петь, как недавно и встарь,
 В поварёшке утопит печаль,
 Разогреет чифирь, помусолит сухарь
 И ответит мне тихо: «Февраль».

«Слышишь, миленький мой, уже капает с крыш...»
 Я отвечу ей тихо: «Эхма!»
 Но примёрзнет к столу принесённая мышь,
 И я выдохну снова: «Зима».

Она снова натопит воды снеговой,
 Станет скрывать по стенкам котла,
 И заслонит своей золотой головой
 Вековую империю зла.

Я махры закурю и спою про Сибирь,
 Сам собою довольный весьма...
 Помусолю сухарь, разогрею чифирь,
 И скажу своей милой: «Эхма!»



Побродив деревнею по-лисы,
В старый дом шагнула через мрак –
Женщина, промокшая, как листья,
Свежая, как утренний сквозняк.

Он забыл тоску свою и горе.
Всё вернулось – вера и она,
И луна, тонувшая в кагоре,
Совершенно пьяная луна.

И от слёз, от холода избушки
Бросились найдёныши в постель:
Головою в снежные подушки,
Грешным телом в белую метель.

И в ночи, без свечки Пастернака,
Без скрещенья судеб и теней,
Два лица, как два овала мрака,
Озарилась юностью своей,

Так они с планетою вращались,
Возвращаясь в прежнюю судьбу...
А с восходом солнца распрощались,
Он вернулся в старую избу.

Сбросил с губ последнюю улыбку,
Постирал постельное бельё;
И убил в аквариуме рыбку,
На заре узнавшую её.

На отшибе погоста пустого,
Возле жёлтых размазанных гор
Я с кладбищенским сторожем снова
Беспросветный веду разговор.

Я сказал ему: «Видимо, скоро
Грянет мой неизбежный черёд...»
Но ответил кладбищенский сторож:
– Тот, кто жив, никогда не умрёт.

Я вернулся домой и три ночи
Всё ходил и качал головой:
Как узнать, кто живой, кто не очень,
А кто вовсе уже не живой?

Под иконою свечка горела.
Я смотрел в ледяное окно.
А жена на меня не смотрела,
Словно я уже умер давно.

В тихом доме мне стало постыло,
 Взял я водку и пил из горла.
 Ах, любимая, как ты остыла,
 Словно в прошлом году умерла!

Я заплакал, и месяц-заморыш
 Усмехнулся в ночи смоляной...
 Ах ты, сторож, кладбищенский сторож,
 Что ты, сторож, наделал со мной?

Не смотри, не смотри ты вослед журавлю,
 Не грусти у ночного порога...
 Всё равно я тебя больше жизни люблю,
 Больше Родины, неба и Бога!

Возле мокрых заборов, соломы и слег
 Я люблю тебя тихо и нежно –
 Не за то, не за то, что, как дождик и снег,
 Ты была на земле неизбежна.

Не за то, что сгорала со мною дотла
 И неслышно в сторонке дышала,
 А за то, что всё время со мною была,
 И, как смерть, – мне ни в чём не мешала!

БУРАТИНО

Вл. Денисову

Всё, что пишется, – необратимо.
 Хоть смолой заливайте уста:
 Вниз башкою висит Буратино,
 Как последний апостол Христа.

Ни Мальвины, ни денег, ни родин;
 Ничего на земле, никого.
 Но теперь он впервые свободен,
 И Господь уже видит его.

Не внимайте стенам и вою,
 Не тяните назад повод
 И повешенных вниз головою
 Не снимайте с небес никогда.

Всё, что пишется, – необратимо.
 Не спешите казаться добром.
 А иначе – всё та же Мальвина
 И театр за грязным холстом.

Тот же дом, тот же самый порожек,
 Никому не известный итог...
 Но Толстой был великий безбожник
 И не мог быть жестоким, как Бог.



Он снимает с небес Буратино,
Золотой отдаёт ему ключ.
И смеётся от счастья Мальвина,
И вздыхает Господь между туч.

Я воду ношу, раздвигая сугробы.
Мне воду носить всё трудней и трудней.
Но как бы ни стало и ни было что бы,
Я буду носить её милой моей.
Река холоднее небесного одра.
Я прорубь рублю от зари до зари.
Бери, моя радость, хрустальные вёдра,
Хрусти леденцами, стирай и вари.
Уйду от сугроба, дойду до сугроба,
Три раза позволю себе покурить.
Я воду ношу – до порога, до гроба,
А дальше не знаю, кто будет носить.
А дальше – вот в том-то и смертная мука,
Увижу ли, как ты одна в январе,
Стоишь над рекой, как любовь и разлука,
Забыв, что вода замерзает в ведре...
Но это ещё не теперь, и дорога
Протоптана мною в снегу и во мгле...
И смотрит Господь удивлённо и строго,
И знает, зачем я живу на Земле.

Я выпью ужас из стакана,
Уйду туда, где нет ни зги.
И волки выйдут из тумана,
Узнав мой запах и шаги.

Я закурю. Захорошею.
И на лугу, где зябнет стог,
Сниму пальто. Открою шею
С татуировкой «С нами Бог!»

И там, у роицы, у Волги,
Перешагнув через ружьё,
Пойдут ко мне седые волки,
Как люди, знающие всё.

Всё будет выглядеть достойно.
Какая жизнь – такой итог.
Они убьют меня не больно,
Разрезав плоть под словом «Бог».

И в поле, в снежной мешанине,
Сырой, как залежи газет,
Меня в дырявой мешковине
Потащит к зимнику сосед.

Потащит труп к нелепой славе,
 Благодаря меня под нос
 За то, что я ему оставил
 Пальто и пачку папирос.

Опускай меня в землю, товарищ,
 Заноси над бессмертием лом.
 Словно искорка русских пожарниц,
 Я лечу над сгоревшим селом.

Вот и кончились думы о хлебе,
 О добре и немереном зле...
 Дым отечества сладок на небе,
 Но дышать не даёт на земле.

ЕКАТЕРИНА ЕГОРЕНКОВА

Харьков

ВСЁ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ЛЮБВИ

не зависеть от мнения окружающих,
 отъезжающих, провожающих,
 проезжающих через тебя транзитом
 фантастических паразитов.

не играть в чужие игры по правилам,
 не пытаться стать абсолютно правильной,
 угодить по всем параметрам каждому.
 никому ничего о себе не рассказывать.

жить, как ветер в сказке про Мэри Поппинс:
 прилетать – одной, улетать – ни с кем не знакомясь,
 быть – кому попутной, кому и в спину.

в шестьдесят один – незаметно и тихо сгинуть.
 не оставить писем и прочих, убитых горем.
 завещать развеять себя над морем.

АВГУСТ

пахнет пылью, полынью и патокой,
 диким мёдом
 да с вороньего клюва каплет водою мёртвой
 рыжей замшей, каштанной ржавчиной занавешен
 разнесёт над рекой уставшей
 «ой, да не вечер»



собирай его по частям, по крупницам,
пришил мотыльком в альбоме
прикрывай глаза, лови ресницы сухой ладонью
приручай, обнимай, обласкивай – куда денется, заполошный
поспешись за ним, как за сказкой, –
и оба в прошлом

к чёрту делёж и нытьё –
кто кого приручил,
кто кому командир, а кто – тамагочи.

вот тебе сердце моё,
вот от него ключи –
живи, если хочешь.

да она лишь с виду тверда, как сталь
вадоль наиспытывал – перестань

переставь пластинку, смени иглу
посиди, остынь-ка в глухом углу

присмотрюсь – под пальцами всё парча,
целый край – непахан да непочат

и не кожа вовсе – персидский шёлк
благодарствуй, Господи, что нашёл

иже впрямь еси Ты на небеси –
то помилуй, Господи, и спаси

так стоя в исподнем, молил, звеня:
упаси, Господь, её – от меня

всё, что нужно знать о любви,
уместилось в пару десятков слов
на мели мои корабли
спят ветра моих парусов

всё, что нужно знать о мечте,
уместилось в пару десятков стран
не ходи за мной, моя тень
успокойся, мой океан

всё, что нужно знать о тебе,
уместилось в пару десятков лет
завтрак остывал на траве
нежился у моря рассвет



всё, что нужно знать обо мне,
 уместилось в пару расхожих фраз
 лица под стеклом на стене –
 всё, что нужно помнить о нас

отталкиваясь от весны –
 ввысь
 теряя в коротком сне –
 след
 так что у тебя с ним?
 жизнь
 так что у тебя с ней?
 свет
 отметиной на судьбе –
 миг
 по прошлому не скорбя –
 вдох
 так что же она тебе?
 мир
 так кто же он для тебя?
 Бог

что я вспомню, когда умру?
 день, разлитый по серебру
 сонный город, пустой причал
 снег нетаяющий на плечах

чем я стану, когда умру?
 вздохом пламени на ветру
 пыльной тканью, сухой травой
 серым камнем на мостовой

с кем я свижусь, когда умру?
 с тем, кто ближе, чем враг и друг
 с тем, что смыло взрывной волной
 с тем, что было когда-то мной

ПРАВИЛА ЖИЗНИ

правила жизни просты, словно дважды два
 верить – поступкам, не верить – пустым словам
 благодарить рассветы, в которых пока жива
 не забывать, как пахнет весной трава

правила жизни строги, как осенний лес
 делать – что должно, не ожидать чудес
 мир необъятный стремиться постигнуть весь
 быть настоящей – сегодня, сейчас и здесь



правила жизни легки, как в ручье вода
не оставлять на мокром песке следа
что не твоё – проститься и навсегда
помнить, что есть на небе твоя звезда

правила жизни изящны, как пятью пять
не унывать, прощать и не предавать
и – каблуки без повода надевать
и – улыбаться миру
и – танцевать

МАРТ

Отбели меня, март,
Ототри мне лицо снегом талым.
Обними меня, март,
Пеленою дождей и туманов.
Отгласкай меня, март,
Отпечаль
И позволь мне забыться,
Чтоб увидеть во сне
Опалённые осенью лица.
Окрести меня, март,
Отхлещи по щекам непогодой,
Отпусти меня, март,
Отмоли, отпусти на свободу,
Нарисуй мне дорогу назад
И оставь мне надежду,
Что, пройдя через боль перемен,
Я услышу твой голос –
Как прежде.

что ж, пора выбрасывать белый флаг
из-под груды ломаных кирпичей
если без него – то уже никак
если без него – то зачем вообще
всё казалось, будто она кремень
и уж точно стрелянный воробей
только лучше без вести на войне,
чтоб от одиночества не слабеть
на полтакта раньше, а не успеть
на полшага ближе – не удержать
если не за ним – то куда лететь
раз не от него – то на кой рожать
но играть положено до конца
на морально, знаешь ли, волевых
не смеши богов, не меняй лица
говоря о мёртвых, как о живых

а мы успевали – в бит, хоть нас иногда несло
хотелось – не то любви, не то кулаком в стекло
не то любовых атак, не то отглагольных рифм
но мы попадали в такт и чётко держали ритм

а мы успевали – в бой, мы выполнили приказ
мы преодолевали боль и били не в бровь, а в глаз
мы вызубрили устав, мы встали – спина к спине
я – знамя, ты – комсостав, как водится на войне

а мы успевали – в шаг, вытягивались в струну
и звоном скрещённых шпаг мы вспарывали весну
и первые два по сто – ушли, как вода в песок
нам, кажется, повезло – мы всё же успели в срок

ЕВГЕНИЙ КАМИНСКИЙ

Санкт-Петербург

ПРЕДЧУВСТВИЕ РАССВЕТА

Зима уже по брови замела.
Всё реже свет, всё гуще тьма погоста...
Лишь крохотное то, что под коростой,
сквозь трещины сочится, как смола.

Душе всегда вселенная мала.
Она птенцом, побегом, хрупкой строчкой
пульсирует под горькой оболочкой,
предчувствуя огромных два крыла.

И куда мне прикажешь – от глины кембрийской и праха,
если в варварстве этом уже я по горло погряз?!
Мне как раз по плечам клочковатого неба рубаха,
и павальная скорбь деревень мне по сердцу как раз.

Только пьяные слёзы да, каюсь, на Господа ропот...
Но куда же мне, варвару, деться от этой глуши?!
Ведь Америки сытой и вымытой с мылом Европы,
вместе взятых, так мало для выбравшей небо души.

Скажешь, всласть похрустеть нежным крылышком – жизни всей дело?!
Умереть – дело жизни! Лишь здесь, от Невы до Курил,
ангел смерти готов из любви сокрушить твоё тело,
преломить твою плоть, чтобы дух наконец воспарил.



Я из этой земли. Или, если быть точным, – из грязи.
И когда ветер рвал небо в клочья и рычал прибой,
умирав от страха, я всё же держал эти связи
с отрываемой твердью, в просветах ещё голубой.

Жизнь закончилась. Светится даль.
Небеса нам достались. Так что же?!
Воздух здесь – словно горный хрусталь,
а простор – аж мурашки по коже!

Мы и мухи теперь не убьём!
Не швырнёт нас, как прежде, на сушу,
где, как гадов, нас били рублём –
вышибали бессмертную душу!

Где свистели для нас соловьём
о высокой любви, голосисты,
а потом уж бросали живьём
в свой священный огонь гуманисты!

Я победу для них не ковал.
С их стола ты не склюнул и крохи.
Потому и уходим в отвал
этой кровью набрякшей эпохи.

Дверь захлопнулась. Радостно плавать:
всюду вечность, легка и громадна...
Нас всегда было просто убить!
Но ведь нас не кушать?! Ну и ладно.

Очнулся в измерении ином...
Ну и живи себе как подорожник!
Столовая, спасибо за творожник.
Спасибо за бутылку, гастроном!

И, астроном, спасибо за звезду.
Но зря ты врал, что мы пришли оттуда.
Там жизни нет. Вся – здесь! Я не уйду,
пока не съем всю соль – свои два пуда.

Покуда океан свой не допью.
Тебе везде житьё: в Литве ли, в Польше...
А мне отчизну скорбную мою
и оставлять-то не на кого больше.

Сюда я не просился на постой –
я здесь стоял. Послушай, марсианин:
тому ль бежать, кто жалостью простой
к отеческим гробам навывлет ранен?!



Кто не в кубышку складывал гроши,
а, не страшась, транжирил небо это?!
Смысл только здесь! Спасибо, мураши,
за жизнь во тьме с предчувствием рассвета.

Только саван, накрывший в совхозных полях инвентарь,
только обмороченный лаской лесов, невозможный для слуха.
От себя отрекаюсь. Да будет в природе январь,
как над плотью остывшей восторг воспарившего духа!

Мёртвых мёртвым оставить, отбросить всю эту тщету,
всё забыть и, как шуба на рыбьем меху, износиться...
Эту сладкую ложь я не мог не любить! Но и ту
Правду не отменить... Снег не тает уже на ресницах.

Взгляд синей, чем у агнца, сидевшего век на игле.
Слово больше, чем голос, но – поздно – истрачено тело.
Сердце жаждало неба и всё-таки жалось к земле,
и глагол, до костей выжигавший, терпеть не умело.

МОЙКА ОКОН

Плечами задевая облака,
встав на карниз отчаянно над бездной
(в надежде, если честно, бесполезной,
что станет мир светлей для дурака),

от смерти, может быть, на волосок,
как Манассию хающий Исая,
над улицей опасно нависая,
я тряпкою водил наискосок.

В аорте закипала высота.
Душа, хватив хмельного ветра малость,
за переплёт оконный вырывалась,
стелясь, как тень Дворцового моста.

А там, внизу, раскатывался гром:
бомжихи, матерясь, как пионеры,
тащили, невзирая на размеры,
химеры два крыла в металлолом.

Ментовские сновали воронки,
ручьев скользили узкие полоски,
а тополей и клёнов отморозки
со стоном расправляли позвонки.

Пространство пробуждалось на лету.
Парк, словно грек, обобраный шпанаю,
дрожал, нагой и чёрный, подо мною,
дорожек обнажая нищету.



И сладкий запах прели в ноздри лез...
А я стоял, весною оглушённый,
над бездною, как Лазарь воскрешённый,
ещё не зная, что уже воскрес.

Да, были дела мои плохи,
но лишь удавалась строка,
и я на законы эпохи
без страха взирал свысока.

А что? Разве флаги над него
иль заговор длинных ножей
здесь были глаголов главнее
и рифмы глубокой важней?

Ведь дух её, в чём-то паучий,
и ражих богов её рать
годились здесь только на случай
врага, заклеив, попить.

Я знал, что в истории новой
она своей правдой от нас
оставит в земле лишь метровый
песчаника ржавого пласт,

что все её знания – махом –
и весь её пройденный путь
окажутся в вечности прахом,
который не грех и стряхнуть.

И верил, лишь Слово в итоге
одно не рассыплется в дым,
поскольку ни духи, ни боги
в ней были не властны над ним.

Что Россия из «Боинга»? Из лоскутов покрывало –
огороды, огни, полигоны, леса, пустыри...
И с чего, осерчав, на неё ополчались, бывало,
с двух сторон океана имевшие власть упыри?!

Разноцветные лишь лоскуты – никакого геройства,
ни стекла, ни бетона, ну разве что нефть да финифть...
На немецкий манер ну какое быть может устройство
той земли, где во всём было принято немца винить?!

Вон пред Богом она – как из «Боинга» – вся на ладони!
растянувшись от моря до моря, легла неглиже,
ни испанских не надобно ей, ни британский колоний,
да самой-то себя в полноте ей не надо уже.

Мол, живёт, как умеет, доказывал немцу я прежде...
но, увы, непригодна для жизни, умела она
только в небо глядеть, как мертвец, не моргая, в надежде
там на жизнь после смерти. Для вечности лишь и годна...

Стихи нас давно погубили, ещё в девяностых, когда
нам, как «Хванчкара» с чахохбили была с сухарями вода.
Ремни затянувшие туго, сунувшие впрок сухари,
мы читали лишь строки друг друга, метафор и строф главари.

Нужда нам казалась игрою: лет десять потерпим, а там –
под мышкой бутыл с «Хванчкарою», и возле подъезда – фонтан.
Но в битве, где пленных не брали, где мочь нужно было и сметь,
у всех безоружных едва ли был шанс хоть один уцелеть.

Мужала эпоха... Покуда мы знать не желали её,
здесь в прода вырос нуда, людей расплодилось зверьё,
рассеялся дым паровозный, фабричные стихли гудки.
И вдруг оказалось, что поздно эпоху хватать за грудки.

Что места нам нет на планете, где, как вопиющего глас,
остались от нас только эти стихи, погубившие нас.

ИГОРЬ ГОНОХОВ

Ногинск-Москва

ОДУВАНЧИКИ

СВИСТЕЛКА

я дворы обошёл, я на всех качелях
посидел, покатался и так и сяк.
не хотел, но спугнул воробьёв кочевье.
посмотрел, как вверху облака висят...

вроде всё на местах, только грустно очень
и пронзительно просто, и так светло...
у Тебя на ладони, Владыко Отче,
и пространство, и я, и пустырь с ветлой.

так бывает, что жизнь не сложнее безделки,
но становится узок любой закон.
я стою перед небом, в руках свистелка –
то ли птица какая-то, то ли конь...



не мелькают такси, не шумят вокзалы,
над землёю по-ангельски даль тиха,
словно наша земля никогда не знала
ни смертей, ни трагедии, ни греха...

мир прозрачен до дна, до песчинки каждой,
словно он первозданность свою сберёт.
как мне быть? всё кругом воплощенья жаждет,
а в руках – лишь из глины чудной зверёк.

нарекать имена – по плечу Адаму –
от души и навечно, из первых рук...
вон сизарь над ветлой, над верхушкой самой...
я вдохнул, и раздался свистелки звук.

МИСТЕРИЯ ВКУСА

Я помню, как в жару, ещё мальчишкой,
Я не спешил идти домой к столу.
Но пробовал смолу нагретой вишни
И сливы красноватую смолу,

Что на ветвях подтёками нависла.
Мне нравилось. Казалось, ешь закат.
Не сладко, не солёно и не кисло,
Но этот цвет, но этот аромат!

Ещё такое было через годы.
Я пил из родника. Мне стало жаль.
Мне захотелось пить совсем не воду,
А синюю таинственную даль

Из тишины, настоящей над полем,
Где только чьё-то звонкое «пить-пить»,
Холодную и сладостную волю
Бесстрашными глотками пить и пить.

Я вскоре понял. Средь жары и стыни
Я ощутил судьбу. Не крест, не груз.
Она была похлёбкой из полыни –
Совсем простой, но благородный вкус.

ОДУВАНЧИКИ

В шлемах прозрачно-молочных,
среди комариных засад,
пять одуванчиков – точно
инопланетный десант.

Лут – мотыльковое чудо –
острая, тонкая стать.
Хоть и домой, но отсюда
так нелегко улетать.

Странно и тихо землянам.
 Пятеро эти... они –
 словно фужеры с туманом,
 словно печальные дни.

В сумерках неторопливо
 белым просеяло высь.
 – О, – встрепенулась крапива, –
 телепортировались...

СЕЛО

ни коровы теперь, ни машины,
 только надпись: совхоз «Большевик».
 всё опутал горошек мышинный,
 захватил все поля борщевик.

а из тех, кто вколачивал гвозди,
 строил ферму и сельский уют,
 половина – уже на погосте,
 остальные – пока ещё – пьют.

так похожа на символ разрухи
 близ колодца худая байда.
 не маши пролетающей мухе
 красной лапкой своей, лебеда.

даже в храм за песчаной губою,
 что красуется лет эдак – сто,
 городские – на праздник – гурьбою,
 а из местных обычно – никто.

и рассказывал прапорщик с дачи,
 как, из храмовой выйдя стены,
 у воды кто-то встанет и плачет
 в сердцевине ночной тишины.

Зима – идеал композиций.
 В ней краткость, пространство и воля.
 Как чётко рассыпаны птицы
 По ровному, белому полю!

Как точно расставлены дети,
 И мамы расставлены с ними!
 «Там скользко, не лезь туда, Петя!» –
 «Пойдём-ка мы к бабушке, Дима».

А может, и вправду не трудно
 Враз, набело и без помарки
 С натуры списать это чудо –
 Январское, жгучее, яркое...



С деревьями – снежными люстрами,
С гирляндами, с запахом пиццы.
И с тем, что не видишь, но чувствуешь –
В мерцаниях, в снах, в композициях...

Те облака – порвал и бросил.
А эти – в ряд расположил.
Почти касаясь тёмных сосен,
Кружились мелкие стрижи,

Которых Он рассыпал часто
Привычной к щедрости рукой.
Прохладный ветер звал ненастье,
И ветер – именно такой,

Который сам бы я и создал
Среди кустов, среди дорог,
На глядах рек, в цветочных гроздьях,
Когда б сумел, когда бы смог...

И воздух яблоневый милый...
И свет, разлившийся на сныть...
Ах, если б только я был в силах
Не задохнуться, но вместить!

МУЛЬТИК

На асфальте цветными мелками
Нарисованы чудные звери:
Светло-жёлтая мышь с коготками,
Ёж малиновый в огненных перьях,

Красно-синий жираф между ними.
Вот такие роскошные – трое.
Кто красивей из них? Кто любимей?
Тёплый ливень фигурки размочит...

Мышь и ёж и жираф растекутся
В колыбельных пространствах России,
В снах тюльпанов, фиалок, настурций –
Красным, жёлтым, малиновым, синим...

Если б так же и люди отсюда
Уходили легко и не больно...
В небе мрачная бьётся посуда –
На кусочки, по трещинам молний...

Вот и всё. Три фигурки исчезли,
Но в утрату нисколько не веря,
Смотрит девочка в дальние бездны,
Где лежат облака – точно звери...

АЛЕКСАНДРУ ВАМПИЛОВУ

В таёжной чайной утром рано
лучи рассеивали мглу.
Бусыгин, Зилов и Шаманов
о чём-то спорили в углу.

На двор пришли с охоты люди.
Летели утки над тайгой.
Казалось, это вечно будет:
деревья, воздух и покой.

Еловым веяло дурманом,
рос в палисаднике ревень.
Бусыгин, Зилов и Шаманов
смотрели, как восходит день.

Прекрасный день, и в самом деле —
гудели радостно шмели,
а эти трое, что сидели,
варут, разом встали и пошли.

Вдоль рек с полосками тумана,
сквозь сёла, рощи, города.
Бусыгин, Зилов и Шаманов —
куда, куда они, куда?

...Они пришли, достали водку
и час смотрели, просто так,
туда, где дно моторной лодки
пробил в том августе топляк.

МИХАИЛ ДЫНКИН

АшДОД

ОРФЕЙ В АДУ

точно тусклым мастерком костерка
сны замазывает день выходной
да скользит немолодая река
за ссутуленной лесною спиной

точно ветер ни о чём говорит
сам с собою в допотопных лугах
и выводит на прогулку Магритт
карасей на человечьих ногах



а позднее раскисает лубок
бродит ливень за оседлостью черт
и летает над водой голубок
ударяясь головой о ковчег

Орфей в аду, и на задворках ада
махнёт ему набоковская Ада
в проёме пастернаковских гардин
рукою, если тень имеет руки...
тень гимназистки с голосом старухи:
побаловаться хочешь, господин?

и в комнате, где драные обои
он за ночлег расплатится оболком
а может быть, не только за ночлег...
всё будет так, как было на Земле, и
фонарь, аптеку, тёмные аллеи
накроет утром синеватый снег

что ж... завернись в поношенную робу
проваливайся в рыхлые сугробы
пока менады в клочья не порвут
в аду, я знаю, тоже есть менады
а музыка... вот музыки не надо
и без неё намучаешься тут

ЛЮБОВНИКИ

*И если призрак здесь когда-то жил,
то он покинул этот дом. Покинул.*

Иосиф Бродский

1

Спустилось небо серым мотыльком
и замерло над обнажённой грудью...
Они смотрели в гулкое безлюдье,
накрытое стеклянным колпаком.

Там были только круглые холмы
и мёртвый лес, снимающий перчатку,
что возникал из этой хохломы,
со всею силой вдавленной в сетчатку.

Так, прочитав октябрь до конца,
легли они, переплетая взгляды,
и золотая мимика распада
сосуществовала с музыкой лица.

Холодный свет по комнатам кружил
и тихо утро пыль с него сдувало.
И то, что третий в этом доме жил,
двух призраков уже не волновало.



Я буду петь декабрьский мокрый снег.
Ты будешь слушать слюдяное эхо.
Мы в старом доме встретимся во сне
и на диван повалимся от смеха.

О, этот скрип заржавленных пружин;
обои, отходящие от стенки...
Мне кажется, я здесь когда-то жил:
днем жёг камин, а ночью жарил гренки.

Смеёшься? Я и сам смеюсь. Десант
паучий опускается на плиты.
А над крыльцом бормочет зимний сад:
«Я знаю их. Два года как убиты».

Озябшей веткой тянется к звонку:
«Напомнить им?» – И мнётся, сомневаясь.
А мы уже взлетаем к потолку,
смеясь и торопливо раздеваясь.

этим утром снег коснётся елей
выплеснут садовую со льдом
на бульвар у маленькой моельни
и трамвайной стрелкой купидон
завладеет, может быть
вези нас
по зиме застуженный трамвай
вдоль сугробов, пахнущих бензином
розовые ветки задевай

этим утром повторенье станет
мачехой зелёных школяров
кучевые прежде, чем растаять
в небесах станцуют болеро
облака
и солнечного зайца
выведут за шиворот, когда
фонари ослепшие грозятся
перегрызть тугие провода

этим утром ватными на ватман
становясь ногами, покачай
головой, из белого серванта
извлекая хрупкую печаль
снова молод, ни на что не годен
пей портвейн в обшарпанном дворе...

этим утром я умру в Ашдоде –
городе, где ливни в январе



НЕ ГАДАЙ ПО РУКЕ

не гадай по руке, ибо линии смоев вода
в черепном коробке – отсыревшие спички стыда

Купидон на посту прижимает к груди АКМ
зубы Кадма растут в челюстях неевклидовых схем

а в Троянском коне завелась боевые кроты
и до самых корней пробирает боязнь темноты

фокусируешь взгляд, да выходит из фокуса свет
силуэты дриад растворяются в чёрной листве

и летишь до утра, простирая стальные персты
то по Лысым горам, то над лентой сухой бересты

быстрым небом разлук, провожаемый лаем собак
гастролёр-демиург с самодельною бомбой в зубах

открывай-ка, дружок, бестолковый словарь
на одной из последних, где ямб и январь
комментарии будут излишни
всё равно что окно растворил, а в окне
то ли медленный снег на дневном полотне
то ли это цветущие вишни

в общем, белым по белому начерно вкось
точно шарик теряет несущую ось
и становится беспозвоночным
не удержится бедный, а я не держу
я и сам, между прочим, иду по ножу
сделав ручкой чудовищам блочным

я и сам как бы взвешен и найден пустым
вместо ворота – ворон, скворешник – костыль
арлекин с валтасаровской рожей...

и летит биополем (замёрзшим, заметь)
на серебряном пони сестра моя Смерть
обволакивать брата порошей

КАМЕНЬ

Действительно, свечи каштанов
похожи на свечи, дружок.
И вечер, как очи шайтанов,
предательски ярок и жёлт.

А всё, что пыталось случиться,
вплывает в оконный проём.
И пеплом Клааса стучится
в двухкамерном сердце твоём.

И плачет оно, и трепещет,
и будто бы ходит внутри.
Сдавай на хранение вещи
и камеры плотно запри.

Запри, чтоб не вырвался вирус,
стремительный вирус стыда.
И ключик захватанный выбрось.
И не обольщайся, когда

придут бутафоры метафор
и вылепят ловкий пейзаж:
клубящийся облачный табор,
кашпаны, сносящие баш...

На Осипа бледной эмали,
под музыку в Летнем саду,
поймают тебя, как поймали
философа Сквороду,

нащупав пульсацию камер,
чтоб хлынуть в ближайшую щель...
Так пой же не дерево – камень,
а лучше не пой вообще.

СЕРГЕЙ КУЗНЕЧИХИН

Красноярск

ОБСЧИТАЮ КУКУШКУ

ОКРАИНА

Окраина. Козий горох. Подорожники.
А всё-таки город (над почтою – шпиль),
Но вот нападение шустрого дождика,
И в грязь превратилась пушистая пыль.
По ставням весёлою дробью ударило,
И дождик затих, а затем на реке
Пристал катерок и отправился далее,
К домам подошёл человек налегке.
Вдоль чёрного ряда штaketника мокрого,
Мостками промытыми до белизны,
Он медленно шёл, наблюдая за окнами,
Сутулясь от свежести и тишины.
Вдруг пёс шелудивый, а может, некормленный,
Лениво затыкал на стук каблуков,
И в лужу с поспешностью, слишком покорною,
Спустился он с чистых, но гулких мостков.



Потом замолчало животное глупое,
Утешась нехитрою властью своей,
А грязь под ногами вздыхала и хлюпала,
И редкие капли слетали с ветвей.
У дома с тремя молодыми берёзками
Он встал и, прокашлявшись, вытер усы,
Потом закурил и, светя папироскою,
Приподнял рукав и взглянул на часы.
И, вымыв ботинки с носками облезлыми,
Чтоб в дверь не стучать, он вошёл со двора....

Потом два сердечка, что в ставнях прорезаны,
Зажглись и не гасли уже до утра.

ОМУТ

Вода черна от глубины
И от безветрия прозрачна.
Под берег жмутся табуны
Мальков – наверное, внебрачных, –
Пугливы слишком. А ветла
К воде протягивает ветку,
Туда, где словно пиала,
Поставленная на салфетку,
Белеет лилия. Над ней
Висит стрекозье опахало...

И вдруг, как будто бы видней
И вместе с тем тревожней стало,
Луч солнца, высветивший дно,
Как бы играя злую шутку,
Напомнил, до чего темно
И холодно на дне, и жутко.

ПОСТОРОННИЙ

Это вам только кажется,
Что я волком гляжу.
И не надо куражиться –
Дайте дорасскажу.
Я не богом обиженный,
Налетел на беду...
Ну, случилось, но выжил ведь, –
Встал. И дальше иду.
Неуютна обочина,
А канава – мягка.
Если чуть скособочило
И согнуло слегка –
Что ж, прикажете, вешаться
После стыка с углом?
Только чешется, чешется
Там, где был перелом.
Мне казалось, что зажило,
Связки не развязать...



Да куда же?
Куда же вы?
Дайте дорассказать...

Сосредоточенные лица,
Глаза прямые, как штыки,
Усердно учатся молиться
Вчерашние еретики.

На незнакомые иконы
(Теперь уж божии рабы)
Взирают и кладут поклоны,
Но всё-таки жалеют лбы.

Спокойно, без былых истерик,
Уже седые и в очках,
Они и верят, и не верят,
Обжёгшись на своих божках.

И всё же учатся, потеют,
Не понимая до конца,
Что вымолить они сумеют
У нереального отца.

Чужая женщина желанна,
И на душе моей неладно,
Темно и зябко на душе.
Моей судьбе не угрожая,
Она – пожизненно чужая.
Так если б из папье-маше
Ученики её ваяли,
Тогда и на душе едва ли
Случился бы переполох.
Но чтобы завязалась драма,
Был для неё подобран мрамор
И скульптор, шельма, был, как Бог.

Покуда ходил я в начальную школу,
мне нравилась птица домашняя –
голубь.

Чуть позже, с мечтами о небе высоком,
понравилась птица красивая –
сокол.

А в пору слепой романтической печали
все звуки казались мне криками
чаек.



Потом уж, в кругу общежитьевских фей,
в душе у меня не смолкал
соловей.

Теперь от работы болит голова –
понятнее мудрая птица
сова.

А там, вдалеке, повезёт – так не скоро,
но знаю, что кружится где-то мой
ворон.

И всё-таки сил достаёт не робеть,
пока суетится внизу
воробей.

СЕРЫЙ ДЕНЬ

День, как большой домашний пёс,
Разлётся сыто и лениво.
Семейство сереньких берёз
Расположилось у залива.

Во мгле туманной пелены
Темнеет ствол трубы фабричной.
И мы так тихо влюблены
И так обыденно-привычны,

Спокойные, как этот день,
Мы кажемся сестрой и братом,
И некуда нам руки деть,
Как перед фотоаппаратом.

РАЙЦЕНТР

Всё готово для взрыва в берёзовых почках,
Чтобы щедро разбрызгать зелёную краску.
Большеглазая, юная мать-одиночка
По весенней распутице тащит коляску
По родному селу, что зовётся райцентром –
До больницы дорога вдоль школьной ограды –
Непутёвая девка по местным расценкам,
Обречённая на нездоровые взгляды,
Через грязь, через лужи с натугой бурлацкой,
От вопросов устав и устав от советов.
Ну, а ветер весенний настойчив и ласков,
И она улыбается шалому ветру.

И когда от глухих сантиментов
К беспросветной правде перейдёшь,
Хватит и десятка сантиметров
Пустоты – от пола до подошв.

Если жизнь – топорная работа,
 Значит и расчёты не сложны.
 Ну а для последнего полёта
 Человеку крылья не нужны.

НЕПОГОДА

Затяжные дожди по раскисшему тракту.
 Тучи встали в глухой непроглядной осаде, –
 Словно солнце сумели привлечь за растрату.
 Неужели не выкрутится
 И посадят?
 Вон и травы согнула тяжёлая сырость...
 Но склонился к земле и увидел волнушку.

Нижний сук на осине пока что не вырос,
 Есть надежда и я обчитаю кукушку.

Юрию Старцеву

Сфотографируй одуванчик.
 Успей запечатлеть его,
 Пока вон тот серьёзный мальчик
 Не сделал губы буквой «О».
 Сфотографируй самый здешний,
 Авось воспримут как намёк,
 Так благородно поседевший
 Безродный, в общем-то, цветок.
 Сфотографируй вместе с кучей
 Бесцельно вырытой земли
 И мальчика на всякий случай
 На фоне их запечатли.

«ЛИТМУЗЕЙ»

АНДРЕЙ КРАЕВСКИЙ

7 августа

ГИБЕЛЬ БОГОВ. Часть 1 Блок Александр Александрович 1880 – 1921 гг.

Среди множества эпических сказаний древности обращают на себя внимание те, что относятся к устному творчеству древних германо-скандинавов. И вот почему. В «Старшей Эдде» первая песня «Прорицание вэльвы» содержит описание мира сущего от его сотворения до гибели. Из повествования становится ясно, что новым богам, правящим миром (*асы*) во главе с Одним, открылось пророчество мёртвой пророчицы-колдуньи (*вэльвы*) о конце света (*Рагнарёк*), когда произойдёт последняя битва богов с чудовищами, боги погибнут вместе с миром, но мир возродится и уже без них. С этим знанием своей гибели боги и их вассалы-погибшие герои (*эйнкхерии*) существовали, не пытаясь предотвратить неизбежность гибели до самого конца света. И хотя они доблестно сражались в последней битве с силами мрака, создаётся впечатление, будто их целью была именно гибель, а не победа.

То, что идеалом древнегерманских воинов была героическая гибель в кровавой бойне, с последующим переносом в Асгард, мир богов, где во дворце Вальхалле их ожидали пиры с Одним – общеизвестно. Не трудно понять и то, что идеал воинов – своего рода калька с идеала богов (*асов*), потому как воины экстраполировали собственную этику на тех, кому поклонялись. Очень, кстати, похоже на отношения древних греков к своим героическим предшественникам и олимпийцам, которым тоже поклонялись. Но как-то самопроизвольно возникает ощущение, будто Рагнарёк – своеобразное очищение мира, погрязшего в грехе. И боги, заранее смирившиеся с предопределённостью, сознательно уходили из жизни вместе со своей вселенной, крутящейся вокруг Асгарда, чтобы освободить место для мира нового, в котором им места не будет из-за их чужеродности. И не потому ли так героически, но совершенно бессмысленно ушли в небытие боги во главе с Одним, что понимали: новый мир их не примет? А если и примет, то они в нём перестанут быть богами?

Представляется, что великий русский поэт Александр Александрович Блок в последние пятнадцать лет своей жизни тоже уверовал в некую предопределённость существования мира, в котором родился и неотъемлемой частью которого стал. И в то же время Блок с нетерпением ожидал приближение революции, в которой он видел силу, очищающую место для рождения нового мира, новой вселенной. Его стихи пронизаны уверенностью в неотвратимости катастрофы, долженствующей погубить мир, им воспетый. Мало того, что с 1914 года эта уверенность Блока стала передаваться и его окружению, изменился и стиль его поэтического творчества, что отмечалось и отмечается всеми специалистами по литературному наследию Блока:

*Увижу я, как будет погибать
Вселенная, моя отчизна.*

Блок прямо таки жаждал всеокупающей революции, говорил всем о её приближении. Его современники утверждают, что тема гибели мира в огне социального катаклизма стала для него навязчивой, он вслух говорил о приближающейся катастрофе прилюдно даже тогда, когда понимал и знал, что его не слушают. А началось всё с того, что в 1909 году поэт приступил к работе над поэмой «Возмездие», в которой собирался раскрыть перед читателем широкое полотно жизни российского общества XIX-XX веков на фоне судеб поколений его предков и неизбежное вырождение и гибель всего, бывшего дорогим ему. Как сказал Чуковский об этой поэме, слышанной им от автора в фрагментах (поэма так и осталась незаконченной) «Блок в могучих, но усталых стихах проклинает свою страшную предгрозовую эпоху».

*Двадцатый век... Ещё бездомней,
Ещё страшнее жизни мгла
(Ещё чернее и огромней
Тень Люциферова крыла).
Пожары дымные заката
(Пророчества о нашем дне),
Кометы грозной и хвостатой
Ужасный призрак в вышине,
Безжалостный конец Мессины
(Стихийных сил не превозмочь),
И неустанный рёв машины,
Крутоящей гибель день и ночь.*

После одного из предварительных чтений нескольких глав, Блок узнал о мнении коллег-символистов о своём произведении. Андрей Белый и Вячеслав Иванов, апологеты символизма, мнением которых Блок дорожил, были возмущены и негодовали. Своими нелицеприятными для Блока высказываниями об отходе поэта от канонов символизма Белый и Иванов привели Блока в подавленное состояние. Они резко и без прикрас обвинили продукт его поэтического и духовного творчества в богоотступничестве, результатом чего стали разложение, преступление и гибель. Блок положил рукопись в ящик стола и вернулся к ней лишь незадолго перед смертью в 1921 году. Но и тогда, через четыре года после ожидаемой им и свершившейся революции он смог только написать предисловие к поэме, в котором констатировал, что заканчивать поэму, «полную революционных предчувствия» нет смысла.

Блок так нетерпеливо ожидал революцию, начало новой жизни и приход «новых людей», что готов был пожертвовать для этого самым сокровенным, личным, частью своей сути – своими корнями, своим духовным миром, своим Парнасом – именем Шахматово. Он его с детства очень любил и, по воспоминаниям друзей, пригласил их туда, приговаривая: «Много места, жить удобно, тишина и благоухание». И когда «новые люди» вскоре после Октября 1917 года уничтожили и это «дворянское гнездо», Блок со счастливой улыбкой сказал Чуковскому: «Хорошо!». Примерно то же самое вспомнилось и Маяковскому в его слове на похоронах Блока. «Помню в первые дни революции проходил я мимо худой, согнутой солдатской фигуры, греющейся у разложенного перед Зимним костра. Меня окликнули. Это был Блок. Мы дошли до Детского подъезда. Спрашиваю: “Нравится?” – “Хорошо”, – сказал Блок, а потом прибавил: “У меня в деревне библиотеку сожгли”... Я слушал его в мае этого года в Москве: в полупустом зале, молчавшем кладбищем, он тихо и грустно читал старые строки о цыганском пении, о любви, о прекрасной даме – дальше дороги не было. Дальше смерть. И она пришла».

Трагедия интеллигенции – «сеять ветер» и гибнуть от бури, вызванной этим ветром. И трагедия не только русской интеллигенции. Стоит вспомнить Великую Французскую революцию и погнанных в ней интеллектуалов мирового уровня: Лавуазье и Кондорсе. Особенно Кондорсе, великого энциклопедиста, отдавшего жизнь за общество равных, поставленного якобинским Конвентом вне закона, брошенного в тюрьму и принявшего яд перед пилотинированием. А сам «Буревестник революции», разве его участь была лучше? Такой ли ему представлялся удел, когда воспламенял души революционных масс своим бунтарским призывом – «Пусть сильнее грянет буря!»? Печально, но приходится констатировать, что революция, как мифический Сатурн, пожирает собственных детей без отвращения. Что «новым людям» в новом мире непонятны и не нужны старые боги и их идолы, от которых они стремятся побыстрее избавиться. Блок первым из кумиров прошлого в полной мере испытал на себе эту горестную правду жизни.

Конечно, то, что поэт, как говорилось, «принял революцию», тешило сознание новым сильным мира. Он стал своего рода визитной карточкой, брендом государственной идеологии в границах культуры и литературы. Его ввели в бесчисленные комиссии, отделы, загрузили канцелярской работой, выхолщивавшей душу и обременяющей сознание суетой, не имеющей никакого отношения к творчеству. Блок взвыл: «Ужас! Неужели я не имею простого права писательского?». И бесконечные хождения по инстанциям в годы военного коммунизма, чтобы получить самое необходимое для существования, находящегося на грани вымирания. Продано было практически всё за бесценок, всё, что сопровождало его в прошлой жизни, в которой он стал и объективно почитался Великим Поэтом. Блок стал много пить. К новой жизни он оказался не готовым. Он на глазах у родных, близких, знакомых умирал.

Многим в это время приходили на память его строки, содержавшие некое пророчество.

*Пль на возлюбленной поляне
Под шелест осени седой
Мне тело в дождевом тумане
Расклевает корзину молодой?
Пль просто в час тоски беззвездной,
В каких-то четырёх стенах,
С необходимостью железной
Усну на белых простынях?*



В феврале 1921 года на вечере, посвящённом памяти Пушкина, Блок произнёс речь, в которой процитировал строку Александра Сергеевича: «На свете счастья нет, но есть покой и воля...». Зал в зимнее время не отапливался, был выстужен. Из ртов посетителей шёл густой пар: Анна Ахматова ёжилась, спутница Гумилёва дрожала, сам Блок держал от холода руки в карманах, что никогда не позволял себе при выступлениях. Внезапно, повернувшись к присутствовавшему здесь одному из советских бюрократов, курировавших литературу, Александр Александрович чеканно произнёс: «Покой и волю тоже отнимают. Не внешний покой, а творческий. Не ребяческую волю, не свободу либеральничать, а творческую волю – тайную свободу. И поэт умирает, потому что дышать ему уже нечем: жизнь для него потеряла смысл».

Предчувствуя приближение конца, Блок просил выдать ему выездную визу для лечения в санатории на территории Финляндии. Вопрос решался на Политбюро ЦК РКП (б). Ответ поэт получил отрицательный. Некоторые, не без оснований полагали, что решающую роль в негативном для поэта решении сыграли Ленин и Менжинский. Чуть позже Луначарский признавался, что «...мы в буквальном смысле слова, не отпуская поэта и не давая ему вместе с тем необходимых удовлетворительных условий, замучили его». 16 июля 1921 года Луначарский в письме близким написал. «Решение ЦК РКП (б) по поводу Блока кажется мне плодом недоразумения. Кто такой Блок? Поэт молодой, возбуждающий огромные надежды, вместе с Брюсовым и Горьким главное украшение нашей литературы. Человек, о котором “Таймс” недавно написала большую статью, называя его выдающимся поэтом России и указывая на то, что он признаёт и восхваляет Октябрьскую революцию. Блок заболел тяжёлой ипохондрией, и выезд его за границу признан врачами единственным средством спасти его от смерти. Но вы его не отпускаете. Могу заранее предсказать результат, который получится вследствие вашего решения. Блок умрёт недели через две, и тот факт, что мы уморим талантливейшего поэта России, не будет подлежать никакому сомнению и никакому опровержению».

23 июля 1921 года Политбюро ЦК РКП (б) всё-таки вынесло положительное решение на просьбу Блока о получении выездной визы. Но было поздно. Процесс стал необратимым: поэт перестал принимать лекарства, прописанные лечащим врачом. В полном сознании самый великий поэт России XX века скончался 7 августа 1921 года на белых простынях.

Как вспоминали современники Блока, он всю жизнь свою строил и сравнивал с жизнью русского поэта первой половины XIX века Аполлона Григорьева. Вот только одного года не дотянул до того рубежа, на котором не стало предмета его обожания.

Как намного позже воскликнул другой русский поэт, тоже жертва нового мира и «новых людей» Осип Мандельштам: «Мне на плечи кидается век-волкодав...». Предводитель асов Один был повержен волком Фенриром в битве чудовищами.

P. S. Известно, что исчезнувшие с лица Земли в историческую эпоху биологические виды лишь в меньшей части своей оказались истреблёнными прямым физическим воздействием на них человека. Большой частью они погибли за счёт уничтожения привычных им сред обитания, что стало следствием «прогрессивной» деятельности человечества. Представляется, что эта теория не противоречит той, что приведена в начале очерка.

25 августа.

ГИБЕЛЬ БОГОВ. Часть 2 Гумилёв Николай Степанович 1886 – 1921 гг.

Вот пример гибели другого, чуть было не вырвалось, бога, последовавшей вслед за предыдущей через три недели. Уже медленно и безвозвратно уходил из жизни Блок, но ещё дышал, говорил, всё осознавал; и теперь уже невозможно узнать: ему сообщили или нет, что 3 августа был арестован Николай Степанович Гумилёв, накануне собранием членов Петроградского отделения «Союза поэтов» избранный вместо Блока председателем? Мы этого не узнаем, как не узнаем реакции Александра Александровича на это сообщение. Однако оба поэта, первые тогда в России, оба председателя покинули этот мир в далеко не пожилом ещё возрасте и оба – не без участия в этом «новых людей», детей и носителей идей Нового Мира. Тот самый, эпический Рагнарёк продолжался, всё новые и новые жертвы пополняли список, уходящих за грань бытия, и некому было восполнить бреши в рядах погибающих носителей идей Старого Мира, его культуры и эстетики. Шло предсказанное уничтожение прежней культурной элиты «новыми людьми», чтобы создать собственную, новую элиту, враждебную прежней и совершенно с ней несовместимую. 25 августа у платформы Бернгардовка был расстрелян Николай Гумилёв.

Вот любопытный диалог, почерпнутый из советской классической драматургии:

«Комиссар (молодая женщина): Вы можете мне ответить прямо: как вы относитесь к нам, к советской власти?»

Командир (флотского экипажа): Пока спокойно. (Пауза). А зачем, собственно, вы меня спрашиваете? Вы же славитесь умением познавать тайны целых классов. Впрочем, это так просто. Достаточно перелистать нашу русскую литературу, и вы увидите.

Комиссар: Тех, кто “бунт на борту обнаружив, из-за пояса рвёт пистолет, так, что золото сыпется с кружев, с розоватых брабантских манжет”. Так?

Командир (задетый): Очень любопытно, что вы наизусть знаете Гумилёва».

«Оптимистическая трагедия» Всеволода Вишневского. Автор передёргивал. В начале пьесы Комиссар, выхватив пистолет, убивает матроса, пытавшегося её изнасиловать. Её, представительницу власти, что было расценено, как своего рода бунт. Иначе, видимо, Вишневский не мог отобразить свою классовую ненависть к меньшевизму, как определив всё меньшевистское в разряд гумилёвщины. Да, кстати, интересно, почему Вишневский именно Гумилёва помянул в процитированном диалоге? Ответ логичен: образ Комиссара списан с Ларисы Рейснер, к которой драматург испытывал горячее чувство, а её любовником совсем ещё недавно (действие пьесы разворачивается в 1917-1918 годах) был Николай Гумилёв. К 1933 году (завершение написания пьесы) окончательно обосновавшийся в разряде контрреволюционных литераторов.

Жизнь Николая Гумилёва – это перманентный вихрь меропрятий, путешествий, экспедиций, войн, любви, сражений и схваток, утверждение себя в жизни, в любви, в поэзии. И, конечно, стихи, стихи, стихи... В Николае Гумилёве причудливо сочетались ипостаси Байрона и Киплинга – «певца империализма», как порой называли его советские литературоведы. Читая его произведения, написанные в деревне под Бежецком, в блиндаже на позициях Первой Мировой войны, под звёздами Абиссинии или в петроградской квартире, трудно представить, что мужчина, автор этих строк, в детстве был болезненным мальчиком, мучившимся головными болями, из-за которых испытал серьёзные проблемы с получением образования. Но была в нём искра, никогда не угасавшая, возрождавшая огонь в душе, в котором, как в горниле, закалилась сталь его характера. Древняя восточная сталь, для производства которой к началу XX века сырья осталось только на одного, последнего авантюриста, преданного понятиям долг и верность.

Николай Степанович Гумилёв стал человеком редкой дисциплины, сосредоточенной воли и выдержки. Его друг, Евгений Замятин, автор известного романа антиутопии «Мы», полупуштя говорил о Гумилёве, что он представляет собою «смесь обезьяны с тигром». Правда, ничего подобного не смогли разглядеть в нём старшие коллеги по поэтическому цеху Зинаида Гиппиус и Валерий Брюсов, позиционирующие себя на его фоне, как недостижимые снежные вершины Гималаев. Вот, что написала Гиппиус в 1907 году Брюсову, делясь с ним впечатлениями о первой встрече с Николаем Гумилёвым: «О Валерий Яковлевич! Какая ведьма “сопрляла” вас с ним? Да видели ли вы его? Мы прямо пали... Двадцать лет, вид бледно-гнойный, сентенции старые, как шляпка вдовицы, едущей на Дорогомиловское (кладбище). Нюхает эфир (спохватился) и говорит, что он один может изменить мир: “До меня были попытки... Будда, Христос... Но неудачные». Столпы символизма в возрасте 34-38 лет быстро забыли, какими фантастическими проектами были заняты их головы в том возрасте, в котором к ним явился Гумилёв. Но они уже состоялись, были законодателями, а он...

Он хотел выделяться, не хотел походить на кого-то, а главное, не хотел, чтобы о нём говорили: «Это мы его сделали, всему научили...». Гумилёв делал себя сам и сам определял для себя ценности этой жизни. Трудно представить, чтобы у дуэльного барьера стоял бестрепетно Мережковский, Брюсов, Балтрушайтис или кто-то иной из основателей символизма; стоял и холодно смотрел в лицо смерти, выбрав сам для себя эту судьбу, эту жизнь, готовую вот-вот оборваться. А Гумилёв, этот «бледно-гнойный, едущий на кладбище (Дорогомиловское) с «гнилыми зубами», стоял, потому что кроме поэзии и себя в поэзии любил и ценил жизнь в её многообразии, в неожиданных и непредвиденных её формах и проявлениях живых и естественных. А не в символах, намёках, мистицизме, мистификациях, кабинетном космополитизме при полном отсутствии предметной любви и абсолютной непригодности к реалиям бытия. Кстати, одна из самых громких мистификаций, созданная в начале XX века, стала отправной точкой на пути Гумилёва к дуэльному барьеру.

В 1909 году в журнале «Аполлон» стали печататься стихи никому не известной поэтессы с красиво и таинственно звучащим именем Черубина де Габриак. Поэтическая братия вздрогнула от неожиданности: талант, бесспорный талант, и... проморгал?! Вскоре было обращено внимание на девиз, которым сопровождалась публикация «*Vae victis* (лат.) – Горе побеждённым», что указывало на амбициозность автора, стремившегося уничтожить без всякой жалости поверженных коллег по цеху. Имелось в виду, поверженных в творческом соревновании. И, надо признаться, у некоторых признанных столпов символизма поэзия Черубины вызвала рефлексии, чуть было не переросшие в комплекс неполноценности. Конечно, «грандама» символизма, хозяйка квартиры в доме Мурузи, «творившая культуру», провокаторша до кончиков ногтей, «сотрудница чужих писаний», признававшая стихи только в значении молитвы, руководившая всеми и в том числе своим мужем Дмитрием Мережковским, Зинаида Гиппиус (впоследствии Лилия Брик из кожи лезла вон, стараясь подражать Гиппиус, особенно в «жизни втроём») была холодна, как величественный айсберг в водах Северной Атлантики – равных себе она не видела даже в отдалённом будущем. Действительно, реакция её на стихи Черубины неизвестна до сих пор.

И только один человек, поэт Гумилёв был после раскрытия мистификации уязвлён настолько, что счёл невозможным оставить без наказания устроителя этого подлога. Устроителем был Максимилиан Волошин, а Черубиной де Габриак оказалась двадцатидвухлетняя поэтесса Елизавета Дмитриева, которой за полгода до этого Николай Гумилёв делал предложение руки и сердца. Но Елизавета отказала, так как в это время её режиссировал Волошин, готовя для скандальной публикации наивянные им её стихи. Гумилёв, посчитавший себя оскорблённым именно Волошиным (именно по инициативе Волошина Дмитриева отказала Гумилёву), спровоцировал дуэль. Вот как позже написал о ней сам Волошин.

«Мы встретились с ним в мастерской Головина в Марининском театре во время представления “Фау-



ста”. Головин в это время писал портреты поэтов, сотрудников “Аполлона”. В этот вечер я позировал. В мастерской было много народу, в том числе – Гумилёв. Я решил ему дать пощёчину по всем правилам дуэльного искусства, так как Гумилёв, большой специалист, сам учил меня в предыдущем году: сильно, кратко и неожиданно.

В огромной мастерской на полу были разосланы декорации к “Орфею”. Все были уже в сборе. Гумилёв стоял с Блоком на другом конце залы. Шаляпин снизу запел “Заклинание цветов”. Я решил дать ему кончить. Когда он кончил, я подошёл к Гумилёву, который разговаривал с Толстым, и дал ему пощёчину. В первый момент я сам ужасно опешил, а когда опомнился, услышал голос Иннокентия Анненского, который говорил: “Достоевский прав. Звук пощёчины – действительно мокрый”. Гумилёв отшатнулся от меня и сказал: “Ты мне за это ответишь” (мы с ним не были на “ты”). Мне хотелось сказать: “Николай Степанович, это не брудершафт”. Но я тут же сообразил, что это не вязалось с правилами дуэльного искусства, и у меня вырвался вопрос: “Вы поняли?” (то есть: поняли, за что?). Он ответил: “Понял”.

На другой день рано утром мы стрелялись за Новой Деревней возле Чёрной Речки если не той самой парой пистолетов, которой стрелялся Пушкин, то во всяком случае современной ему. Была мокрая, грязная весна, и моему секунданту Шервашидзе, который отмеривал нам 15 шагов по кочкам, пришлось очень плохо. Гумилёв промахнулся, у меня пистолет дал осечку. Он предложил мне стрелять ещё раз. Я выстрелил, боясь, по неумению своему стрелять, попасть в него. Не попал, и на этом наша дуэль закончилась. Секунданты предложили нам подать друг другу руки, но мы отказались.

Он (Гумилёв) смотрел в дуло пистолета, знал, что оттуда вылетит его смерть, он уже поймал фарт, и не мог не подумать о том, что с такой частотой судьба улыбается крайне редко, но, тем не менее, сам предложил повторить выстрел, чтобы уравнивать возможности обоих соперников. В итоге, в глазах символистов Волошин проявил гуманность, пощадив человека. По представлениям Гумилёва, он, предоставляя Волошину второй выстрел, таким образом избавился от комментариев в стиле «бледно-гнионому» повезло...

В возрасте сорока одного года Елизавета Ивановна Дмитриева (Черубина да Габриак) скончалась от рака печени в Ташкенте, куда её определила в ссылку Советская Власть за участие в антропософском обществе. После дуэли между Гумилёвым и Волошиным она написала много хороших литературных произведений как поэтических, так и прозаических, но Черубина де Габриак (просуществовала всего лишь полгода) осталась навсегда вершиной её творчества.

После дуэли с Волошиным Гумилёв не общался с ним двенадцать лет. Оба не стремились к сближению, но и не комментировали творчество друг друга. Складывалось представление, будто они друг для друга перестали существовать. Но, как выяснилось позже, это была абберрация желаемого для скандальных и заинтересованных в скандалах наблюдателей. На самом деле, и Гумилёв внимательно следил за творчеством Волошина, и Волошин – за творчеством Гумилёва. Просто свои личные отношения они не желали предавать гласности, тем более через бульварную прессу, для которой скандалы и предосудительные поступки – воздух для существования. В 1921 году они, наконец, встретились в Крыму, недолго общались без свидетелей и расстались, чтобы никогда уже не увидеться на этом свете. В том же 1921 году Гумилёв был расстрелян петроградскими чекистами, в Волошин умер в 1932 году от повторного инсульта.

В 1910 году в жизни Николая Гумилёва произошли два важных события. Вышел сборник его произведений «Жемчуга», где была напечатана его стихотворение «Капитаны».

*На полярных морях и на южных,
По изгибам зелёных зыбей,
Меж базальтовых скал и жемчужных
Шелестят паруса кораблей.*

*Быстрокрылых ведут капитаны,
Открыватели новых земель,
Для кого не страшны ураганы,
Кто отведал мальстрёммы и мель.*

*Чья не пылью затерянных хартий, –
Солью моря пропитана грудь,
Кто иглой на разорванной карте
Отмечает свой дерзостный путь.*

*И взойдя на трепещущий мостик,
Вспоминает покинутый порт,
Отряхая ударами трости
Ключья пены с высоких ботфорт.*

*Или, бунт на борту обнаружив,
Из-за пояса рвёт пистолет,
Так что сытется золото с кружев,
С розовых брабантских манжет.*

*Пусть безумствует море и хлещет,
Гребни волн поднялись в небеса, —
Ни один пред грозой не трепещет,
Ни один не свернёт паруса.*

*Разве трусам даны эти руки,
Этот острый, уверенный взгляд,
Что умеет на вражьи фелюги
Неожиданно бросить фрегат,*

*Меткой пулей, острой железной
Настигать исполинских китов
И приметить в ночи многозвездной
Охранительный свет маяков?*

Очень знаковое стихотворение. Почти как закон поведения для Гумилёва, до конца своих дней так или иначе придерживавшегося этики, изложенной им в Коктебеле в 1909 году, когда получил отказ от Елены Дмитриевой. Именно тогда, переживая личное поражение, он написал эти строки. После публикации Брюсов, Иннокентий Анненский и Вячеслав Иванов отметили «Капитанов» похвалой, не забыв добавить дёгтя в слова, что «сладчайшие мёда лились», назвав весь сборник «ещё ученической книгой». Но Гумилёв уже вынашивал планы создания иного, не символического направления в литературе и мнение символистов его не особенно задевал. Он стал зрелым мастером и чувствовал в себе силы двигаться собственной стезёй, выбранной им и соответствующей его творческому темпераменту. Он давно уже тяготился символизмом, ему не хватало жизненной масштабности в творчестве, естественной, а не придуманной или двусмысленно спрятанной за неживыми символами. Гумилёв возмужал и женился.

25 апреля 1910 года в предместье Киева в селе Никольская слободка Николай Гумилёв обвенчался с Анной Андреевной Горенко, ставшей его женой, а чуть позже вошедшей в историю мировой поэзии под именем Анны Ахматовой. Шесть с половиной лет прошло с тех пор, как семнадцатилетний Николай Гумилёв, тогдашний гимназист, впервые увидел в Царском селе и познакомился с четырнадцатилетней гимназисткой Аней Горенко. Николай в неё влюбился мгновенно. Но прошло шесть лет, наполненных всем, чем угодно, но ещё и тремя её отказами на его предложения руки и сердца, тремя попытками самоубийства от несчастной любви, экспедицией в Левант, поездкой в Европу, ещё одной экспедицией, на этот раз в Абиссинию, прежде чем Гумилёв понял: надо менять тактику. И он заявил Анне, дававшей ему отрицательные, но не безнадежные ответы, что в ближайшее время женится на девушке, горячо его любящей. Положительный ответ был получен мгновенно, после чего в Никольской слободке состоялось венчание. Николай давно уже знал, что Аня пишет стихи, с некоторыми из них она его знакомила. Мнение Гумилёва о поэтических способностях Анны были, что называется, «падающими её самолюбие».

Символизм к этому времени переживал кризис, и Гумилёв, одним из первых почувствовавший это, основывает «Цех поэтов», предтечу специфического направления в отечественной поэзии акмеизм. Гумилёв собрал вокруг себя когорту единомышленников, с примерно таким же, как у него мировосприятием. В «Цех поэтов» вошли Анна Ахматова, Осип Мандельштам, Владимир Нарбут, Елизавета Кузьмина-Караваева, прославившаяся в последствие как «мать Мария» и Сергей Городецкий. На первое заседание «цеховиков» пригласили «воинствующего символиста» Владимира Пяста и Александра Блока с женой, Любовью Дмитриевной. Блок, которому в то время едва перевалило за тридцать, оставил об этом собрании следующее воспоминание. «Безалаберный и милый вечер... Молодёжь. Анна Ахматова. Разговор с Н.С. Гумилёвым и его хорошие стихи... Было весело и просто. С молодыми добреешь». Как же рано он почувствовал себя старым... Или мэтром...

Уже в следующем, 1912 году Николай Степанович заявляет о формировании в русской поэзии нового стилистического направления — акмеизма. Члены «Цеха поэтов» создают основу нового направления. Они провозглашают, что фундаментальными основами акмеизма являются материальность, предметность тематики и образов, точность слова. Разница с символизмом полярная. Акмеисты открывают своё собственное издательство «Гиперборей» и одноимённый ему журнал. Очень серьёзная позиция, если считать, что символисты сами кризиса своего направления не уловили. Или не хотели признаться в том, что уловили, но делали вид, будто ничего не происходит. Но появление акмеизма вызвало в их среде бурную реакцию. Как же, школяры покинули наставников и выбрали свой путь... Правда, такое отношение к акмеизму насаждалось тогдашними ортодоксами символизма Гишпиус, Брюсовым. Не всеми. Блок, например, был достаточно комплиментарен, как сказал бы Лев Гумилёв, родившийся в поэтической семье в том же 1912 году 1 октября.

Николай Степанович поступает слушателем в Петербургский университет для изучения старофранцузской поэзии на историко-филологическом отделении. Издаёт поэтический сборник «Чужое небо», в котором помещает свою поэму «Открытие Америки». Таким образом, до начала Первой Мировой войны, на которую Николай Гумилёв пошёл добровольцем, его семье оставалось полтора года мирной, чуть было не оговорился, счастливой жизни. А были ли счастливы в браке Николай и Анна? На этот вопрос нет однозначного ответа. Несмотря на то, что Анна Андреевна всю последующую тяжелейшую свою жизнь



никогда не скрывала, что никого из мужчин не любила так, как Николая Гумилёва, а он, знавший успех у большого числа женщин и любивший быть успешным на этом поприще, словно пытаясь найти ту, что заменит ему Анну Андреевну, после развода с Ахматовой вторично женился на... Анне Энгельгард, племяннице Бальмонта, называя её не то в шутку, не то с горькой иронией «Анна П». Но разницу между ними в пользу первой никогда не скрывал.

Уже говорилось, что Гумилёв не раз путешествовал по странам Востока, не в географическом понимании Востока, а в цивилизационном. Был в Турции, Ливане, Египте и дважды в Абиссинии. Из последнего путешествия привёз богатейшую коллекцию, которую передал в музей Этнографии. Анна до свадьбы несколько раз и подолгу пребывала в ожидании возвращения из дальних странствий своего потенциального жениха. Она не сомневалась, что и после свадьбы (если даст ему согласие на брак) образ жизни Николая не изменится, Гумилёв был верен однажды принятым воззрениям и обязательствам: стремление к экзотике и ярким приключениям были для него первичны, а брак – вторичен. Вот почему Анна долго колебалась: она подозревала, что приоритеты Николая не изменятся ни после брака, ни после рождения детей. Предчувствия ей не изменили. Николай ничуть не изменился, и черты, преобладавшие в его жизненном поведении, оставались столь же рельефными, что и прежде: любовь к экзотике, романтика подвига, воля к жизни и творчеству. Он был готов практически служить в юности выбранному идеалу, чем радикально отличался от большинства поэтов того времени, тем более, от поэтесс. И, надо признаться, довольно скептически относился к литературным опытам своей жены.

Как только началась Первая Мировая война, Николай Гумилёв сразу же отправился на фронт добровольцем. Снова разлука с любимой женщиной, сыном, семьёй, снова подвиги, кровь, стихи, стихи, стихи...

Уход Гумилёва на войну понятен: не только он – сотни тысяч русских людей уходили добровольно на войну защищать родину от германцев. Но среди его круга людей он был, пожалуй, единственным (если не считать Бенедикта Лившица), кто так поступил согласно убеждениям. Другие поэты призывного возраста всячески увиливали от призыва, ссылаясь на болезни (как Маяковский), или прикрываясь политической или нравственной позицией по отношению к империалистической войне (как Волошин, отправивший военному министру Сухомлинову письменный отказ от военной службы и участия в «кровавой бойне»). Для Гумилёва война, конечно, тоже была бойней, но... она ещё и была своего рода его служением тем идеалам, которым он не изменял. Будучи от рождения болезненным, наделённым не лучшей внешностью, Гумилёв сознательно старался победить свою слабость, непривлекательность; проявив железную волю, он достиг желаемого. К тому же, проявив лидерские качества, стал бесспорным лидером, чего не отрицали даже его недоброжелатели.

Но хотелось бы вернуться к путешествиям по Востоку. Гумилёв их совершил три и все вдалеке от границ России. Путешествия были длительными, во многих случаях маршруты проходили по местам, где до Гумилёва не ступала нога европейца. Абиссиния и сопредельные с нею страны тогда для русских представлялись terra incognita. И Гумилёв именно туда отправился, как сказали бы сейчас, попутешествовать. Имея в виду приятно провести время с некоторой долей риска. Может быть и так, но кто-нибудь задавался вопросом: а во что обошлись Гумилёву эти его путешествия, человеку не богатому, не имеющего ко всему прочему постоянного дохода в виде ренты, живущего в основном на авторские гонорары? Или смоленский помещик Николай Пржевальский тоже на свои деньги устраивал длительные экспедиции в Центральной Азии, движимый исключительно желанием познать ранее неизвестное?

Вот небольшой список прославленных российских путешественников XIX – начала XX века:

Чохан Валиханов – штаб-ротмистр.

Владимир Арсеньев – полковник.

Пётр Козлов – полковник.

Фёдор Литке – адмирал.

Фридрих Врангель – адмирал.

Николай Пржевальский – генерал.

Нетрудно догадаться, кто субсидировал экспедиции Гумилёва и какую функцию выполнял Николай Степанович в недрах Восточной Африки, недалеко от полуострова Африканский Рог. Полуостров имел колоссальное мировое геополитическое значение, поскольку владеющий им, контролировал самый богатый товарооборот в мире, проходивший через Суэцкий канал и Баб-эль-Мандебский пролив. К этому региону жадно тянули свои руки империалисты Англии, Италии и Франции. Заканчивался делёж колониального пирога, а Россия не успела за последней порцией. Она потеряла время, надеясь, что такой авантюрист, аферист и прохиндей, как «вольный казак» Апинов, сможет малой кровью и при небольших расходах за правительство решить геополитическую задачу: русские в Абиссинии!

Ладно, могут возразить, мол, все эти перечисленные мною путешественники были профессиональными военными и служили в разведке исключительно по долгу службы и присяги. Валиханов, Арсеньев, Козлов и Пржевальский относились именно к военным разведчикам, исследуя возможные плацдармы будущих военных действий, возможности туземных коммуникаций, особенности климата и рельефа. Но Гумилёв – он до начала Первой Мировой был сугубо штатским человеком, получившим гуманитарное образование, не имевшим чинов и званий. Но разве чтобы заниматься разведывательной деятельностью обязательно принадлежать к военному или морскому ведомству? Вот, например, Григорий Грумм-Гржимайло или Никита Бичурин (отец Иакинф) – особенно это касается второго. Когда в 1807 году отец Иакинф был назначен главой духовной миссии в Китай, он получил инструкции от Святейшего

Синода и министерства иностранных дел, в которых говорилось, что главной задачей миссии становится неофициальное дипломатическое представительство России в Китае. В функции отца Иакинфа входила разведывательная деятельность, сбор сведений политического, торгово-экономического и военного характера. Он должен был вступить в контакт с католическими миссионерами и представить подробную информацию о деятельности в Китае иезуитского ордена. Теперь вопрос о средствах.

Отец Иакинф получал доступ к средствам миссии на шесть лет вперёд. Примерно 6 500 рублей на каждый год. Деньги были выданы в серебряных слитках 94-ой пробы из расчёта стоимости пуда серебра в 1 000 рублей. По указанию Синода все члены миссии получили сверх того субсидию: архимандрит (о. Иакинф) – 750 рублей, монахи и студенты – по 200 рублей, причётники – по 150 рублей. Вот и ответ на вопрос о средствах на экспедицию разведывательного характера. Но, главное, в большинстве перечисленных случаев интересы государства совпадали с интересами или складом характера путешественников. Например, Пржевальский, ощущавший себя полноценным человеком, носителем разума только в экспедициях. Городская жизнь или помещичье существование его доводило до состояния тяжёлой депрессии, убивало. Вот несколько крылатых выражений, характеризующих миропонимание путешественника, автором которых был Пржевальский.

«В сущности путешественникам надо родиться».

«У путешественника нет памяти» (все наблюдения следует регистрировать в дневнике).

«Путешествия потеряли бы половину своей прелести, если бы о них нельзя было рассказать».

«А ещё мир прекрасен потому, что можно путешествовать!»

Под каждым из этих изречений Николай Степанович Гумилёв мог бы расписаться не глядя. Потому что он сам и его жизнь абсолютно соответствовали экспрессии и содержанию этих «пржевальских постулатов».

Но почему именно Абиссиния? История отношений России с Абиссинией (теперешняя Эфиопия) в конце XIX века столь же непонятна, как и человек, немало сделавший, чтобы эти отношения запутать окончательно. Звали этого человека Николай Иванович Апинов и он представлялся атаманом «вольных казаков». Это был авантюрист, аферист, мистификатор и, как определил бы его Лев Николаевич Гумилёв «ярко выраженный пассивист». Начнём с того, что Николай Иванович никогда казаком не был. Он к сословию и к казачьим войскам не принадлежал. Он был – Хлестаков! Он так просто и откровенно грубо врал о себе и своих деяниях, что образованные и интеллигентные люди в обеих столицах не могли себе позволить усомниться в его словах. Его ложь, напор, с которым он безостановочно фантазировал и тиражировал свои рассказы о заморских странах, имели успех по той причине, что падали на благодатную почву: со сменой императора в 1881 году Россия стояла перед выбором – какое направление во внешней политике выбрать – восточное или южное? Реалисты, ратовавшие за экономическую и промышленную модернизацию России по европейскому образцу, лоббировали восточное направление. Консерваторы, отстаивавшие ценности православия и славянофилов – за южное. Именно с последними Апинов быстро нашёл общий язык и понимание.

Сначала Николай Иванович Апинов пытался заинтересовать русское правительство идеей заселения черноморского побережья Турции вольными казаками, в чём им оказали бы на местах поддержку потомки некрасовских казаков, живших там с середины XVIII века и постоянно испытывавших стеснение от турецких властей. Эта авантюра нашла поддержку у редактора и издателя «Московских Ведомостей» Михаила Каткова, известного идеолога «правых», государственника, державника, соратника и друга обер-прокурора Святейшего Синода Константина Петровича Победоносцева. Для апиновской авантюры по определению на поселение «сотен тысяч вольных казаков» требовались деньги и правительственные санкции, то есть утверждение этого проекта самим Александром III. Но, невзирая на авторитет Победоносцева, лоббирующего апиновскую авантюру, император больше склонялся к восточному направлению во внешней политике, не чреватую серьёзными столкновениями с интересами великих европейских держав, более перспективному, отвечающему вековому духу континентального империализма России. Создаётся впечатление, будто Александр III, приверженец бытовой логики, никак не мог взять в толк, кто такие «вольные казаки», не относившиеся ни к одному из двенадцати казачьих войск. К тому же в таком огромном количестве.

Не получив необходимых на его авантюру средств от правительства, Апинов внезапно исчез из поля зрения столичных чиновников и падких до сенсаций обывателей. Через некоторое время в «Московских Ведомостях» начали печататься репортажи о его подвигах в... Абиссинии, куда «атаман» перенёс свои усилия по созданию русской казацкой колонии на территории проживания «братского православного народа (совсем не православного, к слову сказать), теснимого разного рода иноверцами». В разгар шумихи, наделанной катковскими публикациями о подвигах «вольных казаков», в Санкт-Петербурге появился и сам герой, Николай Апинов, привезший в дар царю от императора Абиссинии... страуса! И настаивающий на аудиенции у августейшей особы, как посланник абиссинского монарха! Полномочий своих он подтвердить не мог, поэтому за дело взялись его высокие покровители. Вот, что писал о психозе, царившем вокруг Апинова в петербургских высших кругах современник, выдающийся русский писатель Николай Лесков.

«Катков... втёр его в рука, любясь его весьма замечательными невежествами, какие он производил с безрассудством дикаря или скверно воспитанного ребёнка. ...уже до того развернулся, что стал ходить в любые часы к министрам и настойчиво добиваться свидания с ними, поднимая при отказе шум и крик. Некоторым из них он наговорил в глаза больших дерзостей в их приёмных. Одного сановника он схватил



за пальто в вестибюле его служебной квартиры, и тот наслу от него вырвался, покинув в руках его своё верхнее платье. Атаман желал получить государственную поддержку, оружие и деньги для занятия обширных земель на берегу Индийского океана, куда теперь якобы устремились все сотни тысяч его «казаков».

Характерная деталь: в 1887 году на похоронах своего благодетеля Каткова, Ашинов эпатировал публику, мягко говоря, не совсем адекватным церемонии поведением. На свежую могилу он возложил веночек с надписью «От вольного казачества». Сам веночек был сооружён из страусовых перьев. Газеты того времени ёрничали в адрес «атамана», утверждая, что материалом для венка послужило оперение того самого страуса, которого Ашинов, якобы, привёз в дар царю из Абиссинии, которого самолично опцинал, после того, как тот издох, узнав о смерти Каткова.

Об организации Черноморского казачьего Войска теперь речь не только не шла, но и сам Ашинов об этом, видимо, успел позабыть по причине бесперспективности, незаинтересованности правительственных кругов и отсутствия финансирования. Несколько лет прошло в обработке общественности и правительственного аппарата, а также самого царя, что осуществлял уже сам Победоносцев. Наконец, дело сдвинулось с мёртвой точки, Александр III дал отмашку, и Ашинов, успевший жениться на богатой помещице, отбыл в Одессу, где погрузив на пароход свою ватагу, необходимые грузы и себя с сунругой, 10 декабря 1888 года отбыл в южном направлении. Целью экспедиции было создание южнее Баб-эль-Мандебского пролива, на побережье Аденского залива, в западной его части (Таджурский залив) казачьего поселения «Новая Москва», со временем ставшей бы военно-морской базой России в Индийском океане.

Собственно говоря, официальное участие русского правительства в этой авантюре ограничилось отправкой в Абиссинию духовной миссии во главе с архимандритом Паисием, а функция Ашинова и его «вольных казаков» заключалась в охране этой миссии. Недоверчивый к этой затее Александр III, ничем не рискуя, бросил пробный шар; а вдруг? Обращает на себя внимание тот факт, что «вольных казаков» Ашинову удалось привлечь к этой экспедиции не более двадцати – остальные были добровольцами из разночинцев и уголовников – «голю перекатной» из одесских притонов, скрывавшейся от правосудия и надеявшейся «погулять»... Всего «вольных казаков» набралось 150, а не 150 000, как декларировал Ашинов. Это разношёрстная ватага, никогда не знавшая, что такое дисциплина, наделала много шума и неприятностей в местах пересадок на пароходы: в Стамбуле, в Александрии, в Порт-Саиде. Всюду от них власти старались побыстрее избавиться, как от холеры, ставя непроходимые кордоны и выпроваживая скорее вон. На месте, у развалин древней египетской крепости Сагалло, Ашинов, действительно, основал поселение «Новая Москва» из прибывших с ним искателей приключений, была воздвигнута палаточная церковь, поднят императорский флаг, высажены привезённые из России черенки плодовых деревьев и огородные культуры. Но одесские «добровольцы», никогда не занимавшиеся созидательным трудом и не знавшие, что такое дисциплина, быстро дезертировали, прихватив часть имущества колонистов, в сторону французской колонии Обок, где и рассказали властям о планах Ашинова и якобы поддерживавшего его русского правительства. В начале февраля 1889 года французская эскадра вошла в Таджурский залив и обстреляла наглых колонизаторов из России. Ашинов поднял белый флаг (натальную рубаху) и сдался со всей своей ватагой. Таким образом, колония «Новая Москва» просуществовала ровно месяц.

Был страшный скандал, особенно, если учесть изначально отрицательное отношение царя Александра III к этой авантюре. Начались поиски «крайнего». Испытали на себе царский гнев и министр иностранных дел Гирс, и военный министр Шестаков, и нижегородский генерал-губернатор Баранов. Только Победоносцев не удостоился нагоняя от царствующей особы. Ашинов был сослан в какую-то глубинку (откуда он, впрочем, вскоре перебрался за границу), а следы архимандрита Паисия вообще невозможно проследить. Казалось бы, Ашинов отстаивал в Таджурском заливе государственные интересы, а архимандрит Паисий занимался богоугодным делом – миссионерством. Но вот, что сказал о них обоих Александр III за несколько дней до бомбардировки французами колонии «Новая Москва». 2 февраля 1889 года на заседании российского министерства иностранных дел он высказался о событиях на западном побережье Индийского океана более чем откровенно. «Непреренно надо скорее убрать этого скота Ашинова оттуда, и мне кажется, что и духовная миссия Паисия так плохо составлена и из таких личностей, что нежелательно его слишком поддерживать; он только компрометирует нас, и стыдно будет нам за его деятельность».

В результате авантюры Ашинова только что созданный военно-политический союз между Россией и Францией дал трещину, потому что Франция не без оснований считала своим африканское побережье Аденского залива. Русским пришлось надолго забыть о своём присутствии в этом регионе. Государь император был осторожен в отношении этого сомнительного предприятия и в результате почти ничем не поплатился. Ведь официально государство к предприятию Ашинова не имело никакого отношения. А то, что Ашинов организовал, не могло закончиться иначе. Разве только ещё хуже. Вот, что написал уже по прибытию в Россию один из участников авантюры Николаев: «Я часто задумывался над вопросом: что собрало эту толпу? За исключением человек тридцати людей интеллигентных и отставных солдат, которые поступали более или менее сознательно и которыми руководили хорошие намерения, вся остальная масса состояла из людей без роду и без племени, не привязанных ни к родине, ни к месту, без всяких почти нравственных принципов, самых отчаянных авантюристов. Все они лелеяли мысль о лёгком обогащении и о том, что, придя в Африку, они найдут там чуть ли не кисельные берега с молочными реками... В самом составе экспедиции зародыш её будущей гибели: участники её, привыкшие по прежней своей деятельности никому не подчиняться, ни перед чем не задумываться, при первой же неудаче перессорятся между собой, а, пожалуй, перережуются».

На международной арене Россия отделалась лёгким испугом, а Александр III окончательно убедился в бесперспективности южного направления внешней политики. Со временем две экспедиции Ашпинова в Абиссинию в 1883 и в 1889 году были забыты. А вот восточное направление интенсивно развивалось, о чём говорит один поимённый список «путешественников» (фактически – российских разведчиков), работавших на этом направлении:

Чохан Валиханов

Николай Пржевальский

Николай Крюков

Григорий Грум-Гржимайло

Владимир Арсеньев

Пётр Бадмаев

Гомбожаб Цыбиков

Интерес к Абиссинии возродился в России сразу после гибели 2-ой Тихоокеанской эскадры вице-адмирала Рожественского в Цусимском бою. Остро встала проблема обеспечения флота топливом и водой во время плаваний вдалеке от родных берегов. Тем более, что часть эскадры добиралась в Японию из Санкт-Петербурга не вокруг Африки, а через Суэцкий канал. А где ещё запрапляться перед входом в основную акваторию Индийского океана, пройдя Красное море, как не в Аденском заливе? Тут и вспомнилась эпопея двадцатисемилетней давности, когда закончилась международным скандалом авантюра Ашпинова. За прошедшее время достоверных сведений о суверенной Абиссинии и возможности наладить с нею выгодные дружественные отношения не прибавилось. Главы трёх ведомств: Иностранного, Военного и Морского, озадачились проблемой сбора достоверной информации, поскольку было ясно – верить врачам Ашпинова нельзя! Так в 1909 году Николай Степанович Гумилёв в первый раз отправился в Абиссинию. А в 1910 – во второй.

Нам неизвестно, сделало ли российское правительство конструктивные выводы из отчётов Гумилёва, стало ли оно готовиться к созданию военных и перевалочных баз в Индийском океане? Вскоре началась Первая Мировая война, и многое, что планировалось до неё или откладывалось на период после её окончания, никогда реализовано не было. Революции 1917 года, смена власти, смена элит и государственных приоритетов стёрли из народной памяти всё, связанное с Абиссинией. А у большинства тех, «кто был никем», и вдруг «стал всем», даже ничего стирать не пришлось – они об этом и так не знали! Но Николай Степанович был сделан из того материала, из которого состоят путешественники. Этот материал характеризуется четырьмя свойствами, обозначенными ещё Пржевальским. Во-первых, Гумилёв родился путешественником. Во-вторых, он постоянно вёл дневники. В-третьих, Гумилёв писал стихи, бывшие лучше любого рассказа о самом путешествии. И в-четвёртых, он всегда отправлялся в путешествия, если находил возможность, отчего полагал мир прекрасным.

*Между берегом буйного Красного Моря
И Суданским таинственным лесом видна,
Разметавшись среди четырёх плоскогорий,
С отдыхающей львицей схожа, страна.*

*Север – это болота без дна и без края,
Змеи чёрные подступы к ним стерегут,
Их сестёр-лихорадок зловеющая стая,
Желтолицая, здесь обрела свой приют.*

*А над ними напустились мрачные горы,
Вековая обитель разбой, Тигрз,
Где оскалены бездны, взьерошены боры
И вершины стоят в вековом серебре.*

*В плодотворной Амхаре и сеют и косят,
Зебры любят мешаться в домашний табун,
И под вечер прохладные ветры разносят
Звуки песен гортанных и рокота струн.*

*Абиссинец поёт и рыдает багана,
Воскрешая мигнувшее, полное чар;
Было время, когда перед озером Тана
Королевской столицей взносился Гондар.*

*Под платанами спорил о Боге учёный,
Вдруг пленяя толпу благозвучным стихом,
Живописцы писали царя Соломона
Меж царицею Савской и ласковым львом.*



*И я вижу, как знойное солнце пылает,
Леопард, изогнувшись, ползёт на врага,
И как в хижине дымной меня поджидает
Для весёлой охоты мой старый слуга.*

Николай Степанович Гумилёв счастливо соединил второе качество материала с третьим: его стихи – одновременно и дневник путешественника, и его рассказ о путешествии. Стоит ли говорить, что цикл стихов «Абиссинские песни», помещённый Гумилёвым в авторский сборник «Чужое небо» имел у читателей огромный успех. Его стихам верили сразу и больше, чем той галиматье, что выливал водопадами на слушателей «вольный казак» Апинов, метеор, пролетевший и сгоревший в плотных слоях бульварной литературы. В 70-ые годы XX века из-под пера тогдашнего «историка обывателей», «знавшего всё», Валентина Пикуля вышла короткая миниатюра «Вольный казак Апинов», ставшая своего рода гимном народному герою, широта политического кругозора и масштабность свершений которого оказались невостребованными в царской России, отравленной аристократической спесью и великодержавным шовинизмом. Теперь, когда доступно большинство источников, читать «историю от Пикуля» стало особенно неприятно.

Война... Уже говорилось, что Гумилёв радикально отличался от остальной поэтической богемной братии, добровольцем уйдя на войну с Германией. Его зачислили вольноопределяющимся в Лейб-Гвардии Уланский полк. Уже в первом сражении на территории Польши, в ноябре 1914 года Гумилёв за участие в ночной разведке был награждён Георгиевским крестом 4-ой степени и произведён в ефрейторы. А уже в январе Гумилёв был произведён в унтер-офицеры. Два с половиной года – сплошные бои, вылазки, разведывательные поиски, ранения и болезни. Месяц Николай Степанович лечился в Петрограде от сильнейшей простуды, но в апреле 1915 года вновь в строю. До июня на фронте активных боевых действий не велось, но Гумилёв ежедневно ходил в разведку, пока командование не перевело полк на Вольню, где гвардейские уланы попали в настоящую мясорубку. Самый трагический военный год 1915 для русской армии Гумилёв вынес стойко и достойно.

В июле 1915 года противник перешёл в решительное наступление. Но отсутствие необходимого количества русской пехоты обрекало лёгкую кавалерию (улан) на полное уничтожение. Тем не менее, уланы спешили и успешно сдерживали позиции до подхода маршевых рот. Сослуживцы Гумилёва проявили чудеса героизма и мужества. В руки неприятелю не попало ни одного пулемёта. При уходе с позиций, Гумилёв один пулемёт спас лично, вынеся его на своих плечах. За этот подвиг Николай Степанович был награждён Георгиевским крестом 3-ей степени, чем очень гордился. Ещё через год Гумилёв был награждён орденом Святого Станислава с мечами и бантом. Но награду получить ему не удалось. Анна Андреевна, как представляется по её реакции, была противницей участия мужа в войне и его патетического отношения к схваткам. В письме, предназначенном для трёхлетнего сына Льва, она не без сарказма прокомментировала подвиг Николая Степановича:

*Долетают редко вести
К нашему фрыльчу.
Подарили белый крестик
Твоему отцу.*

С сентября 1915 по апрель 1916 года Гумилёв был в тылу, навещал друзей, мать, семью, отношения в которой становились напряжёнными день ото дня. Фактически супруги настолько отделились друг от друга, что дело оставалось за малым: официально развестись. Но на это времени у них не хватило. В марте 1916 года Гумилёв был произведён в прапорщики, а в апреле переведён в гусарский полк, дислоцировавшийся в районе Двинска. С небольшими перерывами на лечение (в основном, простудных заболеваний) Николай Гумилёв находился на передовой до января 1917 года. Некоторые наблюдатели стали замечать, что Гумилёв несколько тяготится участием в позиционной войне; он стремился туда, где бои не прекращались. То ли он искал смерти, то ли острых ощущений. Но получилось так, что он добился перевода в русский экспедиционный корпус во Францию, чтобы оттуда попасть на Салоникский фронт. Во Францию он добирался через северные страны Скандинавии и Англию. В Лондоне Гумилёв свёл знакомство с местной литературной элитой, в том числе с Честертоном. Автор рассказов о частном детективе патере Брауне заметил такую черту натуры Гумилёва, которая, как он полагал, присуща большинству русских людей – способность к пренебрежению социальными запретами и нормами здравого смысла. А ещё Честертон подметил в Гумилёве внутреннюю потребность в проекции жизнотворчества из плана индивидуальной судьбы в перспективу социальной утопии. Оставшиеся в распоряжении Гумилёва четыре года жизни показали, насколько прав был его английский коллега.

В Париже, где Николай Степанович проходил службу в должности адъютанта комиссара Временного правительства, он располагал достаточным временем, чтобы завязать дружбу с жившими там русскими художниками Михаилом Ларионовым и «амазонкой русского авангарда» Натальей Гончаровой. Но не она, а Елена де Буше, дочь известного хирурга, вскружила голову поэту (что сделать было совсем не трудно), и он посвятил ей свой сборник стихов «К Синей звезде», многими литературоведами считающийся вершиной любовной лирики Николая Гумилёва.

Я И ВЫ

*Да, я знаю, я вам не пара,
Я пришёл из иной страны,
И мне нравится не гитара,
А дикарский напев зурны.*

*Не по залам и по салонам
Тёмным платьям и пиджакам –
Я читаю стихи драконам,
Водопадам и облакам.*

*Я люблю – как араб в пустыне
Припадает к воде и пьёт,
А не рыцарем на картине,
Что на звезды смотрит и ждёт.*

*И умру я не на постели,
При нотариусе и враче,
А в какой-нибудь дикой щели,
Утонувшей в густом плюще.*

*Чтоб войти не во всё открытый,
Протестантский, прибранный рай,
А туда, где разбойник, мытарь
И блудница крикнут: вставай!*

Но после Февральской революции 1917 года разложение в русской армии, как поветрие, перекинулось и на экспедиционный корпус во Франции. В двух русских бригадах вспыхнул мятеж, после подавления которого три бригады слили в одну, а ненадёжных солдат депортировали в Россию. Гумилёв испытывал депрессию, вызванную изменением атмосферы героизма в армейской среде. Оказались никому не нужными подвиги, совершаемые «ради интересов кучки империалистов и плутократов», понятие воинский долг стало восприниматься как оскорбление. И то, что Гумилёв считал святым для себя, предавалось осмеянию. Зачем тогда он писал:

*Та страна, что могла быть раем,
Стала логовищем огня.
Мы четвёртый день наступаем,
Мы не ели четыре дня.
Но не надо яства земного
В этот страшный и светлый час –
От того, что Господне слово
Лучше хлеба питает нас.
И залитые кровью недели
Ослепительны и легки:
Надо мною рвутся иранцы,
Птиц быстрее взлетают клинки.
Я кричу – и мой голос дикий,
Это медь ударяет в медь.
Я носитель мысли великой
Не могу, не могу умереть –
Словно молоты громавые,
Или воды гневных морей,
Золотое сердце России
Мерно бьётся в груди моей!*

Общий знакомый Гумилёва, Ахматовой, Ларионова и Гончаровой, художник-символист Борис Анреп (Ахматова посвятила ему более 30 стихов), устроил Николая Степановича в шифровальный отдел Русского правительственного комитета, но, томимый чиновничьими обязанностями, поэт выдержал только два месяца. На большее его не хватило. В апреле 1918 года Гумилёв отбыл из Франции и вернулся уже в Советскую Россию.

Никто его не ждал, триумфальной встречи, как за два года до этого, никто ему не устраивал. Гумилёв будто в омут с головой окунулся в мир большевистского террора, чиновничьего произвола, советской коммунальной бытовщины, невиданной ранее цензуры и тотального стукачества. Отсутствие свободной



торговли, самых необходимых продуктов питания и товаров, диктат быдла над интеллигенцией и полное забвение прежних моральных и эстетических ценностей – как он от всего этого не свихнулся и не принялся бунтовать – одному Господу Богу известно! Ведь он уехал из другой страны, другой Вселенной, которую искренно и пламенно любил и воспевал. И без всякого перехода, вдруг оказался... на Марсе! Или в мире антиутопии Евгения Замятина «Мы», написанной в 1920 году, через два года после возвращения Гумилёва на родину.

Но литературная и особенно поэтическая жизнь кипела, проявляясь такими своими формами и гранями, о которых в прежнее время рискованно было даже думать. Толпы поклонников, огромные форумы слушателей и ещё существовавшая возможность издаваться, печататься – поддерживали в Гумилёве жизненный оптимизм. Символизм, как каменный век, уходил в прошлое, задерживаясь на самых отдалённых и малонаселённых островах. Новые технологии и взаимоотношения в социуме пришли на смену отжившим формам. Гиппиус, Мережковский и Вячеслав Иванов всеми доступными средствами пытались выехать из Советской России, чувствуя свою ненужность, чужеродность и обречённость в новом мире тотального большевистского произвола. Блок, как последний из могикиан, представлял собою памятник Символу, и всё более памятник, чем живого Поэта. Брюсов начал быстро ассимилироваться к большевистской этике политического просвещения. Но чем дальше, тем явственнее понималась противостоительность его попыток пустить корни в чужеродной культурной среде. И «главное украшение нашей литературы», как Луначарский обозначил Брюсова, выглядел на фоне «агитаторов, горланов, главарей» белой вороной, с перепугу залетевшей в орлиное гнездо.

Футуризм, имажинизм и другие стилистические направления в искусстве, отпочковавшиеся от футуризма, дистанцирующиеся от идеологии Пролеткульта, соперничали с акмеистами на равных; и, в основном, в этом соревновании Гумилёв увидел перспективу существования основанного им направления в русской поэзии. Гумилёв развёртывает бурную литературную деятельность. Он возрождает «Цех поэтов», публикации стихов акмеистов ширятся, получают хорошую оценку у читателей. Николай Степанович ведёт большую организационную работу, завоёвывая позиции, оставляемые символистами. Блок написал об этом времени: «Все под Гумилёвым». А в 1921 году Гумилёва вместо Блока избирают председателем Петроградского союза поэтов. Казалось до триумфа акмеизма и самого Гумилёва один шаг. Но... жизнь распорядилась иначе. То, что Гумилёв остался в Советской России, определило его гибель. А склад его природы и, как называл это Честертон «трансгрессивность», только ускорило его конец.

В Петрограде Гумилёв сходится с молодым профессором Петроградского университета Владимиром Таганцевым, молодым учёным-географом, сыном бывшего сенатора, выдающегося русского юриста-либерала Николая Таганцева. Отношения Гумилёва с Таганцевым станут для обоих роковыми. Но это уже трагический финал жизни поэта. Пока хотелось бы поговорить о Гумилёве, как о любимце женщин, как о любящем мужчине...

Сохраняется поверхностное, бытовое представление о том, что, дескать, оба талантливых супруга, тем более талантливых поэта, должны быть счастливы, живя под одной крышей. Почему, спрашивается? Только потому, что они талантливы и умны, красивы и сильны духом? Вздор! С такой же безапелляционной уверенностью можно говорить о счастье супругов, лишённых каких-либо положительных качеств. У кого повернётся язык сказать, что в семье алкоголиков и наркоманов, шатунов и маргиналов царит тишь да гладь? Дети в таких семьях вырастают духовно, интеллектуально богатыми и физически здоровыми? И если в семьях второй категории за бутылку водки сын может зарубить отца топором, а мать – привести сожителя в дом при живом муже, то у людей талантливых и успешных другие искушения, не позволяющие им жить в любви, мире и согласии: столкновения характеров, борьба амбиций, зависть к славе супруга – вообще, два медведя в одной берлоге не уживаются. Гумилёв и Ахматова – самый тому хрестоматийный пример.

Гумилёв, как уже было сказано, был мужчиной некрасивым, нескладным, далеко не атлетического сложения. «Всё в нём особенное и особенно некрасивое. Продолговатая, словно вытянутая вверх голова с непомерно высоким плоским лбом. Волосы, стриженные под машинку, неопределённого цвета. Жидкие, будто молью траченные брови. Под тяжёлыми веками совершенно плоские глаза». Такой портрет оставила в своих мемуарах Ирина Одоевцева (Ираида Густавовна Гейнике) – «моя лучшая ученица», как аттестовал её сам Николай Степанович. Однако когда женщины с долей иронии говорят, что «если мужчина чуть привлекательнее обезьяны, то он – красавец», в этом всё же есть доля истины. Потому что кроме внешности есть ещё и талант, и харизма, и обаяние. Всем этим Гумилёв располагал вполне. И, нет сомнения, знал об этом, и пользовался.

Как необходимы поэту были путешествия с их быстрой сменой впечатлений, война – катализатор обострения чувств и эмоций, так и любовь, являлась необходимым составляющим его творческой природы. Причём любовь и любовные увлечения Гумилёв не всегда отличал друг от друга, не стремился провести между ними водораздела. Любовь и страсть были своего рода адреналином, своеобразным наркотиком, вызывавшими водопад прекрасных, ни с какими другими не сравнимых стихов. Поэтому вся его недолгая жизнь – бесконечная череда романов, увлечений, порой даже почти животных страстей к представительницам прекрасного пола. Вот небольшой перечень дам, оставивших заметный след в душе поэта.

Про Елизавету Дмитриеву (Черубина де Габриак) уже говорилось выше. Утверждается, будто Анна Ахматова не ревновала мужа к его парижскому увлечению – баронессе Орвиц Занетти, одной из трёх парижанок, с которыми у него были романы перед тем как Ахматова, наконец, ответила согласием на его предложение. Однако, если Ахматова запомнила это имя, да ещё добавила, что с баронессой Николай

Степанович не разорвал близких отношений даже после получения долгожданного согласия невесты, представляется, что она не была откровенной. Гумилёв достаточно долго поддерживал интимные отношения с сестрой поэта Георгия Адамовича Татьяной, о чём (как через много лет рассказывала Ахматова) он делался впечатлениями с женой, и даже «плакал в жилетку», когда настала пора мучительного для него разрыва с любовницей.

В 1912 году, вернувшись из Абиссинии, Гумилёв под Бежецком, в имении своей матери завёл роман с племянницей – Машей Кузьминой-Караваевой, смертельно больной туберкулёзом. Вскоре Маша умерла, а Николай Степанович «переключился» на актрису из труппы Мейерхольда Ольгу Высотскую, с которой познакомился в кафе-кабаре «Бродячая собака». В это время Анна Андреевна рождает сына Льва, получившего от друзей прозвище Гумилёвёнок, что, однако, не отвредило поэта от Высотской. Через год после Льва, родился у Ольги сын Орест, но Николаю Степановичу не привелось увидеть своего второго сына. Создаётся впечатление, что он и не знал о его существовании, так как, оставив Высотскую, он обратился к другим женщинам. Ольга Высотская так и не стала великой актрисой, хотя подавала к тому определённые надежды. Она уехала в провинцию, где прожила много лет. Так случилось, что братья познакомились и даже подружались. Их арестовали в 1938 году: Льва в марте, Ореста – в апреле. И их матери стояли вместе в очереди в «Кресты», чтобы отдать передачи сыновьям. И Ольга, и Анна умерли в один год, в 1966. А Лев и Орест тоже в один год скончались – в 1992.

В 1916 году у Гумилёва два романа. Сначала он влюбляется в молодую поэтессу Ольгу Молчанову. А летом того же года, познакомившись в «Бродячей собаке» – в красавицу Ларису Рейснер. Более бурной страсти в дальнейшей жизни, видимо, не испытали ни он, ни она. Хотя и она, как и он, не могла обойтись без этого своеобразного адреналина, вызывавшего ощущение парения над серостью жизни. Он был старше её на девять лет, но удержать рядом с собою не смог. Это был для него сорок первый медведь. Рейснер была «вольным стрелком», специалистом по охоте за мужчинами, способными обеспечить её тремя фундаментальными основами бытия. Первая: невероятные приключения, чередующиеся с чудовищной роскошью в быту. Вторая: свобода творческого самовыражения, подпитываемого первой и третьей основой. Третья: пламенный эрос и суверенное право на выбор партнёров по сексу. Ничего из этого набора Гумилёв обеспечить ей не мог, но звал замуж. Зная судьбу Ахматовой, месяцами, а то и годами ожидавшую дома возвращения своего Одиссея, Рейснер решительно отказала Николаю Степановичу в его предложении. Они расстались. Но... как сказал поэт Анчаров: «нас без слёз покидали женщины, но забыть не могли вовек». Рейснер всю жизнь вспоминала свой бурный роман с Гумилёвым и его самого. Правда, пережила она его всего на пять лет.

Когда они навсегда расстались, Лариса написала Гумилёву: «Если я умру, все письма вернутся Вам... Потому что действительно есть Бог». Лариса Рейснер не могла забыть Гумилёва – и не только она одна! Дух Гумилёва, могучий дух титана Серебряного века, никогда не смирявшегося с судьбой, даже после расставаний, после его трагической гибели через много лет отдавался в сердцах его поклонников и учеников набатом чётких стихотворных размеров, красивых и необычных, постоянно напоминал о неумности души их автора, о «...островах в раскалённом песке», о том, как:

*На обрывистый берег выходят слоны,
Чутко слушая волн набегающий шум,
Обожать отраженья ущербной луны,
Подступают к воде и бояться акул.*

И этот могучий дух, как пепел Клааса стучал в сердца людей, напоминая о трагической участи поэта, умом, потрясающим героизмом не позволяющим забывать, что свободы для всех не бывает без свободы личной. Да, такого вовек не забудешь... Даже Всеволод Вишневский не смог забыть, что его богиня, комиссар Волжской флотилии Лариса Рейснер была влюблена в Гумилёва. Не мог забыть, потому и вставил в уста Комиссара строфу из гумилёвских «Капитанов»...

Николай Гумилёв не был кабинетным поэтом, творившим в отрыве от жизни, от мира, создающим поэтические миры в собственном воображении. Он эти миры искал, он в них жил, и их красоту отображал в стихах. Честертон не ошибся: именно трансгрессивность была основой сущности Гумилёва, как человека и поэта. Для того, чтобы его уничтожить, не обязательно было его физически убивать. Достаточно изолировать от мира, запретить путешествовать, словом, лишить его возможности преступать социальные запреты и нормы здравого смысла. Ситуация, в которой оказался Гумилёв, вернувшись в Советскую Россию в 1918 году, предопределяла его конец. Человеку, написавшему ещё в юности и утвердившему жизненное кредо на основании этих строк, не было места на одной шестой части земной суши, где к власти пришли «новые люди».

*И все, кто дерзает, кто хочет, кто ищет,
Каму отсылали страны отцов,
Кто дерзко хохочет, насмешливо свищет,
Внимая заветам седых мудрецов!*

В августе 1918 года Николай Степанович Гумилёв официально оформляет развод с Анной Андреевной Ахматовой, которая тут же выходит замуж за своего любовника, Вальдемара Казимировича Шилейко –



талантливому отечественному ориентологу и ассириологу. Гумилёв женится на Анне Николаевне Энгельгард, дочери известного писателя и публициста, племяннице Константина Бальмонта. У них рождается дочь Елена. Анна Николаевна, её отец и дочь умерли в 1942 году в блокадном Ленинграде. Вальдемар Шулейко умер уже после развода с Ахматовой в 1930 году от туберкулёза. Но и живя с «Анной Второй» Гумилёв продолжал заводить романы с другими женщинами, правда, короткие, практически бесстрастные. Словно только для того, чтобы самому себе доказать, что ещё мужчина!

А что ему оставалось делать, если бытие жестоко определило его сознание, лишив возможности «дерзнуть, искать, вне опостылевшей страны отцов»? Единственное путешествие, если его так можно назвать, в котором Гумилёв принял участие в последние три года жизни, была поездка в Крым с контр-адмиралом Нёмитцем, во время которой Гумилёв случайно встретился с Волошиным. После злополучной дуэли у Чёрной Речки они не виделись и не общались. Теперь, недолго, прохладно поговорив, расстались навсегда. Какова была роль Гумилёва в этой поездке, зачем он отправился на Юг России в штабном вагоне Нёмитца? На эти вопросы ответов нет, есть только догадки, некоторые из которых настолько неправдоподобны, что больше напоминают бред бульварной прессы, чем правду. Однако именно в этой поездке за Гумилёвым потянулся хвост слежки, доведший его до подъезда дома, в котором поэт был арестован в ночь с 3 на 4 августа 1921 года. Гумилёву инкриминировали участие в контрреволюционной «Петроградской боевой организации», возглавляемой Владимиром Таганцевым.

Гумилёв не был слепым поэтом или наивным до отвращения конформистом. Он видел, что произошло с Россией и боль его родины была его личной болью. Своё отношение к происходящему он выражал открыто, в свойственной ему немного высокомерной манере. Он всегда прилюдно крестился на церковные кресты, а на публичных выступлениях, на вопросы, касавшиеся его партийной принадлежности или политической ориентации, твёрдо отвечал: «Я – монархист!». Неизвестно, сколько он определил жизни советской власти в России, но создаётся ощущение, что он об этом даже не задумывался, продолжая жить так, как привык, ни в чём себя не ограничивая. Со стороны это могло показаться безумием, самоубийственным политическим инфантилизмом, но... это был Гумилёв! Он не воевал за белых, как не воевал за красных. Он воевал за Россию! И он продолжал за неё воевать своими стихами, не имеющими ничего общего ни с «Левым маршем», ни с «Двенадцатью». Он оспаривал последним осколком России, о которой старались забыть его сограждане под дулами чекистских револьверов или в ожидании подачек от «новых людей».

Нет сомнений, что порою ему открывались такие безнадежные перспективы его существования в РСФСР, что только совершенно незнающий историю нашей страны может поспорить о том, будто нет ничего пророческого в следующих его стихах:

*Прежний ад нам показался раем,
Дьяволу мы в слуги нанялись
Оттого, что мы не отличаем
Зло от блага и от бездны высь.*

1919 г.

*В час гены мы зыскуем рай,
Незаслуженных хотим улад,
В очереди мы стоим, не зная,
Что та очередь приводит в ад.*

1920 г.

Около трёх недель велось следствие. По противоречивым сведениям, чекисты во время обыска в квартире поэта обнаружили прокламацию, имевшую отношение к восстанию матросов в Кронштадте в марте 1921 года, и написанную рукой Гумилёва. Никаких иных улик, изобличивших его контрреволюционную, антисоветскую деятельность, в деле не фигурировало. По прошествии времени, когда в 1992 году Николай Степанович Гумилёв был реабилитирован, были открыты ранее засекреченные материалы по его делу и общественности было позволено ознакомиться с их частью, возникли две версии, основанные на косвенных данных и домыслах авторов. По одной версии Гумилёв был причастен к организации Таганцева лишь опосредовано, никакого активного участия в ней не принимал, следовательно, вина его «не натягивала» на смертную казнь и он пострадал не заслужено. Другая версия строится на совершенном непричастии Гумилёва к «Петроградской боевой организации» – ПБО, которая сама по себе от начала до конца являлась выдумкой чекистов, поэтому всех, кого казнили или осудили по этому делу, следует считать невинно репрессированными. Но, как представляется, все эти умствования выглядят плодом инфантильного социально-политического мышления их авторов, всё ещё подсознательно делящих чекистов на честных и бесчестных. Гумилёв, как и миллионные жертвы большевизма, был обречён в принципе, самым ходом уничтожения Старого Мира.

Один из «теоретиков» и «идеологов» политики «классового чутья» и «классовой борьбы» на острие которой находилась ВЧК – (Ян Фридрихович Судрабс) Мартин Янович Лацис (один из заместителей Дзержинского, в Гражданскую войну – Председатель Украинской ЧК), человек личной жестокости,

даже издад для работников своего ведомства пособие, призванное научить следственный персонал ВЧК правильно вести дела контрреволюционеров, предварительно составив о них соответствующее представление. Исходя из содержания этого документа становится ясным, что всякие версии о причастности Гумилёва к ПБО – лишь игра ума российской интеллигенции, практически никогда не представлявшей разрушительной силы тех социальных процессов, которые она катализировала своими зажигательными речами, призывами, воззваниями, публикациями. Вот документ, сам по себе являвшийся смертным приговором и для русской интеллигенции в том числе:

«Для нас нет и не может быть старых устоев морали и “гуманности”, выдуманных буржуазией для угнетения и эксплуатации “низших классов”. Наша мораль новая, наша гуманность абсолютная, ибо она покоится на светлом идеале уничтожения всякого гнёта и насилия. Нам всё разрешено, ибо мы первые в мире подняли меч не во имя закрепощения и угнетения кого-либо, а во имя раскрепощения от гнёта и рабства всех. Жертвы, которых мы требуем, жертвы спасительные, жертвы, устилающие путь к Светлому Царству Труда, Свободы и Правды. Кровь? Пусть кровь, если только ею можно выкрасить в алый цвет серо-бело-чёрный штандарт старого разбойного мира. Ибо только бесспорная смерть этого мира избавит нас от возрождения старых шакалов, тех шакалов, с которыми мы кончаем, кончаем, миндальничаем, и никак не можем кончить раз и навсегда... Мы не ведём войны против отдельных лиц. Мы истребляем буржуазию как класс. Не ищите на следствии материалов и доказательств того, что обвиняемый действовал делом или словом против советской власти. Первый вопрос, который мы должны ему предложить, – к какому классу он принадлежит, какого он происхождения, воспитания, образования или профессии. Эти вопросы и должны определить судьбу обвиняемого. В этом – смысл и сущность красного террора».

Судьба поэта Гумилёва была определена не его причастностью к той или иной контрреволюционной организации, не его действительной или надуманной антисоветской деятельностью, а содержанием приведённого выше документа, олицетворявшего принципы борьбы Мира Нового с Миром Старым. Через семнадцать лет после Гумилёва автор этого «пособия для чекистов» сам был стёрт в порошок, став жертвой бумеранга, брошенного и незамеченного им.

Вот несколько цитат, не оставляющих сомнений относительно альтернативного исхода следствия над членами «Петроградской боевой организации». Отец профессора Владимира Таганцева, известный русский юрист Николай Степанович Таганцев, сенатор, член Государственного Совета, Действительный Тайный советник, в бытность свою принимал экзамены в Санкт-Петербургском университете у Владимира Ульянова (Ленина). Когда Владимир Таганцев был арестован в 1921 году, друзья говорили его отцу, чтобы он обратился напрямую к Ленину, похлопотал за сына. Ленин, помня университетского профессора, либерального юриста, не мог бы отказать. Однако все обращения к «вождю мирового пролетариата» остались без ответа. Владимир Таганцев с женою был расстрелян. Его отец в дневнике написал: «Господи, какая чужь! Я никогда не просил Ульянова-Ленина ни о каком помиловании сына, потому что это было бесполезно».

25 июня 1921 года, когда уже велось следствие по делу о Петроградской Боевой организации, следователи Петроградской Чка Губин и Попов составили доклад о результатах следствия. В нём указывалось, что «Определённое название следствием не установлено... Не имея определённого названия, организация не имела определенной, строго продуманной программы... как не были детально выработаны и методы борьбы, не изысканы средства, не составлена схема... Действительно, несмотря на то, что само возникновение организации можно считать январь-февраль сего года, то есть незадолго до кронштадтских событий... наличный состав организации имел в себе лишь самого Таганцева, нескольких курьеров и сочувствующих... Террор, как таковой, по словам Таганцева и других... не входил в их задачи... Связь с курьерами... квартиры которых были явочными, имела исключительно спекулятивную подкладку, как перепродажа вещей, отправка эмигрирующих русских за границу, передача писем. Что же касается непосредственных связей организации Таганцева с финской и другими контрразведками, то в действительности установлены частные случаи... сама же организация, как таковая, ни связи, ни поддержки не имела... Таганцев – кабинетный учёный, мыслил свою организацию теоретически». После этого доклада фамилии следователей в материалах «дела Таганцева» не упоминаются.

Помочь петроградским чекистам добиться для большевистских властей желательного результата был прислан из Москвы Яков Саулович Агранов (Янкель Шмаевич Соренсон), в недавнем прошлом секретарь Совета Народных Комиссаров, а к 1921 году – ответственный сотрудник ВЧК, за два года до этого успешно «провернувший» дело контрреволюционного «Тактического центра». Среди «заговорщиков» в «деле Тактического центра» значились Сергей Мельгунов, князь Сергей Трубецкой, Николай Бердяев и дочь Льва Толстого Александра Львовна. После этого успешного для ВЧК дела Агранов заслужил среди своих коллег репутацию специалиста по работе с интеллигенцией. Что он и доказал в Петрограде, работая по делу «Петроградской боевой организации», и приговорив к расстрелу около 90 человек, в том числе профессора Таганцева (с женой) – 31 года, Максимова, Лазаревского – 53 лет, Тихвинского – 53 лет, сотрудника Русского музея Ухтомского и поэта Гумилёва – 35 лет. Позже, «специалист по работе с интеллигенцией» так объяснил жестокость расправы с не причастными к делу: «В 1921 году 70% петроградской интеллигенции были одной ногой в стане врага. Мы должны были эту ногу “ожечь”». Альтернативы у задержанных петроградской ЧК не было. В 1938 году «ожёгся» и сам, видимо, ставший интеллигентным, чекист, успевший плодотворно «поработать» с отечественной интеллигенцией. 1 августа он был расстрелян на полигоне «Коммунарка», как враг народа и член антисоветской организации. Слава Богу, до сих пор не реабилитирован.



В своих воспоминаниях Георгий Иванов, прекрасный русский поэт-акмеист, литератор, филолог и теоретик литературы, ученик и друг Николая Гумилёва, муж Ирины Одоевцевой, писал в эмиграции о некоем Боброве С.П., теперь уже совершенно никому не известном: «...сноб, футурист и кокаирист, близкий к ВЧК и вряд ли не чекист сам». Георгий Иванов зафиксировал разговор, произошедший между Бобровым и Михаилом Лозинским, содержание которого Лозинский передал Иванову. «Да... Этот ваш Гумилёв... Нам, большевикам, это смешно. Но, знаете, шикарно умер. Я слышал из первых рук. Улыбался, докурил папиросу... Фанфаронство, конечно. Но даже на ребят из особого отдела произвёл впечатление. Пустое молодечество, но всё-таки крепкий тип. Мало кто так умирает. Что же – сваял дурака. Не лез бы в контру, шёл бы к нам, сделал бы большую карьеру. Нам такие люди нужны». Легенда, конечно, одна из многих, тем более – Георгий Иванов, не очень надёжный источник. А вот ещё одна легенда. Якобы умирающий Блок успел узнать об аресте Гумилёва. И не только узнать, но и буквально вынудить Горького написать Ленину умоляющее письмо с просьбой освободить Гумилёва. В случае с Николаем Степановичем распоряжение Ленина о помиловании почему-то не опоздало. Оно поспело как раз тогда, когда приговорённых ставили у бруствера перед вырытым рвом. Чекист, командовавший расстрелом, прочитал содержание принесённого ему конверта, после чего обратился к «контрреволюционерам» со словами: «Кто здесь поэт Гумилёв? Шаг вперёд!». После длительной безмолвной паузы начальник команды повторил сказанное. И услышал дерзкий, но спокойный ответ: «Нет поэта Гумилёва. Есть офицер Гумилёв». «Ну, что же, тогда оставайтесь там, где находитесь!».

Легенды, легенды... Со временем их не становится меньше. Но, как ни странно, ничего, противоречащего складу характера и самой природы поэта, народное воображение не рождает. Вот, например, опус Иванова о рассказе Боброва Лозинскому. Бобров Сергей Павлович, скандально известный мистификацией продолжения пушкинского стихотворения «Когда владыка ассирийский», а также тем, что за несколько дней до смерти Блока в журнальной статье назвал его «поэтическим мертвецом», до революции был черносотенцем, а после – чекистом (по представлениям Иванова). Так вот, Сергей Павлович «дурака не сваял», писал чуть-чуть иначе, сделал литературную карьеру при советской власти (ей такие были нужны), умер в 1971 году в возрасте 81 года. Ничего подобного о Гумилёве представить невозможно.

Теперь рассмотрим вторую легенду. В ней Гумилёв именно такой, каким был всегда – верный долгу и товариществу. Его одного из большого количества безвинно осуждённых помиловал вождь «мирового пролетариата», ему одному выпал фарт остаться в живых. И Гумилёв, по большому счёту фаталист, пренебрегает этим почти фантастическим по вероятности шансом: он остаётся с теми, кто не вписывался в Новый Мир, кто «принадлежал антагонистическому классу, был дворянского или интеллигентского происхождения, буржуазного воспитания, имел высшее образование, не пахал землю, не стоял у станка». Он не мог себе представить, как жил бы после принятия милости из рук кровожадного вождя. В то время как товарищи по несчастью отправились бы туда, откуда ещё никто не возвращался... Гумилёв поступил в этой легенде по-гумилёвски...

До сих пор с точностью не определено место расстрела «участников ПБО». Наиболее распространённая версия – недалеко от платформы Бернгардовка, в небольшой рошце. К этому склонялась в своё время Анна Андреевна, первая жена Гумилёва и... Александр Галич, написавший:

*Таким же неверно-нелетым
Был давний тот август, когда
Под чёрным бернгардовским небом
Стрельнула, как птица, беда.*

После 1992 года, после официальной реабилитации поэта, было поставлено несколько памятников и памятных знаков Николаю Степановичу. В том числе, и у «Бернгардовской рошцы». Однако самым интересным и в смысловом отношении самым логичным является памятник в Бежецке, неподалёку от которого находилось имение матери Николая Степановича, где Николай Степанович, Анна Андреевна и их сын Лев Николаевич подолгу жили, росли, отдыхали. Памятник многофигурный, на нём изображены все трое, все, так или иначе, пострадавшие от советской власти. Интересно, что Николай Степанович изображён уже в виде памятника в окружении живой жены и живого сына. Облик Анны Андреевны стилизован под её образ с известного портрета Альмана. Автор этого памятника Андрей Ковальчук сделал то, что было предопределено духовно-стилистическим контекстом: совершенно отстранённая Анна Андреевна, одухотворённо читающий лекцию Лев Николаевич Гумилёв, а зади, над ними и, уже ставший классиком, почти полубожеством, забронзовелый – Николай Степанович.

Николай Гумилёв – сплошные загадки, легенды и мифы, требующие внимательного осмысления и не предвзятого анализа. Вот, например, цитата из письма 1952 года Георгия Иванова Александровой, что было опубликовано в 1996 году в Нью-Йорке. «Я был и участником несчастного и дурацкого Таганцевского заговора, из-за которого он погиб. Если меня не арестовали, то только потому, что я был “десятке” Гумилёва, а он, в отличие от большинства других, в частности, самого Таганцева, не назвал ни одного имени». Признание, сделанное через тридцать лет после той, петроградской трагедии, когда Иванов мог его сделать в любое другое время, пребывая в эмиграции с 1922 года, не кажется правдоподобным относительно причастности самого Иванова к «заговору». Но абсолютно укладывается в логику поведения Гумилёва.

7 декабря 1918 года в журнале «Искусство коммуны» была опубликована заметка «Попытка реставрации». Её автор – заместитель народного комиссара просвещения Луначарского, известный искусствовед Николай Николаевич Пунин. Вот одна из наиболее любопытных цитат, непосредственно относящаяся к Гумилёву Николаю Степановичу. «...с каким усилием, и то только благодаря могучему коммунистическому движению, мы вышли год тому назад из-под многолетнего гнёта тусклой, изнеженно-развращённой буржуазной эстетики. Признаюсь, я лично чувствовал себя бодрым и светлым в течение всего этого года отчасти потому, что перестали писать или, по крайней мере, печататься некоторые “критики” и читаться некоторые поэты (Гумилёв, например). И вдруг я встречаюсь с ними снова в “советских кругах”... Этому воскрешению я в конечном итоге не удивлён. Для меня это одно из бесчисленных проявлений неусыпной реакции, которая то там, то здесь нет, нет да и поднимет свою битую голову».

Предопределённость... в последних очерках о ней много говорилось. И титаны духа, знавшие и ощущавшие близкий конец Старого Мира, покидали жизнь вместе с ним по-разному, но достойно, не прогнувшись под «новых людей», не поступившись честью и долгом. Другие, умные, талантливые, но с деформированной моралью и совестью, уверовавшие, что и в аду можно приспособиться, так как предопределённость придумана законными доктринёрами в оправдание своей нежизнелюбивой психологии, ушли в небытие, как следуют на бойню определённые для переработки домашние животные. Тот же Пунин... Ему выпало стать мужем Анны Андреевны Ахматовой и прожить с нею 15 лет. Его несколько раз арестовывали в 30-ые годы, используя примерно те же формулировки, которые использовал он сам в заметке «Попытка реставрации». В 1953 году, сразу после смерти Сталина Николай Николаевич умер в лагере для политзаключённых на севере автономной республики Коми.

За неделю до ареста Николая Степановича Гумилёва теперь уже всеми забытый эпатажный поэт, «проклятый поэт», как определяли его коллеги по цеху, Александр Иванович Теняков сделал предметом гласности свои стихи, называвшиеся «Радость жизни». Стихи мерзкие как по форме, так и по содержанию, но абсолютно соответствовавшие духу автора, его деформированной морали.

*Едут навстречу мне гробики полные
В каждом – мертвец молодой.
Сердцу от этого весело, радостно,
Словно берёзке весной*

*Вы окопали, собаки несчастные, –
Я же дышу и хожу.
Крышки над вами забиты тяжёлые, –
Я же на небо гляжу.*

*Может, – в тех гробиках гении разные,
Может, – поэт Гумилёв...
Я же, презренный и всеми оплёванный,
Жив и здоров.*

*Скоро, конечно, и я тоже сделаюсь
Падалью, полной червей,
Но пока жив, – я ликую над трупами
Раньше умерших людей.*

Михаил Михайлович Зоценко аттестовал Тенякова «...животным более страшным, чем какое-либо иное, ибо тащило за собой привычные профессиональные навыки поэта». Михаил Михайлович называл вдохновение Тенякова «смердяковским». Всеми презираемый, с 1926 года Теняков становится профессиональным нищим. В 1934 году в возрасте сорока восьми лет он умирает под забором, как обычный российский бомж.

Ещё одна легенда, почти быль, о Гумилёве. За Гумилёва после его ареста пробовали ходатайствовать даже у самого Феликса Эдмундовича Дзержинского. При этом руководителя ВЧК спросили: «Можно ли расстреливать одного из двух или трёх величайших поэтов России?». На что «железный Феликс» ответил встречным вопросом: «Можем ли мы делать исключение для поэта?».

Если перефразировать Владимира Соловьёва, то гибель Старого Мира и приход «новых людей» в очередной раз начинался с истребления неправедных.

Недавно, совершенно случайно, мне открылась старая, но хорошо забытая истина. Вот её краткое изложение. «Ни для кого нет тайны в том, что поэты перерастают такие литературные школы, как символизм, футуризм и, пожалуй, имажинизм. Для всех Сологуб – Сологуб и уж потом, где-то в закоулках памяти, – символист. Маяковский – Маяковский, Есенин, Клюев и Ивнев – сами по себе. Но, конечно, Эрберг – символист, Кручёных – футурист, Мариенгоф – имажинист, потому что отстранённые от школ, они потеряют всякий смысл. Такова же не органическая, а выдуманная и насильственная школа, как акмеизм, с самого рождения лезла по швам, соединяя несоединимых Гумилёва, Ахматову, Мандельштама».

Что касается первых двух – то и в жизни, наверное, тоже.



Одним из коренных свойств Гумилёва было – превращать в реальность то, что казалось недостижимым, как бы недоделанным судьбой.

25 декабря

ГИБЕЛЬ БОГОВ. Часть 3.

(Когда умирает совесть).

Короленко Владимир Галактионович 1853 – 1921 гг.

Не было, наверное, в русской литературе ни одного писателя, который бы, как Короленко, искренно и последовательно отстаивал и защищал права своих соотечественников. Для которого уважение свободы личности и борьба с государственным произволом были неотъемлемой составляющей его внутреннего мира и всей жизнедеятельности. Человек, жертвовавший своим художественным талантом, отодвигавший в сторону личные привязанности и потребности ради воцарения Правды и Истины, в России на рубеже XIX – XX веков был, пожалуй один – Владимир Галактионович Короленко. Его популярность и авторитет в обществе были столь огромны, что царская администрация вынуждена была считаться с его нескончаемыми выступлениями, публикациями, обращениями и воззваниями, направленными на формирование того, что сейчас принято называть гражданским обществом.

Владимир Короленко родился в Житомире, в семье уездного судьи Галактиона Афанасьевича, потомка запорожских казаков. Отец был человеком замкнутым, суровым, но одновременно честным и неподкупным. Из-за двух последних качеств в семье никогда не знали роскоши, избытка чего-нибудь: всего было в обрез, даже самого необходимого, поэтому Владимир вырос склонным к бережливости, а не к расточительству. Именно из-за отцовского принципа быть во всём и всегда честным Владимир вырос нетерпимым к обману, подлости, лукавству и произволу. Отец никогда не брал должностных взяток, от чего судейское окружение рассматривало его как «белую ворону» в своей корпорации. Но благодаря неподкупности отца, сын вырос принципиальным, честным и восприимчивым чужую боль, как свою собственную. Гражданская позиция Владимира Короленко сформировалась в семье ещё в детстве и юности, и он смог передать её последующим своим поколениям.

«Береги рубашку снова, а честь – смолоду» – народная мудрость, взятая Пушкиным как эпиграф к «Капитанской дочке», стал девизом для Владимира Короленко на всю жизнь. И какие бы испытания или личные трагедии не подстерегали Владимира Короленко на его жизненном пути, он никогда не изменял этому морально-этическому императиву. Человека более цельного, более уверенного в том, что поступает именно так, как должно – в среде русской интеллигенции не существовало. А если оценивать: кто из русских литераторов принёс собственному народу больше реальной, а не отвлечённо-опосредованной пользы, так, безусловно, Короленко занимает по праву первое место, и оно никем неоспоримо.

Когда Владимиру исполнилось пятнадцать лет, умер его отец, отчего материальное положение семьи значительно ухудшилось. Вместо гимназии Владимиру пришлось заканчивать реальное училище в Ровно. В 1871 году, по окончании училища, он поступил в Петербургский технологический институт (в просторечье – «Техноложка»), но через три года вынужден был перевестись в Москву, в Петровский земледельческий институт. Связан этот переход был в основном с банальным безденежьем и достаточно высоким по сравнению с Москвой уровнем жизни в северной столице. А в Петровском институте платили стипендию, да и заработки на стороне, в основном частными уроками, давали возможность Владимиру помогать деньгами матери и сёстрам. В Петровском институте Владимир Короленко примкнул к народникам, стал посещать их кружки, именно этот путь выбрал он для освобождения народа от произвола царизма.

Но за студентами этого учебного заведения с 1869 года была установлена бдительная слежка, в результате чего Короленко был исключён из института в 1876 году и выслан в Кронштадт под надзор полиции. Дело заключалось в том, что 21 ноября 1869 года в гроте парка, окружавшего бывший дворец Разумовских (в здании которого находился сельскохозяйственный институт), группой студентов, возглавляемых Сергеем Нечаевым, был убит студент Иванов. Сергей Геннадьевич Нечаев, создатель тайного революционного «Общества народной расправы», прожил на свете всего тридцать пять лет, из коих половину сознательного возраста провёл в заключении. Где и умер от водянки в 1882 году. Однако Нечаев успел разбудить у российской молодёжи стремление к революционной, экстремистской террористической деятельности, создав «Катехизис революционера» – программу широкомасштабного террора с огромными человеческими жертвами ради «светлого будущего всего человечества». Соратники Нечаева готовы были истребить «целую орду грабителей казны, подлых народных тиранов», «избавиться тем или иным путём от лжеучителей, доносчиков, предателей, грязнящих знамя истины».

Стоит рассмотреть некоторые параграфы «Катехизиса революционера», чтобы заглянуть в ту глубинную нигилистическую пропасть, в которую увлекал Нечаев русское общество, и куда удалось его увлечь большевикам, использовавшим революционный макиавеллизм Сергея Геннадьевича. «Катехизис» жёстко регламентировал революционную деятельность, позволяя ради революции всё, кроме сострадания, гуманности и «милости падшим». В нём говорилось: «Революционер – человек обречённый; у него нет ни своих интересов, ни дел, ни чувств, ни привязанностей, ни собственности, ни имени. Он отказался от мирской науки, предоставляя её будущим поколениям... Он знает только науку разрушения, для этого изучает механику, химию, пожалуй, медицину... Он презирает общественное мнение, презирает и ненавидит нынешнюю общественную нравственность».

Да это же «Святое Писание» для Ленина, Троцкого, Сталина, Молотова, Кирова, Камо и многих, многих других, кто ненавидя бытовавшую в ту пору общественную нравственность, не имея имени, собрался строить Новый Мир. Читаем дальше и уже окончательно убеждаемся в духовной преемственности большевиков от народников-нигилистов.

«Соединимся с лихим разбойничьим миром, этим истинным и единственным революционером в России!». Выше приведённые фамилии большевистских лидеров – наглядный пример именно такой смычки. Именно эти же персоны ярко демонстрировали положение «Катехизиса» об отношении революционера к товарищам по борьбе. Сначала всех товарищей следовало разделить на категории, в зависимости от их полезности для революции. После этого революционер более высокого разряда должен смотреть на «революционеров второго и третьего разрядов как на часть общего революционного капитала, отданного в его распоряжение». Жёстко, вертикально централизованная партия большевиков перед революцией строилась именно на таком отношении между партийцами. А после прихода большевиков к власти, они стали градироваться именно так же, но это стало называться номенклатурой.

Если кто-то сомневается в том, что большевики были идейными преемниками нечаевцев, то следует для избавления от сомнений напомнить ещё несколько положений из «Катехизиса», именно из той его части, где говорится об отношении к народу. «Революционер вступает в государственный, сословный и так называемый образованный мир и живёт в нём только с целью его полнейшего, скорейшего разрушения. Он не революционер, если ему чего-нибудь жаль в этом мире; если он может остановиться перед истреблением положения, отношения или какого-либо человека, принадлежащего этому миру, в котором – всё и все должны быть ему равно ненавистны. Тем хуже для него, если у него есть в нём родственные, дружеские или любовные отношения; он не революционер, если они могут остановить его руку. С целью беспощадного разрушения революционер может, и даже часто должен, жить в обществе, притворяясь совсем не тем, чем он есть. Революционеры должны проникнуть всюду, во все высшие и средние сословия, в купеческую лавку, в церковь, в барский дом, в мир бюрократический, военный, в литературу, в третье отделение и, даже, в зимний дворец».

Карпов, Красин, Кржижановский, Самойлов, Дзюрупа – вот неполный перечень тех большевиков, кто очень удачно смог «вступить в государственный, сословный и так называемый образованный мир» и жить «в нём только с целью его полнейшего, скорейшего разрушения», при этом «притворяясь совсем не теми, чем они есть». Основоположник русской политической журналистики, «правый», редактор и издатель газеты «Московские ведомости» Михаил Никифорович Катков писал о «Катехизисе революционера» и его авторах: «Послушаем, как русский революционер понимает сам себя. На высоте своего сознания он объявляет себя человеком без убеждений, без правил, без чести. Он должен быть готов на всякую мерзость, подлог, обман, грабёж, убийство. Ему разрешается быть предателем даже своих соумышленников и товарищей... Не чувствуете ли вы, что под вами исчезает всякая почва? Не очутитесь ли вы в ужасной теснине между умопомешательством и мошенничеством?»

Как известно, Нечаев не был единственным автором этого демонического документа, циничного по форме и жизнеотвергающего по сути. Были ещё два соавтора, «приложившие руки» к сочинению «Катехизиса». Это Михаил Бакунин и Пётр Ткачёв. Бакунин был теоретиком русского анархизма, немало повоевав в молодости на баррикадах европейских революций. А вот народник Ткачёв... Пётр Никитич Ткачёв считал, что создание тайной централизованной и законспирированной революционной организации является важнейшей гарантией успеха политической революции. Революция, по Ткачёву, сводилась к захвату власти и установлению диктатуры «революционного меньшинства», которое и займётся революционно-разрушительной деятельностью. Для успеха подобной деятельности и «для обновления России необходимо уничтожить всех людей старше 25 лет».

В 1882 году у Петра Ткачёва были обнаружены признаки душевной болезни, его положили в парижскую психиатрическую клинику, в которой он через четыре года умер в возрасте сорока двух лет. В 1872 году Фёдор Михайлович Достоевский закончил написание антинигилистического романа «Бесь», в котором прототипом Петра Верховенского послужил Сергей Нечаев. Недаром, как только речь заходила о писателе Достоевском, Ленин принимался истерить и высказываться в присутствии ему оскорбительном тоне: «На эту дрянь у меня нет свободного времени!», «Морализирующая блевотина!», «Перечитал книгу и швырнул её в сторону!». Видимо, правда колола не только глаза, но и остатки совести. Именно поэтому Достоевский в СССР был «официально забыт», его возвращение к общественности началось только в эпоху «хрущёвской оттепели», а «Бесь» стали доступны широкому читателю только с перестройкой...

Так вот, вернёмся к Короленко... Фундамент, заложенный семьёй, был так прочен, что не позволил молодому человеку увлечься идеями радикальных народников настолько, чтобы самому превратиться в одного из «бесов», противопоставлявших себя роду человеческому. Радикальная, экстремистская, прельстительная идеология нигилизма отскочила от Короленко как горох от стены. От народничества в нём осталось только то, что он сам понимал как «любовь к народу». И не просто любовь к какому-то отвлечённому, безликому понятию вроде толпы, плебса, общества и тому подобных понятий, ничего не обозначающих и не выражающих, а к тем, особенно, кто в данный момент больше всего в ней нуждается. Нет сомнения, что периоды сылок, которым Короленко подвергался, утвердили в нём убеждённость в правильности своего выбора: народ нуждается в помощи и любви и приходит к нему с этим необходимо! Будучи сосланным в Кронштадт, Короленко перепробовал множество рабочих профессий, работал, к тому же, корректором в типографии, занимался репетиторством. Он узнал жизнь народа не из офици-



альной государственной статистики и не из художественных произведений русских писателей. Он сам был частью русского народа.

После окончания ссылки в Кронштадте Короленко перебрался в Санкт-Петербург и в 1877 году пошёл в Горный институт. Здесь он начал свою литературную деятельность, продолжавшуюся до самой его смерти. Интересна история его первой публикации. С рассказом «Эпизоды из жизни “искателя”» он пришёл в редакцию журнала «Отечественные записки», но редактор, коим тогда являлся Салтыков-Щедрин, печатать его не стал, заключив: «Оно бы и ничего... да зелено... зелено очень». Короленко отправился после этого в журнал «Слово», где рассказ и был опубликован в июльском номере. К июлю 1879 года Короленко со своим братом Илларионом был уже в городе Глазове Вятской губернии, куда их сослали, как неблагонадёжных студентов, предварительно исключив из учебных заведений. Видимо, у Владимира Галактионовича была судьба иная, никак не сопрягавшаяся с получением диплома о завершении высшего образования. После Глазова последовал ряд иных населённых пунктов, отделённых друг от друга тысячами вёрст, куда царская администрация ссылала будущего писателя. Вышний Волочёк, Пермь, Томск, Якутия, Нижний Новгород... В Якутии Короленко провёл шесть лет, а в Нижнем Новгороде – десять.

Но именно в Якутии окреп его характер и талант писателя. Здесь он приобщился к тяжёлому труду простых людей, соприкоснулся с их жизнью, бедами и редкими радостями. Здесь он научился понимать народ и здесь стал о нём писать. В Нижнем Новгороде Короленко женился, у них с Евдокией Семёновой родились дочери; в этот нижегородский период с 1885 по 1895 год он стал известен всей России не только как блестящий писатель, но и как общественный деятель. Лучшие произведения писателя были изданы и стали достоянием читающей России в этот «нижегородский» период его жизни. «Очерки и рассказы», «Сон Макара», «В дурном обществе», «Павловские очерки», «Слепой музыкант» – вот далеко не полный список художественных произведений, опубликованных Короленко во время проживания в Нижнем Новгороде. И если бы только это, даже тогда имя Владимира Короленко навсегда осталось бы в истории русской литературы. Его художественный талант и сила мастера, сила его убеждения привели к своеобразному взрыву благотворительности в России в конце XIX века: строительство богатых мещанатами больниц, странноприимных домов, ночлежек, домов с дешёвыми меблированными квартирами, народных домов увеличилось на порядок. Проблемы бедных и обездоленных людей, поднятые писателем в своих произведениях не оставляли спокойными представителей российской экономической элиты. Уникальность и ценность художественного творчества Короленко заключалась в том, что он не ставил перед собою сверхзадачи показать образ очередного «героя нашего времени»; он проповедовал совершенно противоположное: нет «маленьких людей», каждый человек нуждается в любви и уважении! Каждый человек – это целый, не изученный ещё мир, и если он не является характерным представителем эпохи, то это не значит, что он обречён или на презрение, или на то, чтобы его не замечали вовсе. Мы все (произведения Короленко кричат об этом) должны заботиться друг о друге!

И Владимир Галактионович следовал этому императиву не только в художественной литературе, но и в общественной жизни России, став одним из авторитетнейших публицистов, выступавших от имени народа и за народ. В 1891-1892 годах на 17 губерний России с населением в 36 миллионов человек обрушилась беда – голод. Он охватил основную часть Черноземья и Среднего Поволжья. Крестьяне вымирали деревнями. Причиной этого бедствия был сильнейший неурожай в 1891 году, последовавший за двумя годами, когда урожаи в этих регионах были до чрезвычайности низкими. Хлеб, запасённый именно для такого случая, был уже распределён заранее, сельские общественные магазины были пусты. Как известно, беда одна не ходит. К голоду прибавились две, следовавшие друг за другом, эпидемии: сначала тиф, а за ним – холера. По подсчётам независимых зарубежных наблюдателей только в одном 1892 году число погибших в районе, охваченном этим бедствием, достигало 400 000 человек. И никто не мог определить, сколько погибло в предыдущий год и от чего погибших было больше: от голода или эпидемий.

Короленко, живший в Нижнем Новгороде, в Среднем Поволжье, не мог не откликнуться на призыв о помощи голодающим, брошенный со стороны интеллигентской русской общественности. Он энергично включился в работу по спасению русского крестьянства, и его работа была высоко оценена простым русским народом. Серия его очерков и эссе «В голодный год», вскоре вышедшая в журнале «Русское богатство» отдельной книгой и ещё семь раз переизданная, получила широкое распространение. Критика кроме неотразимого эстетического воздействия книги высоко оценила и практическую заботу писателя о голодающих.

«В конце февраля 1892 года, в ясный морозный вечер, выехал я из Нижнего Новгорода по арзамасскому тракту. Со мною было около тысячи рублей, отданных добрыми людьми в моё распоряжение для непосредственной помощи голодающим, и открытый лист от губернского благотворительного комитета, которому угодно было, со своей стороны, снабдить меня поручениями, совершенно совпадавшими с моими намерениями. Таким образом, при своей поездке я предполагал совместить две задачи: наблюдение и практическую работу. Для того и другого я, очень наивно отвёл себе один месяц...

Вместо одного – три месяца пришлось мне провести в уезде, не отрываясь от этой затягивающей работы, и затем опять вернуться туда, до нового урожая... Теперь передо мною мелко исписанная книжка. Это – мой дневник: факты, картины, мысли и впечатления, которые я, усталый и порою потрясённый всем, что доводилось видеть и чувствовать за день, заносил вечером, по старой профессиональной привычке, в эту истрёпанную дорожную книжонку, где-нибудь в курной избе, в гостинице уездного города, в помещицкой экономии. Восстанавливая их теперь, я надеюсь, что они не лишены некоторого интереса».

Так начинается эта книга, своего рода отчёт писателя об увиденном и сделанном им в голодное время в голодных районах России. Конечно, Владимир Галактионович не один пришёл на помощь народу в это страшное для него время. Глеб Успенский и Лев Толстой, Антон Чехов и Николай Лесков, Иван Бунин и Николай Гарин-Михайловский, а также многие другие видные деятели русской культуры не остались равнодушными к народному бедствию, внося посильную помощь словом и делом к спасению отечественного крестьянства. Но сила статей Короленко была настолько мощная, что побудила многих русских аристократов жертвовать сотни тысяч рублей на закупку хлеба, создание общественных столовых и больниц в зоне бедствия. Именно после участия Короленко в ликвидации последствий того голода, его популярность стала настолько огромной, что царское правительство было вынуждено считаться с его публицистическими выступлениями и общественной деятельностью.

Голод 1891-1892 годов... О нём написано много, он стал предметом написания не одной докторской диссертации по истории и политической экономике. Но в этом очерке хотелось бы взглянуть на эту тему с другой стороны. Хотелось бы сравнить демографические последствия голода конца XIX века с последствиями голодных лет, ставших следствием внутренней политики большевизма. 400 000 в 1892 году, как было указано выше, да, наверное, столько же в предыдущий и последующий год. Итого: около миллиона человеческих жизней. А в период с 1918 по 1922 год (политика военного коммунизма и голод в Поволжье) в России от голода погибло, по расчётам историков, от 10 до 14 миллионов человек. Политика поголовной коллективизации и создание системы ГУЛАГа привели к гибели от голода от 5 до 8 миллионов человек в 1930 – 1933 годах. Большевики, адепты нечаевской идеологии, разрушали и уничтожали всё, так или иначе мешавшее строительству светлого будущего, лишь иногда цинично называя массовое уничтожение крестьянства «головокружением от успехов». Можно себе представить последствия их человеконенавистнической деятельности, если бы они этого головокружения не испытывали вовсе.

В 1894 году в Вятской губернии, в Малмыже состоялся суд с участием присяжных заседателей. Он рассматривал дело о ритуальном жертвоприношении, совершённом группой удмуртов (называвшихся тогда вотяками), жителями село Старый Мултан. На месте преступления был найден обезглавленный труп нищего крестьянина Конона Дмитриевича Матюнина, из которого, по мнению следствия, вотяки-язычники изъяли всю кровь и использовали для своих ритуальных тайных жертв, и «может быть, для принятия внутрь». Суд оправдал троих удмуртов, но семерых признал виновными в ритуальном убийстве и приговорил их к каторге сроком на семь лет каждого. Многие представители тогдашней передовой общественности возвысили свой голос в поддержку осуждённых, вина которых им представлялась абсурдной, а само дело – грубо инспирированным. «Мултанское дело» не оставило равнодушным и Владимира Галактионовича.

С присущей ему обстоятельностью во всех делах, Короленко изучил доказательную базу обвинения, побывал на месте преступления, выступил на повторном процессе, написал и издал в 1895 году в «Русских ведомостях» серию очерков, озаглавленных «К отчёту о мултанском жертвоприношении». Вот какими строками начиналась публикация.

«Два раза в г. Малмыже и в последнее время в г. Елабуге, в заседаниях отделения сарапульского окружного суда выносятся обвинительный приговор мултанским вотякам, обвиняемым в приношении языческим богам человеческой жертвы. Если таким образом в данном случае истина является результатом судебного разбирательства, то мы должны признать следующее. До настоящего времени, то есть до начала XX столетия христианской эры, наше отечество одно только сохранило на европейском континенте человеческое жертвоприношение, соединённое с каннибализмом (принятие внутрь крови жертвы). Каждые сорок лет, в разных местах, в шалашах, в середине или на задах вотских селений, ограниченным числом лиц, исповедующих христианскую веру греко-российского вероисповедания, убивается, после продолжительных мучений, человек, из которого вынимаются сердце и лёгкие, отрезается голова, а труп, по возможности, с полным удостоверением его личности и особенно вероисповедания, выносится на дорогу, где его могут заметить и придать земле непременно по христианскому обряду. Мы должны допустить это, хотя при этом допущении оказывается, что приблизительно через каждые сорок лет, и особенно после каких-нибудь болезней, дороги вятского края должны быть усыяны обезглавленными трупами жертв, с опустошённой грудной полостью и страшными следами каннибализма. Правда, исследователи вотского быта не могут указать ничего подобного, а в уголовной хронике подобную находку мы встречаем ещё первый раз. Правда, представителю учёной экспертизы, допускаяшему на суде возможность жертвоприношения, приходилось ссылаться не на факты, а на сказки и притом не вотского, а черемисского народа, который в каннибализме никем не обвинялся. Всё это правда, но мы обязуемся допустить всё это как факт, иначе придётся признать, что судом два раза осуждены совершенно невинные!

В частности по отношению к этому делу нам придётся мириться с ещё более трудными допущениями. Село Мултан со всех сторон окружено русскими деревнями и является как бы островом среди чисто русского населения. Дома села Мултан, в свою очередь, окружают сельский храм, недалеко от которого расположена вот уже около тридцати лет действующая церковно-приходская школа. И нам приходится, однако, допустить, что в полутора десятках саженей от церкви и школы, в ночь с 4 на 5 мая 1892 года, в шалаше вотяка Моисея Дмитриевича висел подвешенный за ноги человек, которого тыкали ногами, источая кровь (для принятия внутрь, как намекает обвинение?). И в этом приняла якобы участие солдат Тимофей Гаврилов, три года служивший в крепостной артиллерии в Динабурге (Тимофей Гаврилов оправдан в Малмыже, но все обстоятельства его якобы участия в деле приводились всё-таки на елабужском процессе), и Василий Кузнецов, церковный староста мултанского православного храма? И это было в ту самую

ночь, когда опять в нескольких сажнях от места этого каннибальского жертвоприношения, ночевал в Мултане становой пристав Тимофеев. И затем труп, обёрнутый пологом, вывезен из села вслед за выехавшим приставом, в девять часов утра, то есть среди белого дня, в мае месяце, то есть в разгар полевых работ, провезён, опять-таки днём, среди работающего народа, по землям русских крестьян и положен на пешеходную тропу, без головы, но с клоком волос в грязь, с посохом, с крестом, с удостоверением личности. При этом его должны были, опять рискуя встретить кого-нибудь среди бела дня, нести на руках на расстояние около полуверсты до места, где его увидела спустя полчаса после этого проходившая мимо крестьянская девочка! Мы должны допустить всё это, иначе опять-таки придётся признать, что два раза судом постановляется несправедливый приговор и что второй уже раз осуждаются в каторжные работы невинные!».

Короленко добился третьего судебного разбирательства. В конце этого процесса он произнёс две значительные речи, которые до нас не дошли, так как стенографистки, увлечённые его выступлениями, начисто забыли о своих обязанностях. Процесс закончился оправданием всех подсудимых. Немалую роль в этом процессе сыграл и Анатолий Фёдорович Кони, выдающийся отечественный правовед, давший объективное заключение по делу о «Мултановском жертвоприношении».

После окончания заключительной речи Короленко получил телеграмму, в которой сообщалось о смерти младшей маленькой дочери. Уезжая на процесс, он оставил её в больном состоянии. Старшая дочь Наталья Короленко-Ляхович в последствие вспоминала: «Папу надломил этот удар. Радость за оправдание удмуртов и горе в своей личной жизни оказались такой “ядовитой смесью” (по выражению отца), которая нарушила равновесие его нервной системы, и он заболел жестокой бессонницей, оставшейся у него в разной степени на всю жизнь...». Как мы увидим далее, добрые дела Короленко часто сопровождалось трагедиями в семейной жизни. Тем не менее, Владимир Галактионович не ожесточился, а, наоборот, с энергией, свойственной молодому возрасту, принялся продолжать свою правозащитную, благотворительную деятельность.

В 1900 году писатели Владимир Галактионович Короленко и Антон Павлович Чехов были избраны почётными академиками Императорской Академии наук по разряду изящной словесности. А ещё через два года такой же чести удостоились Сухово-Кобылин и Горький. Но, по мнению Николая II, вчерашний бродяга, подвергавшийся арестам и ссылкам за антиправительственную деятельность (имелся в виду, конечно, Горький), не мог быть удостоен такой чести. И царь своё отношение выразил более чем откровенно, изволив начертать «Более чем оригинально». Академия официально объявила, что выборы Горького являются недействительными, так как она не знала, что означенный Горький находится под следствием, в качестве обвиняемого по политическому делу. Короленко и Чехов сочли подобное низкопоклонство академиков оскорбительным для своей совести и вышли из состава Академии. При этом оба руководствовались разными мотивами.

Короленко в «академическом случае» видел отражение особенностей самодержавного режима и его мотивы, объясняющие сложение с себя звания академика – мотивы общественно-политического порядка. Чехов же свои доводы, разъясняющие невозможность для него пребывать в Академии, построил на мотивах глубоко этических: он поздравлял сердечно (Горького при избрании) и он же признавал выборы недействительными (как член Академии). И эти противоречия не укладывались в его сознании, нарушали его чувство справедливости. «Академический случай» 1902 года был уже вторым, когда мировоззрение Короленко и царя круто разошлись, когда Короленко решительно и публично выразил противоположную царской нравственно-этическую позицию. В первом случае, в 1881 году, он, будучи в тюрьме, демонстративно отказался присягать только что вступившему на престол Александру III, после того, как ему официально заявили, что за подобным актом верноподданства неминуемо последует радикальное изменение в лучшую сторону условий его содержания. На сделку с царской администрацией Короленко не пошёл, за что отправился на пять лет в якутскую ссылку.

В 1900 году Короленко окончательно перебрался в Полтаву, где и прожил с небольшими перерывами до самой смерти. В 1905 году – первом году Первой русской революции, по югу России прошла волна еврейских погромов. В октябре месяце ожидался они и в Полтаве. Обстановка в городе накалилась до предела. Три дня, – в пик шовинистического угара, когда государственные силовые структуры самоустранились от решительных миротворческих действий, Владимир Галактионович провёл на базаре, удерживая толпу от кровавых и необратимых преступлений. Особенно рьяным мужикам он смотрел в глаза и пожимал руки. Пребывая в полной растерянности, один из них воскликнул, что не знает, как теперь поступать, «потому что не можно бить жидів тиею рукою, шо Короленко пожав». Моральный авторитет писателя был настолько силен, что ему практически в одиночку удалось предотвратить еврейские погромы в Полтаве.

В 1906 году Короленко разразился в прессе серией статей, обличивших царских карателей, жестоко расправившихся с украинскими крестьянами во время подавления революционных волнений в 1905 году. Дело заключалось в следующем. Текст исторического Манифеста от 17 октября 1905 года был растиражирован и распространён по всем российским городам и весям. Не миновал он и Полтавщину. Везде, где можно было ознакомиться с содержанием Манифеста, собирались массы людей, обсуждали его, неграмотные просили читать им текст вслух. Местные власти тут же принимались арестовывать наиболее активных чтецов и комментаторов, что в корне противоречило содержанию документа, в котором чёрным по белому были прописаны права на свободу слова и собраний. Как писал Короленко в своих очерках: «Очевидно, народ “слишком непосредственно” принимал обещания манифеста о “неприкос-

новенности личности” и “ответственности лишь по суду”, считая эти обещания уже вошедшими в силу. Между тем администрация, особенно уездная, не желала отказываться от привычных способов действия. Понятно, что всякая возбуждающая агитация на этой почве встречала в народе восприимчивое и отзывчивое настроение». Поскольку в ту пору наиболее напряжённая обстановка сложилась в Сорочинцах («прославленных некогда весёлыми рассказами Гоголя»), серия публицистических статей Владимира Галактионовича стала называться «Сорочинская трагедия».

Полтавский опыт Короленко противодействия еврейским погромам получил продолжение в 1911–1913 годах, когда в России кипели страсти вокруг так называемого «дела Бейлиса». Напомню, обвинялся в ритуальном убийстве двенадцатилетнего киевского мальчика Андрея Ющинского киевлянин, тридцатисемилетний Менахем Бейлис, сын глубоко религиозного хасида. Он был арестован киевской полицией через четыре месяца после обнаружения трупа мальчика и отсидел в следственной тюрьме два с лишним года. Обвинение в ритуальном убийстве было инициировано активистами черносотенных организаций и поддержано крайне правыми политиками и чиновниками. Одним из таких «инициаторов» и ключевых фигур на процессе по делу Бейлиса и в раздувании в России антисемитизма был министр юстиции Щегловитов.

Странно, но до сих пор нет ни одного отечественного серьёзного научного исследования причин внезапного роста в России в конце XIX века юдофобии и национал-шовинизма. Конечно, с целью очернения царизма и всего Старого Мира, большевистская идеология и история намеренно пугали советских людей преступлениями самодержавия, масштабы и размах которых раздувались до неприличия. Но в то же время, совокупность жертв от еврейских погромов на юге России, плюс жертвы «Кровавого воскресенья» – лишь ничтожная доля процента от погибших в годы сталинских репрессий, которые смело можно назвать геноцидом советского народа. Тем не менее, хотелось бы вспомнить взгляды на проблему отношения православного народа России к представителям иудейской конфессии, изложенные главным идеологом царизма на рубеже XIX–XX веков Константином Петровичем Победоносцевым, двадцать пять лет на посту Обер-прокурора, возглавлявшим Святейший Синод и тридцать пять лет являвшимся членом Государственного совета. Эти мысли он излагал Александру III, своему воспитаннику, касаясь невозможности отмены черты оседлости для иудеев. Вот его основной аргумент:

Серия либеральных преобразований, произведённых в предыдущее царствование, открыла возможность для развития отечественного капитала. В том числе, и капитала финансового. Однако начинающие отечественные финансисты, как желторотые птенцы, не выдержат конкуренции при равных условиях развития с мировыми банковскими зубрами – иудеями, получившими ещё при Карле Великом преимущественное право заниматься денежными операциями. А поскольку дельцы, принадлежащие к этой конфессии, связаны между собою кровными, деловыми и религиозными связями по всему миру (а связи эти не удавалось проследить и контролировать ни одному правительству), то предоставление им равных условий с русскими банкирами приведёт к глобальной семитизации отечественных финансов, что в свою очередь чревато утратой Россией национальной безопасности и экономического суверенитета. А посему, следует жёсткими мерами ограничить распространение и свободное перемещение иудеев по российским пространствам, гарантией чего является сохранение черты оседлости.

Александр III с восторгом и деловым рвением воспринял мысли своего наставника, в культурной политике проводя линию на принудительную словую русификацию, повсеместно уничтожая национальные школы, национальное образование и языки. Сохранение черты оседлости в совокупности с усилением великорусского культурного прессы привели к подъёму национального самосознания и активного социального противодействия официальной национально-культурной государственной политике. Таким образом, коренной причиной массового недовольства самодержавием со стороны иудеев стало недопущение их к финансовой деятельности – любимого и жизненно важного для них пространства обитания, монополизированного в Западной Европе к тому времени более чем тысячу лет. Но, как известно из законов физики, каждому действию равна сила противодействия. Чувствуя за собой государственную поддержку, социальные слои, привыкшие видеть проблемы своего бытия не внутри себя, а вовне, выплеснули на иудеев свои низменные деструктивные инстинкты. Начались так называемые еврейские погромы. Говорят, что когда Победоносцев доложили об истинных причинах погромов и их негативных последствиях для еврейского народа, он будто бы ответил: «Треть вымрет, треть уедет, треть ассимилирует». Так будет решена эта неприятная проблема. Ещё ему приписывают фразу: «Еврей – паразит, удалите его из живого организма, внутри которого и за счёт которого он живёт, переселите его на скалу, и он погибнет».

Тут уже передёргивает и третья сторона – юдофилы. Ничего против евреев, обращённых в православие, Победоносцев не имел и не мог, по логике проводимой им политики. Как таковых просто евреев, в том числе и просто русских в Российской империи не существовало. Национальная принадлежность не имела государственного статуса. Её заменяла принадлежность конфессиональная. Обращённый еврей становился частью народа православного, обладающий всеми теми же правами и возможностями, что и православные русские. Никто не мог без судебных последствий упрекнуть его в еврействе. Да никто и не упрекал. Слово *еврей* в обиходе вообще не употреблялось, в отличие от слова жид (иудей), которое идентифицировало человека по религиозному признаку. Во время еврейских погромов наибольшую агрессивность проявляли, как правило, евреи-выкресты, что зафиксировано во многих документах той эпохи. Не говоря уже о художественной литературе. Взять хотя бы «Амбруну» Куприна.

Крещённый в православии еврей Израиль Мойшевич Бланк стал именоваться Александром Дми-



триевичем (отчество по крёстному отцу), был отцом матери Ленина, дослужился до статского советника, получив потомственное дворянство. Приобретя имяне Кокушкино в Казанской губернии, он стал помещиком средней руки. Борис Александрович Штейфон, генерал-лейтенант Русской армии генерала барона Врангеля, комендант галлиполийского лагеря, был сыном харьковского крещённого еврея, цехового мастера. Командир Русского охранного корпуса в Югославии, во главе которого активно сражался в союзе с фашистами против партизан Тито и Красной Армии. Никаких претензий со стороны гитлеровских расистов относительно своего национального происхождения не имел. Умер 30 апреля 1945 года от сердечного приступа после всенощного бдения. Наверное, достаточно.

Итак, дело Бейлиса... Процесс по делу о совершении ритуального убийства православного мальчика Менахемом Бейлисом проходил в Киеве с 22 сентября по 28 октября 1913 года. Это был год Романовских торжеств, апофеоз трёхсотлетней правящей династии, гаранта духовного и конфессионального главенства православия в России. Поэтому процесс в Киеве сопровождался, с одной стороны, активной антисемитской кампанией, а с другой – общественными протестами всероссийского и мирового масштаба. Владимир Галактионович в своих публицистических произведениях не однажды заострял внимание читателей на угнетённом положении иудеев в России, был их последовательным и активным защитником. С 1911 по 1913 год он опубликовал более десятка статей, в которых разоблачал ложь и фальсификации черносотенцев. Реакционеры и шовинисты, раздувавшие «дело Бейлиса» им также не были забыты. Мировая признательность и уважение, пришедшие к Короленко ещё за двадцать лет до процесса в Киеве (в чём он смог убедиться в Чикаго в 1993 году на всемирной выставке), помогли ему направить мировое общественное мнение в правозащитное русло.

Всё было сделано, процесс вот-вот должен был начаться. Но Короленко заболел и едва смог присутствовать на заключительной стадии процесса. Вот как он сам рассказывал о завершении судебного заседания в Киеве: «Среди величайшего напряжения заканчивается дело Бейлиса. Мимо суда прекращено всякое движение. Не пропускаются даже вагоны трамвая. На улицах – наряды конной и пешей полиции. На четыре часа в Софийском соборе назначена с участием архиерея панихида по убиенному младенцу Андрюше Ющинском. В перспективе улицы, на которой находится суд, густо чернеет пятно народа у стен Софийского собора. Кое-где над толпой вспыхивают факелы. Сумерки спускаются среди тягостного волнения...»

...Становится известно, что председательское резюме резко и определённо обвинительное. После протеста защиты председатель решает дополнить своё резюме, но Замысловский возражает, и председатель отказывается. Присяжные ушли под впечатлением односторонней речи. Настроение на суде ещё более напрягается, передаваясь и городу.

Около шести часов стремительно выбегают репортёры. Разносится молнией известие, что Бейлис оправдан. Внезапно физиономия улиц меняется. Виднеются многочисленные кучки народа, поздравляющие друг друга. Русские и евреи сливаются в общей радости. Погромное пятно возле собора сразу теряет своё мрачное значение. Кошмары тускнеют. Исключительность состава присяжных ещё подчёркивает значение оправдания. Когда Короленко вышел из зала суда и сел в коляску, восторженная толпа подбежала, выпрягла коней и в руках донесла коляску до гостиницы. Это был триумф русского писателя и общественного деятеля, триумф Правды над Кривдой, Добра над Злом. В тот 1913 год Короленко исполнилось шестьдесят лет.

Юбилей писателя широко отмечался в России. Именно тогда русская пресса стала называть Владимира Галактионовича «Солнцем русской литературы». Когда корреспонденты спросили Ивана Бунина, что он думает о Короленко, то будущий нобелевский лауреат ответил, что «он, Бунин, может спокойно жить, потому что в России есть Владимир Галактионович Короленко – “живая совесть русского народа”». Казалось, что теперь деятельность писателя, направленная на борьбу с несправедливостью, будет ещё более успешной, что гарантией этому успеху станет его непрерываемый авторитет в российском обществе. Но это только так казалось. 1913 год, как и в других сферах российской жизни (и не только в промышленности), стал пиком их развития. А потом началось ураганное сползание в пропасть. Оно, увы, не минуло и Владимира Галактионовича, увлекая его за собою, как часть Старого Мира; и то, что он был лучшей его частью, тем более, не оставляло ему никаких шансов выжить в этом революционном апокалипсисе.

Уже в 1914 году война властно постучалась в российский дом, навсегда забрала, как немыслимую по размаху гекатомбу, миллионы жизней. Сердце Короленко едва не разорвалось от бессилия. А дальше – хуже. В Февральскую революцию 1917 года, считая себя «беспартийным социалистом», Короленко всерьёз принялся было за демократическое переустройство общества и государства, как на смену ей пришла революция Октябрьская. И тут началось... Во-первых, Короленко большевистский переворот не принял, вполне обоснованно считая, что «сила большевизма всякого рода в демагогической упрощённости», а основной ошибкой Советской власти полагал «попытку ввести социализм без свободы... Социализм придёт вместе со свободой или не придёт вовсе». К тому же он резко отрицательно отнёсся к Брестскому соглашению, по которому большевики не моргнув глазом отдали на растерзание кайзеровским войскам его любимую Украину. Ведь ещё до октябрьских событий Короленко писал в серии очерков «Война, отечество и человечество», что не заслуживают уважения отечественные «пораженцы», что только после освобождения национальной территории и заключения справедливого мира можно будет избежать «войны всех против всех». Участие России в Первой Мировой войне Короленко рассматривал как продолжение политики по защите национальных интересов. А заключение Брестского сепаратного мира и

развязывание Гражданской войны – как стремление к уничтожению российской цивилизации. Как после этого относились к нему вожди большевиков, можно не рассказывать.

Для Украины Гражданская война принесла неисчислимые бедствия, что в немалой степени было следствием калейдоскопической смены властей. Короленко совершенно забросил литературную деятельность, занимаясь преимущественно спасением жертв того или иного режима. Приходили в Полтаву белые, он шёл в контрразведку, приходили красные – в ревтрибунал или ЧК, обращаясь с ходатайствами об освобождении потенциальных жертв террора. Большую помощь в этом благородном, но рискованном деле оказывал Короленко его зять, Константин Иванович Ляхович, муж его дочери Наташи. Молодой мужчина, физически крепкий и сообразительный выполнял, при тесте функции секретаря, охранника, пресс-атташе. Но... пришли в Полтаву большевики и арестовали Ляховича. Все попытки Короленко аргументированно доказать, что Константин Иванович никогда не являлся врагом Советской власти, успеха не имели. Было такое ощущение, будто чекисты испытывали садистское наслаждение, демонстрируя уважаемому народом правозащитнику, что его чары на них не действуют. «...тише, ораторы, ваше слово, товарищ маузер!». Его милостиво отпустили домой только тогда, когда в тюрьме Ляхович заразился сыпным тифом. Через три дня, 16 апреля 1920 года Константин Иванович скончался. Эта смерть явилась вторым большим ударом для Короленко после смерти в 1892 году маленькой дочери во время «Мултанского дела» и тяжело отразилась на его здоровье.

Неоднократно в годы Гражданской войны Короленко выступал против «красного» и «белого» террора, ходатайствуя перед теми или иными властями о спасении человеческих жизней. Он осуждал как продрозвёрстку, так и раскулачивание, видя в них безнравственное и безумное прекращение нормальных экономических отношений. Он выступал за свободу слова, считая, что «лучше даже злоупотребления свободой, чем её отсутствие». Короленко требовал отказа властей от невозможного в отсталой стране осуществления социализма и коммунизма. Однако получался парадокс: Короленко, всю жизнь борющийся за счастье народа, за его права и достоинство, теперь, когда народ пришёл к власти и принялся творить произвол несравненно более гибельный, чем произвол царский, оказался фигурой, мягко говоря, неудобной, постоянно вызывающей к милосердию и справедливости. Если прежде Короленко боролся с проявлениями зла при царском режиме, то теперь он наткнулся на само зло в чистом его выражении, преодолеть которое он оказался бессильным. Плетью обуха не перешибёшь! Но Владимир Галактионович продолжал свои добрые дела, чего бы это ему не стоило.

Вот один из случаев времён Гражданской войны. В Полтаве два вооружённых налётчика ворвались в дом писателя, где хранились два миллиона рублей, собранных общественными организациями для перевозки голодающих детей из Москвы на Украину. Большой шестидесятишестилетний писатель не дрогнул и бросился на грабителя, чтобы схватить его за руку. Вот, что Короленко сам об этом рассказывал. «Затем, бандит пытался повернуть револьвер ко мне, а мне удавалось мешать этому. Раздался ещё выстрел, который он направил в меня, но который попал в противоположную сторону в дверь... Отчётливо помню, что у меня не было страха, а был сильный гнев». На помощь мужу сразу же кинулась Евдокия Семёновна, а затем и младшая дочь, Наташа. Соня, старшая дочь Короленко, схватила чемоданчик с деньгами и выскочила через окно на улицу. С деньгами она спряталась у соседей. Встретив такой решительный отпор, налётчики бросились бежать. Владимир Галактионович со своим маленьким револьвером ринулся за ними, но жена и дочь силой удержали его, заперев двери.

Невозможно себе представить эту сцену, в которой роль Короленко исполнил бы Ульянов (Ленин), даже в пятидесятилетнем возрасте. Зато, если в первые годы советской власти побывать на кухне коммунальной квартиры (где «уплотнённых» и «подселённых» жильцов было как сельдей в бочке), то непременно можно было бы услышать образцы ленинской лексики из уст соседок, не поделивших очередь к водопроводному крану. Что, с другой стороны, подтверждало опасение относительно невозможности и нежелания россиян жить коммунально. То есть в коммуне. То есть в коммунизме.

Вот текст письма Ленина Горькому, отправленного «буревестнику революции» в 1919 году: «Интеллектуальные силы» народа (это, видимо, имелся ввиду морально-интеллектуальный потенциал жильцов коммунальной квартиры) смешивать с «силами» буржуазных интеллигентов неправильно (соседям по коммуналке, видимо, противопоставлялись профессор университета). За образец возьму Короленко: я недавно прочёл его, писанную в августе 1917 г. брошюру «Война, отечество и человечество» (снизошёл до прочтения, а то ведь мог поступить также, как с Достоевским). Короленко ведь лучший из «околокадетских», почти меньшевик. А какая гнусная, подлая, мерзкая защита империалистической войны, прикрытая слащавыми фразами! Жалкий мещанин, пленённый буржуазными предрассудками! Для таких господ 10 000 000 убитых на империалистической войне – дело, заслуживающее поддержки (словами, при слащавых фразах «против» войны), а гибель сотен тысяч в справедливой гражданской войне против помещиков и капиталистов вызывает ахи, охи, вздохи, истерики. Нет, таким талантам не грех посидеть недельку в тюрьме, если это надо сделать для предупреждения заговоров (вроде Красной горки) и гибели десятков тысяч...»

Интересная деталь: Россия в Первой Мировой войне потеряла чуть больше трёх миллионов солдат. В то время как Гражданская война, развязанная Лениным и его большевистским окружением – 13 миллионов! И, в большей части, совсем не военнослужащих. Правда, в 1919 году Ленин не мог знать, что будет написано в графе *погибшие*, в строке *Итого*. Но кажется, что если бы мог предвидеть, это его не остановило!

В июне 1920 года в Полтаве побывал Луначарский, после Февральской революции 1917 года называв-



ший Короленко одним из реальных кандидатов на пост президента Российской республики. За три года большевистского беспредела с Луначарского в достаточной степени облетел либеральный флёр. Да и должност наркома обязывала действовать, что называется, в русле... Луначарский объяснял Короленко, «живой совести русского народа», смысл директив партии и правительства. Владимиру Галактионовичу и без этих снобистских лекций отношение большевиков к русскому народу было понятно. Но, тем не менее, они договорились, что Короленко будет присылать Луначарскому письма, где изложит негативные явления политики Советской власти, а Луначарский их опубликует.

Вот цитата одного из этих писем: «Вы торжествуете победу, но эта победа гибельная для победившей с вами части народа, гибельна, может быть, и для всего русского народа в целом... поскольку... власть, основанная на ложной идее, обречена на гибель от собственного произвола». Ни на одно из писем Короленко Луначарский не ответил, как не включил его в тройку «главных украшений нашей литературы»: Брюсов – Горький – Блок. Зато стал иронично называть Владимира Галактионовича «прекраснодушным Дон-Кихотом».

Последние пятнадцать лет жизни Владимир Галактионович работал над большим произведением автобиографического характера «История моего современника». В этом романе писатель планировал обобщить всё, им пережитое в жизни, систематизировать свои философские взгляды. Но... Негативные явления, вызванные Гражданской войной, отвлекали писателя от его профессиональной деятельности. То он занимался пропажей людей, арестованных по подозрению, то устраивал для голодающих бесплатные столовые, а то принимался бороться с детской беспризорностью, основывая трудовые колонии для подростков. А то со всеми оставшимися пылом и энергией ратовал за отмену смертной казни. Когда Короленко работал над четвёртым томом, он скончался от воспаления лёгких. Никто подобного исхода предположить не мог, поскольку со времён «Мултановского дела» Короленко раз за разом переживал инфаркты. Тяжелобольной, Короленко отказывался ехать на лечение за границу, не видя свою жизнь в трагическое для России и её народа время вдали от родины. О нём многие современники оставили честные и искренние слова, наполненные любовью и признательностью этому человеку, всю свою жизнь борющимся со Злом. Не вешая рук, даже когда приходилось воевать одному.

Одна его оценка поражает своей лаконичностью и образностью – «нравственный гений». Критик Горнфельд, многие годы работавший с Короленко и находившийся с ним в интенсивной переписке, написал о нём: «О лучшем произведении Короленко едва ли возможны споры. Лучшее его произведение не “Сон Макара”, не “Мороз”, не “Без языка”; лучшее его произведение – он сам, его жизнь, его существо. Лучшее – не потому, что моральное, привлекательное, поучительное, но потому, что самое художественное».

Короленко оставил нам множество крылатых выражений и цитат, обращаясь к которым мы поражаемся их простой, жизненной мудрости:

«Люди не ангелы, сотканные из одного света, но и не скоты, которых следует загонять в стойло»

«Человек создан для счастья, как птица для полёта».

«Насилие питается покорностью, как огонь соломой».

«Художник – зеркало, но зеркало живое».

«Слово – великое орудие жизни».

«Искусство помогает человечеству в его движении от прошлого к будущему».

«Только здесь (в Чикаго) чувствуешь сердцем и сознаешь умом, что наш народ, тёмный и несвободный, – всё-таки лучший по натуре из всех народов!»

Трудно, почти невозможно вообразить, что людям, называвшим Короленко «прекраснодушным Дон-Кихотом» или «Жалким мещанином, пленённым буржуазными предрассудками», писатель мог адресовать свои крылатые изречения. Они сделали всё возможное, чтобы в их Новом Мире не было бы Короленко. И, как ни прискорбно, им это удалось...

P. S.

Иван Григорьевич Щегловитов был арестован сразу по отречении от престола Николая II. Его деятельность стала предметом расследования Чрезвычайной следственной комиссии, созданной Временным правительством. Однако ко времени Октябрьского большевистского переворота следственная комиссия не успела завершить свою деятельность. Щегловитов, последний председатель Государственного совета, был позже переведён в Москву, как заложник, и, как другие заложники, был публично расстрелян вместе с ними в ходе «Красного террора», объявленного Свердловым после покушения на Ленина на заводе Михельсона. Казнь производилась публично, в Петровском парке, где вслед за Щегловитовым были расстреляны министры внутренних дел Маклаков и Хвостов, директор Департамента полиции и сенатор Белецкий, протоиерей Иоанн Восторгов. Иван Григорьевич перед смертью держался мужественно и, по воспоминаниям окружающих, «не выказал никакого страха».

«ОКОЁМ»

От редакции: В этом номере «Южного Сияния» мы публикуем произведения победителей и лауреатов Шестого Международного арт-фестиваля «Провинция у моря – 2016», а также отзывы о прошедшем в сентябре 2016 года празднике литературы и мифа.

ПРОВИНЦИЯ У МОРЯ Итоги и впечатления

В Одессе и в Черноморске завершился Шестой международный арт-фестиваль «Провинция у моря – 2016».

Организаторами VI Международного арт-фестиваля «Провинция у моря – 2016» стали Южнорусский Союз Писателей, арт-проект «Территория Ъ», арт-объединение «Фермата», арт-объединение «Поющая Гавань», ЛИТО им. В. Домрина, Творческая гостиная «Diligans» и международный литературный портал «Графоманам.нет». В оргкомитет вошли Председатель ЮРСП Сергей Главачкий, руководитель арт-проекта «Территория Ъ» Ирина Василенко, представитель арт-проекта «Территория Ъ» Александр Семькин, председатель ЛИТО им. В. Домрина Леонид Кулаковский, руководитель Творческой гостиной «Diligans» Людмила Шарга, руководитель арт-объединения «Поющая Гавань» Светлана Полинина, председатель «Союза студентов г. Ильичёвска» Ирина Гавлицкая, музыкант Сергей Кравчук, журналист Лиана Фатеева, представители арт-объединения «Фермата» Ирина Журенко, Дарья Островская, Николай Журенко, Ольга Томашунос.

Первой ласточкой нынешнего фестиваля традиционно стал дистанционный поэтический конкурс, названный строкой из стихотворения И. Бродского «На столетие Анны Ахматовой...» – «Бог сохраняет всё; особенно – слова...». В состав жюри вошли Станислав Айдинян (Москва), Ольга Андреева (Ростов-на-Дону), Дмитрий Артис (Санкт-Петербург), Евгения Джен Баранова (Ялта – Москва), Владимир Гутковский (Киев), Ольга Ильницкая (Одесса – Москва), Валерий Кожушмян (Днестровск), Анна Маркина (Москва), Александр Петрушкин (Кыштым), Олеся Рудягина (Кишинёв), Александр Семькин (Черноморск). В конкурсе приняли участие 220 авторов из 11 стран – Украины, России, Беларуси, Молдовы, Израиля, Индонезии, Германии, Грузии, Новой Зеландии, ОАЭ, США. Результаты предварительного поэтического конкурса были объявлены 10 июля. Согласно оценкам членов компетентного жюри, победителями стали:

- 1 место – Людмила Калягина (Москва)
- 2 место – Наталья Панишева (Киров)
- 3 место – Борис Вольфсон (Ростов-на-Дону)

Лауреатами конкурса стали Юлия Долгановских (Екатеринбург), Антон Васецкий (Москва), Александр Соболев (Ростов-на-Дону), Дарья Ильгова (Москва), Евгения Ульянкина (Москва), Дарья Лебедева (Москва), Анна Протасова (Киев), Оксана Боровец (Киев).



Сама «Провинция у моря – 2016» была открыта 25 августа в Золотом зале Одесского литературного музея и продолжалась 11 дней. Площадками проведения фестиваля стали Одесский литературный музей, Библиотека им. Эдуарда Багрицкого (г. Одесса), Одесский дом-музей им. Н.К. Рериха, Музей изобразительных искусств им. А.М. Белого (г. Черноморск), Центральная городская библиотека им. И. Рядченко (г. Черноморск), Дворец культуры (г. Черноморск), ресторан «Модильяни» (г. Черноморск) и концертный комплекс «Metropolis». Более тридцати различных мероприятий состоялось за время фестиваля. Открытый финал основного поэтического конкурса состоялся 3 сентября в Черноморске. В жюри работали Ольга Андреева (Ростов-на-Дону), Дмитрий Бураго (Киев), Ольга Ильницкая (Одесса – Москва), Владимир Каденко (Киев), Александр Карпенко (Москва), Юрий Ковальский (Киев), Валерий Кожушмян (Днестровск), Олег Никоф (Киев), Александр Семькин (Черноморск). Председателем жюри в четвёртый год подряд стал Президент «Союза писателей XXI века» Евгений Степанов (Москва). Благодаря им 6 сентября определились победители Основного поэтического конкурса и Анонимного конкурса одного стихотворения:

Основной поэтический конкурс:

- 1 место – Наталья Горященко (Москва)
- 2 место – Максим Стативко (Киев)
- 3 место – Анна Галанина (Москва) и Юлия Переплётчик (Черноморск)

ГРАН-ПРИ достался поэту Александру Соболеву из Ростова-на-Дону.

Анонимный конкурс одного стихотворения:

- 1 место – Людмила Калягина (Москва)
- 2 место – Леонид Кулаковский (Черноморск, Украина)
- 3 место – Елена Шелкова (Киев, Украина) и Анна Стреминская (Одесса)

Также 3 сентября прошёл конкурс на Приз зрительских симпатий:

- 1 место – Анна Протасова (Киев)
- 2 место – Валерий Ременок (Выборг)
- 3 место – Юлия Переплётчик (Черноморск)

А в Поэтри-слэме, который прошёл 4 сентября места распределились следующим образом:

- 1 место – Елена Шелкова (Киев)
- 2 место – Анна Галанина (Москва)
- 3 место – Александр Семькин (Черноморск)

Специальными призами фестиваля были награждены:

- от Южнорусского Союза Писателей: Дмитрий Близнюк (Харьков);
- от арт-проекта «Территория Ъ»: Юлия Переплётчик (Черноморск);
- от литературного портала «Графоманам.Нет»: Елена Лазарева (Киев);
- от ЛИТО им. В. Домрина: Любовь Колесник (Тверь);
- от литературного журнала «Южное Сияние»: Наталья Масленникова (Ярославль).

Спасибо всем гостям и участникам арт-фестиваля за непревзойденную радость встреч и общения! Мы верим, что на нашей Территории мира вам всем было уютно и комфортно!

А напоследок, в доказательство предыдущей фразе, предлагаем читателю впечатления участников фестиваля о проведённых у нас днях.

Людмила Калягина (Москва):

Мы улетали из Одессы ночным рейсом.

За спиной маячил сумасшедший день – вернее, таких дней было несколько, но этот, последний, оказался квинтэссенцией сумасшествия, пёстрой каруселью, мельканием событий и лиц. Неудивительно, что в два часа ночи соображалось плохо.

На паспортном контроле я подавала в окошко документы жестом плохо отрегулированного робота, правда, через полминуты внезапно услышала:

– А, это Вы в Ильичёвск ездили – ну, в Черноморск?

– Откуда Вы знаете?!

– Да Вы же, когда приехали, через меня проходили! Я помню: поэзия и всё такое...

Он действительно помнил! А ведь с момента моего прилёта в Одессу прошла целая неделя. Большой праздник. Маленькая жизнь. «Поэзия и всё такое».

Я не знала, чего ожидать от этой недели. Как человек патологически нетусовочный, я обычно ограничиваюсь общением, чтением и конкурсами в Интернете, изредка посещая поэтические вечера – благо, Москва ими весьма богата. «Провинция у моря» стала моим первым «выездным» фестивалем. По возвращении все, конечно же, спросили: ну как??? А я поначалу не могла сформулировать ответ. А потом смогла.

Вам когда-нибудь хотелось расплакаться в момент расставания с людьми, ещё несколько дней назад совершенно незнакомыми? Вот как-то так. И смайлик в конце.

И спасибо – всем. За города, за море, за стихи, за песни на разных языках, за миллион новых знакомств, за китайские фонарики в ночном небе. За уверенность, что мы ещё встретимся.

Ольга Андреева (Ростов-на-Дону):

Программа фестиваля, невероятно насыщенная, была выполнена и перевыполнена, талант одесских литераторов передаётся из поколения в поколение. Столько изящества, энтузиазма, гостеприимства в каждой встрече – в концертах «Поющей гавани» Светланы Полининой, в посвящённом Бродскому вечере «Ферматы», в презентации книг в библиотеке имени Багрицкого...

Время спрессовано, не успеваешь надышаться впечатлением от каждой встречи – потом, впрямь, на год вперёд – читать и вспоминать сентябрьскую Одессу, море, солнце, великолепный город – и День города, и симфонический концерт под открытым небом, и «парад рыжих» – радостный, с барабанным боем, и гипнотическая подсветка Преображенского собора, и канатка в «Отраду»... Словами не передашь, и всё это – помимо, в дополнение к фестивалю.

А фестиваль проходил не только в Литературном музее – но и на улицах Одессы, и Евгений Гринкевич показал нам Одессу глазами Бабеля, Катаева, Ильфа и Петрова, Паустовского и Шолом-Алейхема... А после пешеходной экскурсии по дороге в музей Людмила Шарга рассказала не менее интересно о современной Одессе.

А встреча в музее была посвящена пятилетию «Южного сияния» – содержательного, насыщенного, разнообразного, красочного международного журнала, вдохновителями которого являются Сергей Главацкий, Людмила Шарга, Ольга Ильницкая и Станислав Айдинян.

Это был не просто литературный – а именно арт-фестиваль. Мы приехали уже после рок-концерта в Черноморске, но слышали о нём восторженные отзывы. И были на открытии фотовыставки «Дискретная Сансара». И для нас провели экскурсию в замечательном доме-музее Н. К. Рериха, где традиционно проходят выступления одесских поэтов.

А на прощание запускали фонарики над морем...

Финалистов было меньше, чем ожидалось, и это объяснимо. Мы из Ростова ехали в Одессу 35 часов. Москвичи, члены жюри Евгений Степанов и Александр Карпенко, добирались самолётами через Минск. Рейса «Москва-Одесса», о котором пел Высоцкий, больше нет. Кто-то очень хочет нас разъединить...

Вся надежда – на поэзию, не знающую границ. И на «Провинцию у моря».

Анна Стреминская (Одесса):

Я люблю саму атмосферу фестиваля и города Черноморска – тёплую и душевную. Люблю общаться с друзьями, выпить где-нибудь с ними пива. Люблю сидеть на берегу моря и читать стихи в неформальной обстановке.

Кроме того, для меня в этом фестивале есть элемент какой-то домашности. Я ведь работаю в Литературном музее, а половина фестиваля проходит там. Мне достаточно просто подняться на второй этаж в Золотой зал и увидеть там родные лица...

И в самом Черноморске (кстати, удачное название для бывшего Ильичёвска) есть тоже домашняя атмосфера. Город очень уютный, пляжи чистые. Такая себе мини-Одесса, и даже в чём-то немножко лучше.

Александр Соболев (Ростов-на-Дону):

Этот фестиваль стал тем, что будешь помнить. А много ли таких уголков в нашей памяти? Когда каждое утро приносило что-то новое и дружелюбное – и становилось маленьким вкладом в будущее, точкой опоры, реперным знаком. Может быть, этот взаимообмен стихами, и музыкой, и духовным багажом стал праздником ещё и потому, что стоял на литературном фундаменте двух форпостов культуры, Одессы и Ильичёвска. Каждый участник фестиваля и каждый член жюри активно добавлял к этому фундаменту долю своего внутреннего мира, творческого опыта и литературной практики.

Сказать, что организаторы были гостеприимны – мало что сказать. Они принимали у себя своих. Тем более что многие приехавшие были связаны дружбой с хозяевами этого маленького форума, общались на страницах журналов, через «мировую паутину», встречались тут уже несколько лет. Разнообразие программы было помножено на неподдельный интерес каждого к каждому, и уровень этого взаимодействия ещё выигрывал от присутствия здесь авторитетных и опытных издателей журналов. Взаимодействие с этими журналами стало системным фактором для фестивалей, и важным компонентом такого взаимодействия по горизонтали явился выпуск сборников произведений его участников, овеществлённых итогов каждого из них.

Фестиваль «Провинция у моря», объединивший русскоязычных поэтов с широкой географией, проводится Для и Вопреки. Естественная разница в воззрениях здесь ни в какой мере не мешает главному, а, пожалуй, делает его богаче. По теории при таких взаимодействиях сигнал растёт, а шум нивелируется. Как морская стихия соединяет и связывает многое, так и здесь, потому что речь идёт о настоящей поэзии как природной стихии. Помня о многом – о нашем и тамошнем – я ни в один из моментов не ощущал нарушения главного принципа, принципа взаимообогащения. Представления о родной по крови, духу, языку среде поддерживались живыми впечатлениями, стали более выпуклыми.

Спасибо всем, **сделавшим** фестиваль.

Наталья Горященко (Москва)

Сразу признаюсь – я всерьёз подумывала о том, чтобы смалодушничать и не поехать на «Провинцию у моря». Было страшно: как же так, международный фестиваль, столько талантливых поэтов, такое серьёзное жюри, а я никого не знаю, и стихи читаю по бумажке, потому что всегда зашинаюсь от волнения. Но в Черноморске с первых минут стало ясно – здесь все свои. Здесь можно быть собой. Слушать, читать, улыбаться. Дышать. Оказаться среди таких ярких и таких разных, вчера ещё незнакомых людей, почувствовать себя в своей тарелке, как будто дружили всю жизнь, – кажется, если светлая магия существует, то это была она. Потрясающие стихи, каждый из которых западает в душу, разговоры обо всём на свете, песни на разных языках, много-много тепла и моря – хочется ещё и ещё благодарить организаторов и участников. А домой я увезла не только диплом, книги и дивной красоты морскую раковину. Я увезла твёрдую уверенность, что искусство и человеческая доброта не признают никаких границ.

Анна Галанина (Минск – Москва):

Второй мой фестиваль «Провинция у моря».

Я представляю, сколько сил ушло у организаторов на то, чтобы все фестивальные шестерёнки крутились в нужном режиме, без сбоя и накладок. Но высший пилотаж – сделать так, чтобы этот механизм был невидим для участников и работал в режиме вечного двигателя, про который все знают, что его нет, но всё-таки ждут чудачков, которые его изобретут. А он уже есть и работает безотказно – на «Провинции у моря». Мы видели его в действии – чудесный вечный двигатель мира, добра, дружбы, поэзии и счастья. Одесса.

Чудеса могут начаться ещё в поезде, когда обычный попутчик окажется коллекционером, везущим в

Одессу рукописный поэтический журнал 1918 года. А в Одессе можно жить в доме, где жил Чуковский. И там будет замечательный дворик, совершенно бабелевский или катаевский – одесский, тот самый, о котором только читала. Со стульями у подъездов для вездесущих соседок, с развешенным вдоль и поперёк бельём и разговорами, разговорами... И через неделю ты уже знаешь, кто что ест, и почему пьёт, и какая зараза неведомая Галя, и что стучать в окно лучше, чем звонить в дверь, и что двери не закрываются.

Ильичёвск.

Пять минут до чистейшего пляжа, на котором водятся куриные боги – камешки с дырками. И можно загадывать желания на счастье, и они сбываются. И опять будут чудеса. Можно забывать свои стихи, но находить друзей – замечательных и прекрасных. Придут стихи и прозвучат песни – под гитару и без. Будут китайские фонарики на ночном пляже и украинский борщ в удивительном доме, вместившем всех. Скатерть-самобранка на ильичёвском пляже и ночные запалы под песни и стихи оставшихся на берегу. И рука друга – одеситки, поэта, романтика. И разговоры, разговоры – немножко обо всём, и не всегда о поэзии, но всё-таки – о ней. И чемодан с книгами и призами. И тридцать три счастливых куриных бога в нём, и первый сработает уже в самолёте, когда вдруг поменяют место на бизнес-класс. Но это уже обыденное чудо. Главное – «Провинция у моря». Люди и встречи. Стихи и песни. Одесса и Ильичёвск.

Вот писала этот текст и улыбалась, вспоминая. Послевкусие праздника, которое не уходит. Я не назвала ни одного имени, чтобы никого не обидеть, случайно забыв. Всем – спасибо! И до новых встреч!

Анна Протасова (Киев):

Я принимаю участие в фестивале «Провинция у моря» уже во второй раз – как и в прошлом году, я вышла в финал поэтического конкурса в рамках фестиваля «Бог сохраняет всё, особенно – слова...» и тем самым получила возможность поучаствовать в очном соревновании. Я не так часто выступаю со своими стихотворениями перед публикой, поэтому каждый выход на сцену для меня – дело очень серьёзное. Ведь одно дело – посылать подборку на заочный конкурс, и совсем другое – доносить своё творчество до жюри и слушателей лично. Обычно это очень заряжает энергией и даёт импульс к дальнейшему развитию. Мне импонирует тот факт, что фестиваль «Провинция у моря» ежегодно развивается, радует и то, что в организации событий фестиваля принимают активное участие представители местных молодёжных и творческих объединений; чувствуется, что для них это настоящее событие, которого они ждут весь год. Хочу сказать большое спасибо оргкомитету фестиваля и всем членам жюри за возможность приехать в Черноморск, выступить и быть услышанной.

Валерий Ременюк (Выборг):

В качестве отзыва предлагаю эпиграмму, посвящённую фестивалю и моему там троекратному участию!

Фестивалю «Провинция у моря»

*Прихожу, как за дозой в аптеку,
Припаду – и способен взлететь!
Можно трижды* войти в эту реку
И ещё заходить захотеть!*

*Примет память заметки, зарубки.
Каждый первый – почти что родня!
Потому что «Возьмёмся за руки!» –
Это лозунг текущего дня!*

** Количество моих участия.*

Елена Шелкова (Киев):

...Если Вы любитель путешествий и острых поэтических ощущений – приезжайте.

Бросайте всё и приезжайте в провинцию.

У моря.

Здесь особенные люди, здесь даже депутаты знают, что рифмовать любовь и кровь – дурной тон. Здесь бизнесмены плачут оттого, что они никогда не писали од своим партнёрам по бизнесу, и в ресторанах, пьяные, заказывают артистам хоровую декламацию Маяковского.

Здесь – птицы поют. Здесь – деревья растут, и каждый приезжий вырастает в эту землю навсегда.

В Одессе и Черноморске так много поэтов и моря, что, кажется, жители этих городов рождаются лишь для того, чтобы написать несколько строк, прочесть их у моря и... тут же стать классиком.

В этих городах нет жителей. Здесь есть лишь читатели. И весь год они ждут и обсуждают лишь одно событие – кто же в этом году приедет на фестиваль соревноваться, петь, дружить и читать, читать, читать стихи.

...Я здесь во второй раз. И мне кажется, что вся моя жизнь (довольно интересная для собирателя иронического материала) была лишь подготовкой к этим дням – волшебным дням фестиваля.

На одиннадцать дней ты попадаешь в сказку. У тебя лишь одна обязанность – успеть посетить все мероприятия, запланированные на сегодняшний день. Все остальные заботы с тебя снимаются. И ты бежишь – бежишь в литературный музей, на экскурсию по Одессе, на фотовыставку, на бардовские концерты и театральные выступления. Силы нужно иметь огромные. Прохожие с удивлением и завистью смотрят на плотные стайки приезжих и местных поэтов, проносившихся по городу табуном скаковых лошадей. Ещё бы! Ведь нужно успеть всюду!

И когда ты только-только привык к бешеному ритму бешено влюблённых в поэзию людей, наступает последний день фестиваля.

Вечером табун поэтов спускается к морю и... (вы ни за что не догадаетесь) снова читает стихи, поёт песни и запускает в небо китайские фонарики.

И море бьёт волнами о берег в ритм пятистопного ямба. И становится невыносимо грустно от того, что обязанность любой сказки – рано или поздно закончиться. Но именно в этом её красота. А красота тех, кто читает стихи морю в том, что они знают – море их не слышит. Но они упорно продолжают читать, потому что чудачки спасут мир.

Приезжайте!

Бросайте всё и приезжайте.

В провинцию. У моря.

Посетите столицу поэзии.

Станьте чудаком.

Спасите мир.

Майя Димерли (Одесса):

Так сложилось, что мне посчастливилось получить свою награду в городе Ильичёвске в прошлом году, а нынешний конкурс проходил уже в городе Черноморске. Это натолкнуло меня на мысль, что, начиная с этого года, можно проводить фестиваль «Провинция у моря» в различных городах, ничего не меняя в маршруте. Следующий фестиваль можно было бы провести, например, в городе Зурбагане. Маршрутка из Одессы та же самая, а сколько радости это может принести участникам фестиваля. Можно даже учредить конкурс на имя следующего города, который будет принимать «Провинцию у моря» на том же месте.

А если серьёзно, я бесконечно признательна всем тем, кто занимаются организацией и проведением фестиваля, это прекрасные люди.

Я бы хотела поделиться своими воспоминаниями о том, как это было для меня. С чего всё началось.

Для меня быть поэтом значит скорее быть одиночным, чем коллективным существом. Быть поэтом значит быть человеком, который не очень хорошо вписывается в жизнь и не с большим восторгом принимает правила, которые заведены в жизни. Чувствует, видит, слышит иначе, чем другие. И быть поэтом для себя – это очень интересно и безопасно. Ты гарантировано общаешься с человеком, который обаятелен бесконечно, и интеллектом не выше твоего собственного. Но для того, чтобы родиться поэтом, нужно совершить акт самопожертвования, причём такой акт – непонятно для чего и кому нужный. Нужно выйти

из подполья, нужно показать людям то, чем ты занимаешься для себя.

И это испытание похлеще того, которое выпало на долю Леди Годивы. У неё тоже была благородная миссия и намерения, но ей нужно было всего лишь раздеться. А сегодня никого голым телом не удивишь. И для того, чтобы стать поэтом нужно снять с себя немного больше, чем просто одежду.

И вот ты наконец-то решаешься на такой отчаянный шаг, и показываешь свои стихи, и ждёшь неминуемой смерти. Но этого не происходит. Наоборот, ты вдруг слышишь доброжелательный голос, который говорит: «Слушай, вот есть фестиваль. Стихи хорошие, фестиваль хороший. Может, ты всё-таки подашься?». И ты, находясь в бессознательном состоянии, поскольку только-только что-то такое показал кому-то и не знаешь, что всё это значит и чем тебе грозит, подаёшь стихи. А потом узнаёшь, что фестиваль такой немного международный. Шестнадцать стран. И ты думаешь: «Господи, только бы они не читали эти стихи. Просто не заметили. Не обратили внимания». Потому что одно дело покрыть себя неувядаемой славой, а другое дело – нескончаемым позором.

А потом ты оказываешься в удивительном вибрирующем пространстве, наполненном потрясающими людьми с изящно обнажёнными сердцами и нервными окончаниями. И понимаешь, какое счастье, ты – не один. И вдруг, ты осознаешь, как здорово, что есть такой фестиваль, который называется «Провинция у моря». А потом ты понимаешь, что этот фестиваль не существует сам по себе. Он существует благодаря людям, для которых этот бессмысленный акт самопожертвования – не пустые слова. Это люди, для которых этот акт является чем-то очень важным.

Я бесконечно признательна этим людям, потому что благодаря им, это одиночество становится не таким невыносимым. Теперь его можно перенести.

Спасибо вам огромное!

ЛЮДМИЛА КАЛЯГИНА

РИМСКОЕ ЗЕЛЁНОЕ

Выйди к реке и слушай зелёный гул.
 Думай о чём-то медленном и своём,
 Не на бегу,
 На лугу
 Под большим холмом.
 Выйди к реке, смотри на зелёный свет,
 Свет на воде качается и блеснит.
 Времени нынче нет.
 Время – в пути.

Выйди к реке и слушай неясный звук.
 Вздрогни, спустись и раздвинь тростник:
 Так не бывает, чтоб сразу двух.
 Чтобы двоих.

Ляг у воды, не спрятавшей все концы.
 Ты теперь будешь – мир.
 Дай им найти сосцы,
 Лира, корми,
 Ляг и пусти под светлую шерсть на брюхе.
 Вечность снимает слепок.
 Старые боги глухи,
 Новые – слепы...



АЮТТАЙЯ

Гору накрыло небо – хрустальный панцирь, вырос под небом город – и стал великим. Будды сжимали лотосы в тонких пальцах, Будды хранили мир в узкоглазых ликах. Пламя пришло внезапно и отовсюду, пламя плясало ярким священным цветом. Отсвет огня ложился на плечи Буддам, Будды не отворачивались от света.

Город лежал в руинах пяти столетий, люди ступали в обуви на пороги, верили: боги счастливы, если где-то свергнуты с пьедесталов чужие боги. Город лежал открытой смертельной раной, пачкая кровью складки своей постели. Люди входили в боль закопчённых храмов. Буддам в глаза, наверное, не смотрели.

Камень одним ударом не переломишь – камень, рождённый миром в его начале. Люди рубили яростно и наотмашь, Будды сжимали лотосы и молчали. Если безумью в мире дано свершиться, то и дела во славу его свершатся. Люди рубили по узкоглазым лицам, по головам, плечам, по цветам и пальцам...

Город лежит под небом семи столетий, город под пеплом выжил в эпоху мрака. Тот, кто смотрел в глаза неизбежной смерти, смотрит на мир без жалобы и без страха. Будды сидят на стёртых седых ступенях, в трещинках мелких камень шероховатый. Будды хранят Вселенную, как умеют – сотни безруких и безголовых статуй.

МАЛЬЧИКИ ИГРАЮТ В СОЛДАТИКИ

Счастье есть идеал не разума, а воображения.

И. Кант

В настоящем мужчине скрыто дитя, которое хочет играть.

Ф. Ницше

Мальчики играют в солдатики –
Оловянные, деревянные, стеклянные,
Командуют войсками,
Ведут сражения,
Несут потери.

Девочки смотрят из окон –
Узких, стрельчатых, пластиковых,
Плачут над павшими,
Тайно хранят обломки –
В шкатулках,
В цветочных горшках,
В огороде под жухлой ботвой.

Мальчики хмурят брови
Над детальными картами,
Заполняют брешы,
Поднимают дух,
Вершат историю,
Изменяют мир.

Девочки ждут и тоскуют –
В голос, молча, невидимо,
Пишут стихи,
Целуют портреты,

Шьют рубашки из жгучей крапивы,
 Стоят подолгу
 На краю света,
 Сами съедают
 Остывшие пироги.

Мальчики уходят за солнцем,
 Не различая лиц,
 Сбивают ноги,
 Теряют силы,
 Тают за горизонтом,
 Оставляя
 Недостроенные дома,
 Неокрепшие деревья,
 Неподросших детей,
 Оставляя
 Груды обломков –
 Оловянных, деревянных, стеклянных...
 Чьи-то – уместятся в ладони.
 Кому-то – хватит на памятник.

Девочки уходят за мальчиками,
 Уносят память –
 В письмах, на дисках, в сердце,
 Роняя слёзы
 Из-под увядших век,
 Не успев ничего рассказать
 О счастье...

КАРАНДАШНОЕ

Здесь на часах всегда «потом» и у посуды лёгкий крен.
 Мой первый внук рисует дом и море у смолёных стен.
 Как хорошо, что есть у нас запас цветных карандашей!
 В его мирке всегда «сейчас» – простая мудрость малышей...

Невесткин очерк пухлых губ, от сына – тёмно-чайный взгляд.
 Мой мальчик ласков и неглуц, и в чём-то, кажется, талант:
 Он помнит зыбкий облик сна и создаёт его портрет,
 Он дарит морю имена и ветру говорит «привет»,
 Он полагает цвет живым, он знает лучше и полней,
 Как много алой синевы в зелёной пенистой волне...

Важнейших дел числом под сто у неумного внучка:
 Возиться с кошкой и котом, кормить корову и бычка,
 Смеясь, ловить дрожащий луч на гладко струганом бревне,
 За отраженьем мягких туч следить в неверной глубине.

Пока плывёт надёжный дом с чудным названием «ковчег»,
 Я с внуком говорю о том, как шли дожди, как падал снег,
 Как чёрно-белая зима писала мелом на стекле,
 Как люди строили дома на твёрдой ласковой земле,
 Как зрели яблоки в садах, как цвёл каштан, как вился дым,
 Как в ручейках текла вода с дрожащей искоркой звезды.



Я расскажу, чтоб ты узнал, наследник сгинувших веков,
Что мир теперь, смолён и мал, плывёт беспечно и легко
В румяно-яблочный рассвет, упруго слушаясь руля...

...что прежней жизни больше нет.
Нам рисовать её с нуля.

НАД ПРОПАСТЬЮ

Ты её, как сестру – гребёнкой по волосам,
Ты ей: не стой, дескать, дурочка, на ветру,
А она говорит: не надо меня спасать.
Я сама, говорит, я знаю, я разберусь.

Ты её, как дочь: не ходи одна со двора!
А она говорит: что толку в глухой стене?
У меня золотое поле по самый край,
За которым небо, а небу и края нет.

Ты её, как свою – тревожно срываясь в крик,
Ты ей: запру, не пущу и не дам пропасть...
А она говорит: молчи, за собой смотри,
К твоему крыльцу, говорит, заросла тропа,

В доме пусто – огня живого не разожжёшь,
Сад засох на корню – и птице гнезда не свить...
У тебя, говорит, в полях над обрывом рожь
Вся как есть полегла.
И некого там ловить.

Т ОАКИЕНОВОЕ

Факелы прогорают, шипя смолой,
Факелы обжигают небесный свод.
Эта земля не любит, когда светло,
Прячет следы в трясине глухих болот.
Кто приходил за золотом – не дошли.
Тот, кто бежал за радугой – не догнал.
Крепкая кость у чёрной сырой земли,
Тонкая кожа да тёмные времена.
Туго, струной натянута тетива,
Трость – зазвенит лучом сквозь густой туман.
Слов не ищи, теперь не нужны слова.
Солнце приходит в мир. Отступает тьма.

ОДЕССА

Потяни за любую улицу, как за нитку –
Приведёт во двор, где солнечных пятен рябь.
Тут не шик у неё, не мраморно, не гранитно,
Ни брильянтов, ни малахита, ни янтаря.

А она всё как прежде: «синие», рыба, «кава»,
Виноградные плети, дети, бельё, коты...
И стоит, у себя из-под ног вынимая камень,
Балансируя ловко на цыпочках у воды.



ЛЕТАЛЬНОЕ

Растрёпанно, безудержно и слепо
 В колодце петербургского двора
 Рыдала осень над недвижимым небом,
 В сырой асфальт затоптанном с утра –
 Нечаянно, отчаянно и шало,
 Не с бухты, не с барахты, не со зла...
 Рыдала осень: небо не дышало.
 Последняя гроза не помогла.

CLOUD

Море было недавно, ушло посредине дня,
 Море смылось со дна и оставило здесь меня.
 Притворяюсь песком, повторяя рисунок дна.
 Мне не страшно, не страшно, я рада побыть одна.

Небо было недавно, буквально вчера ушло,
 Обнажило дощатый разохшийся потолок.
 Ты доволен, доволен, тебе одному легко:
 Есть узор древесины и парочка облаков.

Плоскость мира изогнута – небо, и в нём вода.
 Сохрани меня в облаке.
 И просматривай иногда.

ВЕРОНА ТАНЦУЕТ...

Верона сегодня в маске: глаза припухли
 От ранних дождей осенних – а впрочем, может,
 По тайным причинам... Но пара прелестных ножек
 Пленяет изяществом. Узкий носочек туфли
 Волнует гостей, потерявшихся в буйстве бала,
 А ей до поклонников нет никакого дела:
 Звучит, не смолкая, безумная тарантелла,
 С начала – до крика – до смерти – и вновь с начала...
 Верона танцует – до слёз, до полночных хрипов
 Усталых часов на игольчатых колокольнях,
 Как будто в последний раз ей сегодня больно,
 Как будто счета оплачены и закрыты,
 Как будто известно точно, что полночь грянет –
 И, вихрем слетающих масок влекомый в небо,
 Исчезнет танцующий город – совсем, бесследно,
 Оплаканный осенью – пламенной и багряной...
 Пока не смолкают напевы безумной пляски –
 Скинь маску, Ромео! Не медли – беги, Джульетта!
 Верона танцует – сегодня уходит лето...
 Не плачь – это было прекрасно. Поверь, прекрасно.



СТИХИЙНОЕ

если(когда) коснуться узнать обнять
 свет одиночество тёплое на губах
 время Огня это будет время Огня
 глина узор отпечаток клеймо судьба

если(когда) поверится отболит
 след на песке и дорога и пыль и прах
 время Земли это будет время Земли
 корни побеги соки надрез кора

если(когда) взвихрит полыхнёт костром
 искра звезда неизвестность движенье штор
 время ветров это будет время ветров
 воздух движенье небо дыханье шторм

если(когда) потянется влажный дым
 лиственно пряно под корень до дна дотла
 время Воды это будет время Воды
 дождь и река и лодка и без весла

НЕ...

*«Не жалею, не зову, не плачу...
 С. Есенин*

Вдруг понимаешь, что поздно уже не сметь
 Петь вдохновенную ересь про жизнь и смерть.
 Сколько осталось пути – половина, треть?
 Я не жалею – а толку теперь жалеть?

Гамбургский счёт актуален и не смешон.
 Плед и вино – пусть банально, но хорошо.
 Кот на диване – пушистый родной пизжон.
 Я не зову: кто хотел, тот уже пришёл.

«Сколько мы вместе?» – «Да столько и не живут!»
 Видим в окно облетающую листву.
 Жизнь полосатая – спелый степной кавун.
 Я не реву, ненаглядный мой, не реву.

НАТАЛЬЯ ПАНИШЕВА

В каждом имени, в каждом слове и в каждом жесте
 Скрыта бездна подтекстов, чёртова прорва смыслов.
 Ветер дует, покада не лопнут щёки, гуляет над нашим мысом,
 Громыкает кровельной жестью.



Ты сегодня сказала, поставив красную чашку на край сушилки,
 Что неплохо бы всё, что открыли – закрыть обратно,
 Школьный глобус укутать снегоподобной ватой
 И убраться подальше, и не повторять ошибок.

Мы выходим из дому и не затворяем ставни.
 Мы идём по песчаному берегу, влажной холодной кромке,
 А вода стекленеет, а воздух становится хрупким, холодным, тонким.
 По-другому уже не станет.

Мы идём и ветер стихает, а берег затягивает туманом,
 Проступают на картах белые пятна, истаявают границы.
 Мы идём, мы сжимаем друг другу руки, не плачем и не боимся.
 Мы играем в антиколумбов, в неправильных магелланов.

Вместе с птицами движутся к линии горизонта
 Имена, как финальные титры фильма: Гудзон, Марко Поло, Беринг...
 Волны катятся к мысу, волны терзают берег,
 Чайки вторят далёким звукам туманных гонгов.

Так поднимешь лицо, пальцы нервные сцепишь замком...
 На потом – стопка тонких тетрадок, исписанных крупно.
 За окном – школьный двор, пересыпанный снежной крупкой
 И мальчишеский треп пересыпан лихим матерком.
 В горле ком.
 И отложишь проверку тетрадей на завтра.
 Комковатая снежная каша поспеет на завтрак,
 А покуда – крупа и горячий прислаженный чай,
 А покуда – немое кино за двойным переплётом,
 И следишь за сюжетом, как будто бы задал вам кто-то
 На вопросы о главных героях потом отвечать.

По пустым коридорам рассыпался шум переменный,
 На углу у пельменной работяги толпятся, смеют, собираются есть.
 Школьный двор по периметру снегом очерчен.
 В классе чисто и пусто. Окончена первая четверть.
 И отличники есть.

А реке остается полмесяца течь. В школе топится печь
 И синеют за белыми рамами сумерки хмуро,
 И течёт над дворами родная постылая русская речь,
 И всё прочее – литература.

Письма в провинцию. Нож костяной.
 Я первым долгом читаю постскриптум
 И прислоняюсь к стене. За стеной –
 Маленький мальчик, терзающий скрипку.



Вспомнишь, что каждый вот так начинал:
Помесь любви и рутинной работы.
Сколько их мается по вечерам,
Мальчиков, не попадающих в ноты?

Кажется, это уже седина,
Тронешь ладонью – всего лишь белила.
Настежь балкон, над балконом – луна.
Глубже вздохнуть и вцепиться в перила.

Тянутся между столбов провода,
Словно линейки из нотной тетради.
Жизнь не закончится. Нет. Никогда.
Мальчик, играй бога ради.

По скатерти катятся бусы и сны,
И лампы в гостиной пока не потухли.
Надтреснутый смех у фарфоровой куклы.
Как холодно. Как далеко до весны.

Провинция. Скука. Декабрьская мгла.
Признаться, не радостна что-то картина.
Над детской кроваткой цветёт скарлатина.
Ты глаз не смыкаешь, ты сходишь с ума.

Замри на секунду. Перо – на весу.
Как будто забудь о ребёнке и муже...
Я, право, не знаю, что может быть хуже
Зимы и бессонницы в третьем часу,

Где тянутся ветви герани больной
И сыпаются сотни соцветий скарлатных,
А ты их с ковра поднимай аккуратно,
Читай... И пока оставайся немой,

И верь, что хорошее всё-таки есть,
Не век же метаться в бреду и в истоме...
Ты после напишешь о маленьком доме,
Где, словно герань, отцветала болезнь.

По ночам фонари на улицах не горят,
Ход вещей и стрелок здесь навсегда нарушен.
Говорят, что здесь вечно холодно. Говорят,
Будто бы от удара под дых выдыхаешь душу

Разом. Резко. А после – долгая немота.
Ты невидящим взглядом смотришь на стены, крыши,
После этого долго держишь ладонь у рта
И никак не можешь поверить, что снова дышишь.



Шум в ушах. В поседевших висках метрономный стук.
 Постепенно в мир возвращаются цвет и звук.
 Силуэты теней на стене проступают тушью.

Я как сердце города. Я в нём почти не бьюсь.
 Если спросят меня однажды, чего боюсь,
 Я отвечу и не задумываясь – душью.

Скажи, как научиться забывать
 И заново придумывать слова?
 Нас здесь с тобой оставят зимовать
 И вечностью покажется зима.

И будут звёзды зреть над головой
 И волки будут по лесам стелать.
 Нас в комнате поселят угловой.
 Там будет вечно промерзать стена.

Там будет ливень по стеклу стегать
 И как ребёнок плакать по ночам.
 И нам самим придётся постигать
 Науку на звонки не отвечать,

И весточки по почте получать,
 И обещать прийти до темноты,
 И, чтоб с собою не носить ключа,
 С соседями переходить на «ты».

По шороху на лестнице шагов
 Друг друга научиться различать.
 На нашей кухне запах пирогов
 И крепкий чай. Горячий сладкий чай,

А в праздник – рюмки красного вина.
 Зима. На окнах настывает лёд.
 Холодная промёрзшая стена.
 Наш первый год. Счастливый первый год.

Я не Эльза, не Эльза. Эльза клялась молчать,
 Эльза плакала и на рубашки рвала крапиву...
 Проживаю в доме из серого кирпича.
 У меня соседи – клинические кретины.

За окном (об этом вам скажет любой поэт)
 Ночь снимает чулок и оголяет голень.
 Между братом и мной ничего кроме писем нет,
 Ничего такого, что можно считать любовью.

Я не Эльза, не Эльза, а на щеке – не слеза,
 Я пишу и жизнь уместается в двух абзацах.
 А у Эльзы был замок, брата, костёр... Глаза
 Дымом ело. Теперь у Эльзы глаза слезятся...



Только я не Эльза. Зачем мне рыдать в дыму?
Я работаю, письма пишу и вношу квартплату...
А ещё я сегодня выеду в Кострому –
Отвезу рубашку очередному брату.

Скрип колёс.
Первый шаг по бетонке несмел и робок.
Первый вдох – как будто воздух берёшь на пробу.

У стоящих в ряд типовых бетонных коробок
На балконах – лепнина, вьющаяся лоза.
Небольшой городок, постсоветское моё детство,
Приезжаю сюда раз в год, наплакаться, наглядеться,
Убедиться, что вот он, стоит, никуда не делся,
А потом вздыхаю и отвожу глаза.

КПП, военторг, ателье, детский сад, больница...
И чужому сюда ни пройти, ни проехать, ни дозвониться.
Он остался таким, как был, он ещё хранится,
Как секретик под изумрудным куском стекла:
Едет мальчик по солнечной улице, крутит себе педали.
На балконах – виноградники Цинандали.

И пора коротких, неловких наших свиданий
Истекает, но покамест не истекла.

Ты читаешь по-мандельштамовски список гомеровских кораблей,
размышляешь, где взять «парабеллум» или «веблей».
Золотая рыбка – подарок себе на последние сто рублей –
понимает всё. И главное – не болтлива.
А ты дружишь с этой рыбёшкой. Вот и сюжет готов.
Твой приятель рыж, веснушчат и бестолков.
Пробурчал, мол, лучше бы ты завела двадцать пять котов,
пошутил, что рыба неплохо идёт под пиво,

Рассказал тебе байку солёную словно море, и попросил «налей»,
а потом ушёл. Ты слышала – долго топтался с той стороны дверей.
За вечерним окном, опутан цепочками фонарей
город неуловим, расплывчат и акварелен.
С каждым днём поднимается выше в реке вода.
Жизнь похожа на пресную пьесу. И первый акт не закончится никогда.
И сюжет этой пьесы, как за окном бегущие провода
он не то что неинтересен, он параллелен.

Решено. Вот бог, вот порог, чемодан, вокзал.
Этот город тебе давно всё, что мог, сказал.
Просто время пришло, надо как-то решиться и выйти за
ту черту, которую ты когда-то сама рисовала мелом.
В первый раз ощути под ногой не ступень, а сладкую пустоту.
Вот ключи в кармане, баул на плече, карамель во рту.
Ты выходишь из дома, прижав аквариум к животу.
Да плевать ты на всех хотела.

НАБРОСОК ПО МОТИВАМ САШИ СОКОЛОВА

Называй меня веткой, Ветой, я-то знаю наверняка,
 Что беременна будущим летом и крушеньем товарняка.
 Я сижу у окна, качаю на коленях девятый том.
 Я бесслѣзна, я беспечальна, помню всё, что будет потом.
 Помню, как забытые всеми мы глядели на поплавки,
 Длилось время, катилось время плавным ходом большой реки,
 Ворковали в ветвях голубки, наливались в садах плоды,
 Прилипали к коленям юбки, тяжелевшие от воды
 В небе плавали звѣзды-рыбы, в рощах плакали соловьи,
 Повторяли реки изгибы золотые пальцы твои.
 Помню дачу, сосны, дремоту, душный полдень, тягучий сад,
 Жизнь пропахшая креозотом, солнца луч на медных весах,
 Помню родинок тѣмных россыпь выше локтя и у плеча,
 Тѣплый день, жужжащие осы, золочѣная алыча.

Называй меня Ветой, веткой, птицей в зарослях ивняка,
 Пересчитывай ребра клетки, струны, родинки на руках,
 Помни, жди, забывать не надо. Загудят от жары виски,
 Будут падать крушинки града на фарфоровые пески,
 Помни рельсов тугие ленты, речки медленной плотный шёлк,
 Козодоя, дачную Лету. Будет страшно и хорошо.
 Не бери никуда билета, мы уедем за просто так.
 Хлещет ливень, танцует Вета деревянному сердцу в такт.

БОРИС ВОЛЬФСОН

МИРЫ

ГАЛЬКА

Единые в своем многообразии
 и столь разнообразные в единстве,
 совместно образующие берег
 и дно – в объединяющем несходстве,

обкатанные морем за столетья,
 утратившие острые углы
 и всё же сохранившие отдельность,
 свой собственный характер, уникальность,

различие размеров и окраски,
 и тяжесть, и особенности формы,
 всего сильнее заметные у кромки
 прибоя. В этом главный парадокс:



их крапчатость, пятнистость, полосатость,
полупрозрачность, дымчатость и яркость –
всё то, что волны сгладить не сумели,
они же помогают проявить.

Подбрасываю гальку на ладони,
пытаясь разобраться, что же это:
песчинка бытия в безликой массе
или тот самый философский камень,
в котором смысл и тайна мироздания,
краеугольный камень, перл творенья?

Ответа нет. Секрет не раскрывая,
прибой бормочет глухо и невнятно...

И осознав, что рисковать не вправе,
исполненный похвального смиренья,
кладу я гальку бережно на место,
чтоб равновесье в мире сохранить.

ТОЧКА ВОЗВРАТА

1.

Наш мир когда-то был рождён
по слову или же из слова.
Слова истёрлись как основа
почти распавшихся времён.

И вот, забыв про светофор,
везёт в безмолвие изгнания
слова и знаки препинания
сомнамбулический шофёр.

Он кто угодно, но не трус,
скорее – несколько рассеян,
но твёрдо помнит, что на север
доставить должен этот груз.

Бросая взгляд поверх голов,
в край пауз, вздохов, междометий
он, как рыбак с тяжёлой сетью,
утрюмо тащит свой улов.

Дорогой снежною пыля,
он, всё ещё владея речью,
теряет сущность человечью
близ абсолютного нуля.

Под ним замёрзший материк,
и Бог над ним не безобиден,
и мир безлюден и безвиден,
поскольку снова безъязык.



След шин дробится, как пунктир
в конце измятого листочка.
И лишь любовь горит, как точка,
с которой вновь начнётся мир.

2.

Узкий лист препарирует каплю, смотри:
он разрезал её пополам, будто скальпель,
обнаружив, что капля содержит внутри
пару точно таких же уменьшенных капель.

Их короткая роль до предела проста:
превратившись в две линзы у острого края,
эти капли, сползая по стенкам листа,
в свой черёд препарируют их, преломляя.

Искажается смысл, ускользает из рук
пониманье единства разъятой природы.
Но шлифует две капли седой Левенгук,
как когда-то Гораций латинские оды.

Он их вставит торжественно в свой микроскоп,
винт подкрутит, с огнём нефита во взоре
изучая бесчисленных рыбок-амёб
и морские сраженья галер-инфузорий.

Он открыл этот мир, отодвинул засов
и спешит разобраться во всём понемногу.
Остальное потом разъяснит Пикассо,
сам идущий порой за советом к Ван Гогу.

Ну а в каплях бушует нешуточный шторм,
порождая научные свары и споры:
Гейзенбергу учиться советует Борн,
нет конца разногласьям Эйнштейна и Бора.

Их поэт примирит, говоря: нацеди
молодого вина – чтоб до самого края –
и сквозь призму стакана беспечно следи,
как две капли скользят, на краю замирая.

Влажный след повторяет листа кривизну –
знак вопроса, незнания нашего знак ли –
с точкой там, где сливаются снова в одну
отразившие небо бездонные капли.

3.

Мы говорим: «По логике вещей».
Но где же тот профессор кислых шей,
который нам покажет эти вещи –
да так, чтобы иные знатоки,
вкусив с утра лекарство от тоски,
не восклицали: «Он опять клеветет!»?



А с логикой у нас совсем беда:
мы плохо различаем «нет» и «да»,
не признаём «быть может» и «как будто»,
и суеверье верою зовём,
и третий нужен нам, когда вдвоём –
побыть вдвоём нам выпала минута.

Но – «терциум нон датур*» – не дано
нам третьего дождаться: он давно
с двумя другими осушает тару, –
один – Отец, другой – бесплотный Дух,
а наш – Сынок – моложе этих двух,
но тоже не дурак хлебнуть нектару.

А с пьяных глаз двоится естество,
троится, переходит в вещество
энергия отчаянного зова.
Но остывает вещь, теряя вид,
и буквы покидают алфавит,
и точка там, где раньше было Слово.

.....

Проснёмся на рассвете: голова
ещё бастует, но слова, слова
всплывают в ней и, резкость обретая,
с души похмельной сбрасывают гнёт.
А Третий нашу точку зачеркнёт:
«Не бойтесь, – скажет, – это запятая».

* *Tertium non datur* (лат.) – принцип классической формальной логики, утверждающий, что всякое суждение или истинно, или ложно, третьего не дано (закон исключённого третьего).

НА РУИНАХ ТАНАИСА

Дождь слепой не нуждается в поводыре,
а глухие раскаты далёкого грома –
в слуховом аппарате: как двор детворе,
эта местность давно им на ощупь знакома.

Ну а нам не помогут ни зренья, ни слух,
к двум погибшим эпохам скользя по спиралн,
осознать, на руинах которой из двух
мы себя обрели и опять потеряли.

Всё рождённое рано иль поздно должно
вниз по Стиксу уплыть на пароме Харона.
Прорастает сквозь древние камни зерно,
занесённое ветром из времени она.

Здесь скрестились великих империй пути,
но пресёкся один, а другой на исходе, –
и купцам уже некуда больше идти,
и бивак не покинуть усталой пехоте.



В этом городе зданьям не нужен ремонт.
Он устал, он уснул, он себе не приснится.
Но катает валы несмолкающий Понт,
и подходит гроза, и сверкают зарницы.

И витает, не выветрен, не побеждён,
над камнями, где мы только тени отныне,
запах пыли, утоптанной тёплым дождём,
перемешанный с запахом горькой полыни.

МИРЫ

Свет зажечь – налетят комары.
Так лежу – в темноте и без сна.
Сортирую на ощупь миры,
суть которых мне днем не ясна.

Ну а ночью, из списка услуг
беспольное зренье убрав,
различить их пытаюсь на слух,
вкус и запах узнать без приправ.

Старый мир – он уже мягковат,
пахнет скисшим в тепле молоком.
Новый мир – в миллион мегаватт, –
я с ним хуже, признаться, знаком.

Старый мир был и крут, и жесток,
но утратил упругость и стать.
В темноте он присел на шесток,
как сверчок, и его не достать.

Ну а новый всю свиритит,
оцифрован, циничен и спор,
не трансформер, скорей – трансвестит.
Но усталость сочится из пор.

Это я утомлен, а не он.
Я отстал, устарел, нездоров.
Мне б уснуть, но врубают неон
за окном. Значит, жди комаров.

Что ж, пора отряхнуть старый прах,
оценить незнакомую взвесь...
Но, запутавшись в этих мирах,
я как будто не там и не здесь.

Ты такая же. Нам бы вдвоём
жить на кромке ничейной земли –
в этом мире, моём и твоём,
где бы нас отыскать не смогли.

Чтоб о прерванных связях забыть,
чтобы время текло, как река,
и в ночной тишине, так и быть,
раздавалась лишь песня сверчка.



...и всё-таки остаться, уходя, –
 стать сумерками, сыростью, озоном,
 далёким громом, комариным звоном,
 под скрипы ставень шорохом дождя,

дрожа́ньем мокрых листьев и теней
 мельканием на выцветших обоях
 и лишь порой в сердечных перебоях
 напомина́ьем пролетевших дней.

Но чтоб покой ваш не нарушить впредь,
 собой не потревожить ненароком, –
 присутствие своё одним намёком
 лишь обозначить и опять стереть.

И стать небесным облачком, дымком,
 расстаться с бесполезными словами
 и отрешённо наблюдать за вами
 без слов, как будто прежде не знаком.

Потом и вовсе, разрывая нить,
 исчезнуть, раствориться в блёклой сини
 и позабыть лицо, походку, имя, –
 и лишь тогда... да нет, не разлюбить.

—

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ

VERA RERUM VOCABULA*

0.

Тоскует душа... и калёным вопросом
 в гортани закинена фраза одна...

Как голым – на льдину, как ночью – по тросу,
 как в реку – с обрыва, не ведая дна –
 так я, ни единого слова не автор,
 язык исчерпавший едва ли на треть,
 пытаюсь наведаться в ближнее «завтра»
 и в зеркале строф на него посмотреть.
 Пишу в ожидании неких знамений,
 живу, наблюдая стихов кутерьму,
 и вот, к удивлению и тем не менее,
 им удастся, как никому,
 представить ответ на проевший плесни,
 а многим – так стоивший всех волос –
 на сакраментальный «Камо грядеши?»,
 на вредный для практики жизни вопрос...

1.

Представлять – приблизительно... Медленно к ней приближаясь,
 опасаясь спугнуть...
 Так охотится львица, отсутствием перемежаясь
 на пути к обречённому гну.
 Притворяться спокойным и будничным. Жить, как обычно,
 оставаясь всегда начеку,
 изучая размер и повадки вербальной добычи.
 Так змея на суку
 над тропею висит, зеленеет побегом лианы.
 Примеряясь запрет обмануть,
 ты исследуешь стилей и лексики дальние планы,
 снаряжаешься в путь
 за слоновью костью словес и заслуженной славой.
 В глубине горделивой души
 ты на формулы жизни затеял большую облаву,
 но ещё не спешишь:
 так овраги роятся, ветвятся кораллы и мангры
 и смарагды растут!
 Ты нацелился выследить суть, облаченную в мантры,
 но случайно задремлешь – и тут...

2.

... Тут время застыло, и тёмный вертеп
 теней... а свет – как будто и не был...
 иссохшая почва уводит к черте,
 где блюдо земли прикасается к небу.

А там – ни луны, ни звёздной лузги.
 То ли небо обтянуто чёрным сатином –
 но только уже не увидеть ни зги,
 (неведомой зги...) ни носков ботинок.
 И страшно – вперёд, и поздно – назад,
 и больше не выпептать «святой Боже»,
 и смертной повязкой – мрак на глазах,
 и травы – старой змеиной кожей,
 и ухаёт темень, и лает шакал...
 И дух замирает во мгле непролазной
 за всё, что по глупости всуе болтал,
 за каждую мысль, урождённую грязной,
 за бранное слово, злосчастие лжи,
 за уничиженье глаголов модальных
 и приумноженье картонных медалей...
 Проснуться!.. раскатиться!.. попросту – жить
 и всё называть именами своими,
 правдиво и правильно!..
 Разве вотще –
 искать Настоящее Имя вещей?
 Ведь каждой дано при рождении Имя!..
 Любой – сопоставлен таинственный код,
 любая покорна творящему слову,
 и верная фраза – насытит легко
 хоть перлами истин, хоть кашей перловой!



Узнать бы...
 Но если тому суждено –
 тогда – в промежутке шакальего брёха,
 сквозь копоть и пепел, во мрака прореху
 спасением жизни приходит оно.
 И страх выжигает, и гонит уродцев,
 и собственной кровью питает закат,
 и остро царапает плоть языка...
 и всё не сорвётся...

3.

...В то утро
 сорвётся с кромки прибрежной скалы,
 легко и безгласно расстелется в воздухе скользком
 пернатое слово, кого – ни поймать, ни использовать –
 и взмоет в струе восходящей.
 И станут малы
 сначала вопросы эстетики... этики... эти
 благие и звучные смыслы... Исчезнут потом
 отдельные камни и тропы. Воздушный поток,
 слегка изгибаясь, параболу трассы наметит.

Утихнут фонемы и шум прибой глухой,
 наземные жизни опять обратятся в букашек;
 на зеркале чёрных заливов – скорлупки фисташек
 ещё измельчают, замрут просяной шелухой.
 Темнее и ближе к фиалке станет лазурь,
 размеры вершин и ущелий пойдут на попятный;
 растают, шагреновой кожей сожмутся внизу
 пространства забот и болот, ледниковые пятна,
 сотрутся и краски полей – и дорог кракелюры...

Подавно теперь не вымолвить, не написать
 волшебное слово, белое, с розовым клювом,
 изгибами крыльев взявшее ровный пассат.
 Смотри, как оно восходит в холодный покой,
 земле оставляя тугу, маяту человечью –
 широкой спиралью над временем, речками, речью,
 над нашей по ясному смыслу тёмной тоской!

* *Истинное имя вещей (лат.)*

... Без ангела справа, без четверти два,
 в холодную ночь за туманом белёсым
 услышишь урочной телеги колёса,
 гремящий по улицам старый рыдван.

За столько-то лет о себе возвестив –
 кого он везёт, и по чью-то он душу?
 Чей сон и биение крови нарушит
 его нарастающий речитатив?..



Возок, закопчённый нездешним огнём –
какие химеры его населяют?..

Твоё «санбенито»,* ларец с векселями
и списком грехов приближаются в нём.
Негромко бренчит ритуальный ланцет
на дне сундука состальным реквизитом...
И едет в телеге судья-инквизитор,
палач и возница в едином лице.
Он едет тебе воздавать по делам!..

Грохочут колёса по мокрой брусчатке,
по граням поступков, по жизни початку,
благих побуждений бульжным телам.
Всё ближе и ближе, слышней и слышней
телега из первого дантова круга...
Во тьме перед ней, запряжённая цугом,
вихляет четвёрка болотных огней –
извечным путём: от бездонной Реки –
в остывшую жизнь и постылую осень...

Фальцетом поют деревянные оси,
качается шляпа, висят постромки...
Дома, отшатнувшись с дороги, стоят,
и шамкает сумрак: «подсуден... подсуден!..»
Да есть ли проблема, коль в общей посуде
и добрые зёрна, и скудость твоя...
И стрелка весов, накреняясь, дрожит,
И мрачно кривится гроссмейстер успений,
Но, может быть, твой белокрылый успеет
На правую чашу перо положить?..

* Балахон осуждённого еретика.

Ровный пепельный свет. Ни дождя, ни слезящейся хмари.
Небеса зачехлённые серы, а кроны пестры.
У природы – октябрь. Календарная осень в разгаре,
и холодный огонь превращает деревья в костры.
Занялось – и горит-не сгорает осеннее ретро, –
и в осеннее утро уже не рискуешь простыть.
Обостряется зрение. Слух притупляется ветром.
Появляется время понять и за что-то простить.

По волнистой равнине на север спешит электричка,
а её обтекает багрово-карминовый пал...
К увядающим кущам подносят урочную спичку,
и они пламенеют, как это велит ритуал,
рыжеватым огнём, запасёнными летом лучами...
На корню совершают над ними обряд колдовской,
и высоко, высоко стоит погребальное пламя!
И душа наполняется впрок ненасытной тоской,



и не нужно иного... Оправа полей широка,
растревоженный воздух в открытое плещет окошко,
а навстречу ему итальянская рвётся гармошка,
безутешно рыдая в костистых руках старика.

РЕЦЕПТ

Возьми чекан –

с цезурой или без.

Решай цветок вербального искусства
в архитектуре панциря лангуста, –
рискованно, как требует прогресс.

Сработай так, чтоб всякий след исчез
спокойной рифмы и простого чувства,
и окружи метафорами густо
изысканного пестика протез.

Да не забудь каприз твоей души
слегка обжечь, чтоб там не мельтешила
случайный жук!..
И, это всё содеяв,
на белый бархат выложив сонет –
ты можешь дать в витрину полный свет.
И в нём сверкнёт стальная орхидея...

КОРЯВЫЙ СОНЕТ

Ну, какие стихи, когда автор у нас – дурак?..
Им, бывает, везёт, а он строчки запряг тетрадой,
ну, и въехал, что тёплый взгляд – след не его пера,
и куда как милей тебе шелест других тетрадей.

И какой он покой найдёт с полночи до утра?
Продолжением губ сухих – твой поцелуй отградный,
продолжением жадных рук – жар твоего бедра...
Даже сердце к тебе растёт деревом сквозь ограду.

Это сердце, дремучий дуб, сроду живёт не там.
Каждый жёлудь его и лист от маяты устал.
Что с того, что не шаток ствол. Прутья тоже не валки.

И когда, наконец, уснёт, кровь приструнив свою –
говорит за него стихи мартовский кот-баюн,
и гостит на его ветвях тоненькая русалка.

Облупленный зальчик – ни спаржи, ни мидий.
Обветренный вечер, и кто-то с тобой,
и славно живётся в просторной хламиде,
а рядом на сцене играет гобой.

Немного устало, чуть-чуть глуховато,
оставив за скобками прочий квартет,
дарует пришельцам печаль-модерато
и тему любви извлекает на свет
из чёрного щёголя с белым пластроном,
который сегодня угоден Творцу
и вот – исполняет в концерте гастрольном
мелодию жизни, пришедшей к концу...

Как длинно и больно, как сладко и жутко,
под слёзы на лицах, под ропот дождя
играет гобой, деревянная дудка,
из города Гамельна нас уводя.

НАТАЛЬЯ ГОРЯЩЕНКО

КРУГ ПО ДОРОГЕ ИЗ ЖЁЛТОГО КИРПИЧА

Выключаю будильник, тяну вместо времени жилы,
Но зимой можно выжить, лишь кофе присягой приняв.
Не хватает деталек, чтоб эта мозаика сложилось –
И кто был мне родным, тот счастлив теперь без меня.

Я рыдала навзрыд, как дары приносила пустоты,
Прижималась спиной к животу, ожидая тепла.
Просыпала, бежала бегом на работу,
По убитым часам в сотни раз перевыполнив план.

Видно, поезд застрял в перегоне пустое-порожнее,
Буквы, рифмы, слова превращаются в шум.
И лепить эти строчки – саркому лечить подорожником,
И удавку на шею, как будто на уши лапшу.

Вот увидишь, я сдам свой последний экзамен –
Научусь уходить, отпускать и прощать.
Загляну ей в лицо, конечно, с твоими глазами,
Завершив этот круг по дороге из желтого кирпича.

кому скейт кому ски
кому фуагра кому печень трески

кому крым кому срам
кому на работу вставать по утрам

кому старики инвалиды и дети
кому небывало высокий рейтинг



кому похоронка кому почет и медали
кому лагеря строил добрый сталин

кому давка в метро кому пол-москвы в руинах
кому комсомолка спортсменка кому балерина

кому пистолет золотой кому пули в спину
кому приговор за репост картинок

кому только спросить кому на прием к онкологу
кому фиеста по ком звонит колокол

кому бить челом кому помазание на царство
кому страх и ненависть величиной с государство

кому вставанье с колен импортозамещение

кому за все это просить прощения

Если ты пишешь стихи, это не значит, что ты поэт.
Если ты пишешь хорошие стихи, это не значит, что ты поэт.
Пахнет ли роза, если никто её не нюхает?
Давайте честно ответим – нет.

Вселенная спит, положив на тебя с пупком луны огромное брюхо.
Возможно, стихи твои – плагиат. Возможно, ты честно придумал их сам.
Или тебе их диктует Бог.
Если ты пишешь стихи, значит, ты не можешь их не писать.
Только и всего.

И он говорит, что стоишь, давай,
На последний рейс и в ночной трамвай,
Сквозь толпу, пустоту, сквозь холодный пот.
Весь общественный транспорт идёт в депо.

И он говорит, разберись в себе.
Вспоминаешь задачку «из А в пункт Б».
Вышло время. И скорость близка к нулю.
Повторяет плеер молчанья блюз.

И он говорит, хватит слёз, беги,
А вокруг темно, не видать ни зги,
Говорит мол, здесь ты умрешь от страха.
Я бросаю всё. И бегу на плаху.

И печаль была, и пришла беда.
И терять чего, и по ком рыдать,
Раз язык родной истекает ядом?
И ушедший поезд виляет задом.



Жизнь придет, у неё – будут твои глаза.
Захочет гром, как злодей из фильма,
Как холодный душ потечёт гроза –
Значит утро, всё-таки наступило.

И тогда в тебе вдруг растает лёд –
Как в бокале виски, смешается и исчезнет.
Твой бумажный голубь уходит опять в полёт
И приносит в клюве лекарство от всех болезней.
И отброшенный хвост начинает опять отрастать,
И подушка в смятении теряет перья.
И мурашки внутри... и Господи, не оставь,
Не сейчас, когда я в тебя верю.

Заиграет май свой извечный хит.
Я иду домой, а за мною следом
Дребезжат и глотают колёса стихи –
Изобретённые мной велосипеды.

Отпусти, оставь, устарел устав, и сама пуста.
Запишись в спортзал, почитай всяких умных книжек;
Если сможешь стерпеть и выжить,
То сумеешь и кем-то стать.

Помолчи, тишина склеит зубы, тянучая, как нуга, –
Квест покруче огней, вод и медных труб.
Посиди у реки, и увидишь, плывёт твой труп –
Самого страшного твоего врага.

дома вдруг закончились книги,
и я нашла потрёпанный томик Керуака в мягкой обложке,
взятый у мальчика с работы,
с которым мы целовались и ездили в Крым
пять лет назад

сейчас я на целую жизнь старше,
про Крым непринично говорить вслух,
мальчик переехал в Амстердам,
а я читаю «Бродяги Дхармы»
с его пометками на полях.

Дай мне, Господи, сил поднять голову,
Растереть по щекам свои сопли и слёзы.
Вместо ласточек здесь – только голуби,
Лезут, глупые, под колёса.



Расскажи им, как скука встречает в девять и провожает в шесть,
Как по пятницам ты пьяна, и хочется танцевать,
Как неласковый ветер ерошит шерсть.
Как за стенами офиса небо в вате и кружевах,
Как потом по утру в кровати думаешь: «до сих пор жива».

Расскажи, какой была девочкой кроткой,
Как плела косички, пекла шарлотку,
Как царапала руки, как била коленные чашечки,
Как внутри у тебя жили ласточки.
Как сделала первую татуировку. Как училась курить взятяжку.
Как внезапно все ласточки превратились в прах,
Как устроили в доме твоём гнездо.
Расскажи им про мамин последний вздох у тебя на руках.
Как жила одна в пустой комнате,
Боялась эха, плакала под одеялом,
Как казалось, что это не жизнь, а кома,
А потом это стало нормальным.

Расскажи им, как тебя каждый день убивает скукой,
Как знакомо и грустно пахла его куртка.
Как тебя каждый вечер немножечко лечит музыкой,
Как бываешь мертвой до ужаса, как бываешь живой до боли,
Когда плеер играет Pink Floyd.
Как читаешь стихи, как слова растут многократным зумом,
Становясь то молитвой, то криком,
Что он сам немного King Crimson, не хватает только безумия.
Расскажи, что боишься сирен скорой помощи.
Расскажи им всего понемногу, расскажи им жизнь свою вкратце.
Кроме него и Бога, кто ещё будет над этим смеяться?

Ничего наперед не узнать, всего не предусмотреть.
Но одно неизменно – ты от страха готов нападать.
Ты почувял мою слабинку, как хищники – запах крови.
О, поверь, я знаю, как выгодна моя смерть,
И поэтому я до сих пор жива,
И поэтому я молюсь о твоём здоровье.

АННА ПРОТАСОВА

Снаружи холоднее, чем внутри.
Едва остепенившись, я на три
экзамен сдам и письменный, и устный.
Сосед соринки вытянет из глаз.
И я ему шепну, что родилась
в каком-то невозможном захолустье;

Что помню жизнь как утренний подъём,
как первого конспекта окоём,
как слоган в опостылевшей рекламе.
Куда-то убегают объектив.
Лежит сосед, затылок обхватив
першавыми, что твой наждак, руками.

Шумит на кухне незакрытый кран.
Стоит пустой театр Батаклан.
Ещё немного – и начнётся действие.
Покуда в зале не погасят свет,
мы сохраняем память, как скелет,
и номерок в кармане – чтоб одеться.

опять остановился и нашёл
потерянный жетон на дне кармана
дела теперь пожалуй что нормально
дела теперь пожалуй хорошо

хотя и непохоже на весну
к асфальту липнет тонкая подошва
как будто повар будущее с прошлым
смешал и дегустировать рискнул

как будто что имел он всё отдал
за вид на опустевшие палатки
на те скамейки в шахматном порядке
за переход проложенный туда

как выйдешь на шаткий мостик оденешь на лоб повязку
раскланяешься с бандитом покосишься на икарус
и слов-то уже не вспомнить не то чтобы стих и сказку
направо помотришь детство налево помотришь старость

а дальше река Немышля сплошные мальки да тина
оборванная тарзанка зелёный песок под пяткой
больницы дома культуры эмблемы из паутины
завхозы в плащах и куртках танцующие утята

а дальше Бавария-Нова убогие трёхэтажки
засохшие акварели не начатые тетради
избушка на курьих ножках парнишка в цветной рубашке
дворы огороды погреб фамилии на ограде

а дальше завод турбинный строенья начала века
но впору остановиться ничто под мостом не ново
хожу с фонарём по парку как будто ищу человека
смеётся начало века не спрашиваю какого



друзья мои Главкон и Адимант
хвала богам весна пришла в Афины
запнулся на пороге месяц март
и келью осветил до половины

ударит в гонг упрямый Фрасимах
и все вокруг свидетели и судьбы
толпа умалишённых и зевак
впервые докопается до сути

друзья мои мне ведома страна
где время незаметнее пространства
и вот теперь к её глухим стенам
я ухожу и смерть моя прекрасна

смотри: в строю стоят скрипачи
их инструмент пойди поищи
они на память не знают нот
они вступают не в свой черёд

я стану в строй я и сам скрипач
и ты прощаясь со мной не плачь
я в зал входил и войду ещё
подставляю Богу своё плечо

в древесном горле затихнет звук
стальной свисток упадёт из рук
закрыты окна погашен свет
сидит оркестр но меня в нём нет

покраснели прожилки от слёз
оцепили квартал Утремёз
не хватает монеты в горсти
подскажите куда мне идти

не по той стороне не по той
появляется кто-то святой
незаметно подходит к двери
не гори светофор не гори

шелестит незнакомая речь
покажите куда мне прилечь
я зарубку найду на носу
я в мешке ничего не несу

В холщёвой куртке
 По полу бетонному
 Под сенью из железной шелухи
 Проходит смерть
 И дышит монотонно
 И гвозди вынимает
 из руки

Без лишнего сочувствия
 Без гонора
 Под скрип качели
 Под газетный ляг
 Как в фильме
 запрокидывает голову
 и больше не заботится
 о вас

—

ДМИТРИЙ БЛИЗНЮК

а вечерняя улица околдована ранним закатом,
 точно ломом раскололи красную льдину;
 улица зеркально червива прошедшим дождём,
 видно, как и где сшивали небо с асфальтом,
 скобы, дыры, полумесяцы, швы, следы шагов,
 и деревья, будто лёгкие невидимых гигантов,
 наполняются воздухом, птицами, моросью,
 и не сразу поймёшь, кто из нас больше живой?
 я или тополь, сероликий индейский вождь
 с бизоньими костями, вплетёнными
 в деревянные волосы,
 с выбритыми висками.
 и закат отражён в стихах,
 окнах, зрачках, днях,
 водяные знаки на купюрах Господа,
 косо скручивающие в свитки,
 заверенные цветением акации,
 с казначейской небрежной росписью
 мокрых ветвей,
 с не отмеченной суммой смысла –
 сам напиши, во сколько созвездий
 оценишь прошедший день?

-

а сегодняшний вечер слегка простужен,
 шёршав грустный капель ворон,
 сверкает, как прозрачный кусок угля,



аура прошедшего дождя,
 и проспект Ленина – неразорвавшийся снаряд эпохи,
 войны второй мировой,
 и по капсулю бодро стучат каблочки –
 плывет ладьевидная девушка с зонтом,
 и каждая минута – терпкая точка невозврата
 с коричневым привкусом грейпфрута,
 собирает и вновь разносит нас на атомы,
 как фланирующая стая серебристой сельди,
 и я ежечасно сохраняюсь
 в сверхкомпьютерной игре
 на выживание /зачёркнуто/ на тайную жизнь.
 так свесившись с борта тихо летящей лодки
 зачерпываешь кистью мягкую плоть реки,
 о боги, и вдруг зажигаются огни,
 каменные горгоны окрашивают веки пламенем, неонем,
 но мой взгляд бесстрашен и миролюбив,
 как меч, навеки вплавленный в ножны,
 прихваченный сваркой в агрессивных местах.
 и не нужно мне столько жестокости, забери.
 сними с меня эти тёмные доспехи, Господи,
 я хочу искупаться в море...
 в отвесном море заката, тихой любви.
 и не утонуть, не захлебнуться, как Барбаросса,
 в завтрашней росе...

Январское солнце неуверенно:
 бенгальский тигр на ледяном катке,
 лапы лучей разъезжаются в стороны.
 А я обнимаю тебя
 и сквозь вязаный джемпер ощущаю голод кожи.
 Твоя душа особенно волшебна зимой:
 последний кусок шоколадки, завернутый в фольгу –
 на потом, на белый день,
 а столетия впереди
 бредут по снегу стадом слонов-альбиносов,
 и по небу перекатываются синевато-белые бугры...
 И как ни крути брелок с ключами –
 ты последняя надежда мира,
 маяк из красного воска на краю огненного океана,
 мы, поэты, – последние из могикан,
 полубоги-шарлатаны,
 умеем читать по губам, по глазам, по созвездиям...
 Если человечество – мост,
 то кто же должен по нему перейти?
 Я или ты?

-

А зимние закаты скромны и хрупки,
 замороженная клюква, раздавленная каблуком,
 кораблик из склеенных спичек увяз во льдах –
 в морозилке средипельменей и клубники,



а рядом вздыхает жёлтая летаргическая кура.
 Пусть эпоха-дура, а разум-молодец,
 нам сейчас важней выжить, чем тысячу лет назад,
 Вселенная увеличила ставки до максимума.
 И ночь проходит незаметно,
 щелчок чёрных пальцев, смазанных лимонным маслом...
 И звание мэрии в янтаре рассвета
 мерцает:
 мозг шимпанзе, вымоченный в растворе марганцовки.
 Всем мы полукровки
 идей.

Иногда в морозной занозистой тишине звенят колокола –
 скрипит музыкальным льдом небесная река,
 закованная молчанием, и есть место в углу картины,
 присыпанное снежком, где мы с тобой,
 как роспись художника-дуриста, гуляем по парку с такой
 похожей на точилку для карандашей,
 и я не ушёл, а остался и мир притворился другим,
 сменил одну сварочную маску на другую – ярмарочную.
 И что зимы тревоги и радости нашей?
 И кто мы такие, как не маски,
 не чаши для волшебного огня?
 И тогда понимаешь, что зима однажды закончится,
 но ты – никогда.
 И перепрыгнет строка со старого на молодого –
 как кузнечик, как талантливая блоха...
 Зима-зима-зима – звенят скобы на поломанной руке –
 но душа крылата –
 не жирная трясогузка, не ракета «земля-воздух»,
 но...

от летящего снега за окном –
 нанкось, громадными хлопьями, белоснежной челкой –
 комната казалась прочным мыльным пузырьком,
 капсулой космического корабля,
 и в ней комфортно обжились ты и я,
 любовные астронавты.
 и зимняя тишина –
 броня на слонах Ганнибалы, обмотанная мешковиной,
 при переходе через Альпы жизни – внушала доверие,
 а твои кремовые, сонно-водопадающие шторы – уют.
 в такие вот зимние,
 от снегопада лихо искривлённые, неевклидовы вечера
 объёмно чувствуешь свои корни,
 точно сосна, уходишь на жутковатую глубину тысячелетий,
 чёрной многорукой молнией.
 и сколько той цивилизации?
 бабочка зевнула...
 жменю конфетти, мишуры
 бросили на кусок сырого мяса...



помнишь, еще до Р.И. /Рождества Интернета/,
вечером отключали свет во всём доме,
и мы вдруг становились старше на тысячу лет,
по-звериному мудрей и темней.
но нас освещал лёгкий внутренний свет,
обычно невидимый среди иллюминаций.
как слепцы, живущие на ощупь, перстотыканьем.
крадущиеся бородавочки,
мы зажигали свечи, искали книги, семейные воспоминания,
таинственные разговоры: вслушивались в шорохи,
в капли звука, падающие на озёрную гладь,
вздрагивание холодильника,
стук двери на лестничной клетке,
мерцающие ленты голосов в бетонном колодце,
или журчание собственных кровеносных систем,
как в утробе.

помнишь, пятнадцать лет назад внезапно погасла люстра,
будто королевский золотистый осьминог
внезапно скончался от инфаркта,
и кассетный магнитофон замер:
мелодия Паганини оборвалась,
скрипачу мгновенно отсекали руку
и побелевшие пальцы ещё долго и крепко сжимали смычок,
но музыка себя продлила – в мозгу, в тишине.

и кто же мы на самом деле?
потерпевшие кораблекрушения на островах души:
не уходим вглубь хищных джунглей, держимся пляжа,
где нас могут спасти /ты в это веришь?/,
и у леопардов меньше шансов нас переловить,
бултыхаемся, загораем, ловим рыбу,
ссоримся, маемся одиночеством среди себе подобных,
но так точно и не знаем, что находится за нашими спинами.
сколько комнат, перетекающих в другие миры?
иногда, точно Буратино острыми носами,
протыкаем нарисованный огонь,
чувство звёздного голода нас приводит к двери,
но нет ключников вокруг, кроме самозванцев,
ибо мы сами и есть ключи от всех дверей
от всех дыр во времени и пространстве.

...и наволочка в слезах,
обмочившийся щенок лица
пристыжено машет ресницами.
загустевшим безумием, как ржавой проволокой,
протыкаю седьмые небеса.
слёзы сверкают, как стекловата.
отгалкиваю тебя,
чтобы лучше рассмотреть.
я дерево, а ты – отросток на моём теле,

слепо огибаешь железные прутья ограды
 деревянной бутристой змеей.
 так кошка кусает себя за плечо.
 так мы ругаемся,
 перебегаем трассу, мокрую, чёрную после дождя,
 словно дети или бродячие собаки,
 а мимо фурами проносятся жестокие фразы,
 давят на клаксон, мощные, злые, рычащие.
 пролетают закованные в хитин безумцы
 на мотоциклах междометий.
 сбивают настроение,
 разбиваются, окровавленный пластик.
 ух, чуть не убили друг друга словами...
 светает...

НАТАЛЬЯ МАСЛЕННИКОВА

Пахнет нарциссами, розами, астрами, девочка входит в класс, тонкие пальцы в царапинах, пластырях, солнце на радужке глаз, солнце на партах, перилах, лестницах, ресницах и волосах, ей ещё трудно сидеть на месте дольше, чем полчаса, девочка просто не знает правил этой сложной игры...

Но зато она знает – где-то за гранью есть другие миры.

Есть корабли, паруса и рифы, солнцем залитые города, девочка перебирает рифмы, девочка учится чуда ждать, пишет стихи на полях – и снова приоткрывает завесы тайн...

Двойка тебе, Смирнова. Сколько можно мечтать?

Физика, химия, физкультура, солнце играет в рыжей листве, пишет записки двоичник Юра Вальке Черненко из класса «Вэ», утро, каникулы, перемены, скоро сдавать экзамены...

Девочка смотрит куда-то сквозь стены задумчивыми глазами. Рифмы точнее, ровнее ритмы, образы ярче за сетью строк. Химию нужно списать у Риты. Вечером курсы, толпа в метро, лето, завтра уже экзамен, мама какая-то нервная...

Девочка пожимает плечами.

«Ну... на филфак, наверное».

Старый профессор капля за каплей цедит, как яд, слова, учит стихи препарировать скальпелем, резать и убивать, девочке жаль их, берёт в ладони, как бабочек на снегу...

Бабочки бьются в агонии. Нет, не могу.

Как же так можно, они ведь живые, смотрит заплаканными глазами. Так, студентка Смирнова, выйдите, тихо, идёт экзамен. Ну, не научитесь, ваше право, кому вы нужны такая...

А на окраине шепчутся травы. Яблони распускаются.

Знаешь, стихи – это тоже люди, в каждом – свой мир и тайна, они ведь живые и тоже любят, когда их кто-то читает, у них ведь у каждого бьётся сердце, гонит ритм по венам под кожей...

Глупости, говорят. Не верится. Этого быть не может.

Осень. Ноябрь притупляет чувства, красит реальность в серый. Девочка больше не верит в чудо. Снова падает сервер. Девочка пишет тексты для сайтов, литрами кофе глушит, сказки, драконов и чудеса прячет всё глубже, глубже, им ведь и правда не место здесь, в омуте новостроек, лучше молчи о своей тоске, о том, что иначе скроен, топи свою правду в болотах глаз, в немойтой офисной чашке...

...маленький мальчик заходит в класс.

И что-то пишет на промокашке.



...а пока мы сидим на холодных перилах моста,
и болтаем ногами, и смотрим в текущее небо:
на кораблик сухого листа, на продрогшую сталь
перекрытий, на время апрельской агонии снега

и на нас, отражённых в воде – или может быть, не
отражённые мы, а они отражаются в нас, и
наш апрель – только тень их апреля, и весь этот снег,
и грохочущий поезд, ползущий на тёмную насыпь?

Впрочем, что с того, если и так – ведь у нас облака:
пролетают под нами, над нами, вокруг и насквозь, и
мост дрожит тонко-тонко, и талое солнце в руках
утекает сквозь пальцы, и медленно кружатся оси

обнажённой земли, и сугробы стираются с карт
полушарий, чтоб в солнечном ветре и небе исчезнуть,
и над нами водой протекают века,
а пока –
мы сидим на мосту,
на холодных перилах над бездной.

Все дела и надежды сброшены со счетов.
Разноцветное небо звенит и бьётся на части.
Ты истерзан волнами. Имя тебе – Никто.
И твоя Одиссея кончилась, не начавшись.

Это было забавно, легко и почти смешно.
Очертания горизонта уже знакомы...
И вернуться бы, вспомнить, как ты их любишь, но –
Твой корабль уходит на дно в трёх лигах от дома.

Паруса истерзаны. Лёгкие рвёт вода.
И толчками, как кровь из раны, уходит сила.
Дома вечер. Прохладно. Гонят в закат стада,
И жена снаряжает в поход подросткового сына.

Ты не видел его, лишь знал, что родится сын.
Не давал ему имя. Стрелять не учил из лука...
Но последний песок просыпали вниз часы,
И тогда оказалось, что жизнь – короткая штука.

Дома вечер, и небо кровью залил закат.
Пир окончен, рабыни уходят из умывален...
А она, что была молодой двадцать лет назад,
Доткала последнюю нить в своём покрывале.



Где ты была?

...а враги пируют в доме твоём.

Где ты был?

...отец, любимый, ты был так нужен...

Твой корабль уходит на дно. Кричит вороньё,
И жена твоя выбирает нового мужа.

Твой подросший сын не тебя назовёт отцом.

Не тебе воспоют хвалу в божественном гимне...

Ты прости мне, родная, то, что это не сон,

То, что клялся вернуться – и не вернусь. Прости мне.

Только сыну, прошу тебя, об одном скажи:

Нить, спрядённая Мойрой, честна и неумолима,

И пока мы бьёмся за то, чтобы просто жить,

Наша жизнь, как остров в тумане, проходит мимо...

«ШШКАФ»

АЛЕКСАНДР РУДНЕВ

«КОРНЕЙ ЧУКОВСКИЙ – КРИТИК И ЛЕОНИД АНДРЕЕВ: К ПРОБЛЕМЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ПИСАТЕЛЯ И КРИТИКА».

Означенная тема не является столь уж новой, однако при ближайшем рассмотрении допускающая и даже требующая некоторых уточнений, дополнений и возможности освещения каких-то оставшихся в тени по тем или иным причинам аспектов связей одного из самых знаменитых русских писателей начала XX века с одним из крупнейших и интереснейших литературных критиков той же эпохи.

Не случайно Лев Толстой, познакомившийся с некоторыми статьями молодого Чуковского в одном из частных разговоров заметил, что Чуковский *«умеет и смеет касаться таких тем, до которых не решаются опуститься высокопоставленные критики»*¹ (Речь шла о книге К. Чуковского «Нат Пинкертон и современная литература»/ СПб., 1910, 2е изд. и статье «Куда мы пришли» на тему о кинематографе).

Леонид Андреев, как это хорошо известно, занимает очень своеобразное, несколько двойственное положение в истории литературы – теперь он стал бесспорным, признанным классиком, его полное академическое собрание сочинений выходит сейчас в ИМЛИ РАН им Горького. А при жизни, на протяжении всей своей многообразной литературной деятельности, длившейся не так долго, чуть более 25 лет, был постоянным предметом бурных критических дебатов на страницах тогдашней периодики. Он относился к числу таких писателей и литературных явлений, воспринимать которые равнодушно было невозможно – его или восхваляли до небес или же осыпали самой разнузданной, почти площадной бранью. Это заставило Андреева в письме к А.М. Горькому от 20-21 марта 1904 сказать: «<...>Снизу доверху, во всех этажах российского литературно-

го дома, иногда смахивающего на весёлый дом, меня ругают»².

В 1909 году в импровизированном «Слове о критике», записанном на граммофонную пластинку, писатель с горечью пронизировал, как всегда, с присущим ему чувством юмора: «Если бы я совершил сотни преступлений, грабил, убивал, я никогда не услышал бы столько оскорбляющих и злобных слов, столько клеветы. Если бы я писал статью о писателе моего поколения, я озаглавил бы эту статью «На лобном месте»³.

А в остро полемической и опять же исполненной великолепия юмора статье «В защиту критики», опубликованной 17 декабря 1915 года в вечернем выпуске газеты «Биржевые ведомости», есть следующий, очень выразительный пассаж, который мы позволим себе привести с некоторыми сокращениями: «Наилучшим орудием критика <...> является невежество и тупость, мертвецкая холодность и безразличие идиота <...> к судьбам искусства и людей. Только при наличии этих условий критик приобретает ту великую и необходимую свободу в борьбе с талантом, которая позволяет ему шельмовать Достоевского, находить бездарным Льва Толстого <...>. В этой борьбе на стороне критика ещё и численное превосходство, и писателя всегда бьют скопом, как конокрада <...>. “Раз не выдержал, то, стало быть, туда ему и дорога” – справедливо резюмирует критик результаты своих многолетних и бескорыстных усилий, и а на жалобы стонущих и ослабевающих суровым жестом указывает на того же Толстого и Достоевского: “Не мы ли жизнь отравили Чехову и «приканчивали» ещё живого Горького, – а что из этого вышло? Вышли очень хорошие писатели, которых мы теперь и сами уважаем. Так и ты

выходи хорошим писателем и держись на своём заборе крепче, пока я буду тащить тебя за ноги и стаей собак выть у твоего подножия. Не жалуйся и не скули, а держись!»⁴

Интересно, что Корней Чуковский в 1908 году в книжке «Леонид Андреев большой и маленький» поместил составленный в алфавитном порядке словарь ругательных наименований, которыми награждала писателя современная критика. Леонида Андреева называли и порнографом, и эротоманом, и садистом, и шарлатаном, и литературным спекулянтом, обвиняли в клевете на человеческую природу, во всяческом унижении и оплёвывании человека, затаптывании его в самую мерзопакостную грязь. Это в первую очередь относилось к таким произведениям писателя, получившим, в самом деле, определённо скандальную и однозную известность, как «В тумане» (1902), «Бездна» (1903), «Тьма» (1907). Однако необходимо вместе с тем заметить, что, несмотря на активное неприятие многих сторон творчества Леонида Андреева современной критикой (помимо прочего, писателя часто обвиняли в дурном вкусе, в необразованности и, прежде всего, в том нарочитом театральном, несколько картонном нагнетании всевозможных ужасов – того, что Лев Толстой окрестил знаменитой фразой: «Он путает, а мне не страшно», к нему испытывали, как уже было сказано, постоянный и очень напряжённый интерес. Так, Л.Н. Толстой, по свидетельству ряда лиц, выделял Андреева из всех писателей нового поколения, которых ему довелось застать, считая Л. Андреева наиболее среди них талантливым, хотя и не принимал его театрального трагизма и, главное, его экспрессионистской образности, которую он, попросту говоря, не понимал. А после встречи в Ясной Поляне в апреле 1910 года Толстой признавался окружающим, что Л. Андреев очень понравился ему как человек, нашёл его милым, симпатичным, умным.

Что касается Корнея Чуковского, то он, как известно, в первом десятилетии XX века заявил о себе как об одном из ведущих и наиболее влиятельных литературных критиков, отличавшимся парадоксальностью и экстравагантностью суждений, как в статьях о современных писателях, так и о художниках предыдущего времени (Лев Толстой, Чехов, Короленко, Гаршин, Шевченко, Некрасов, писатели-шестидесятники). Это был литератор и критик с только, пожалуй, одному ему присущим резким и острым колоритом оценок и характеристик. Сам о себе на склоне лет он как-то сказал, что критиком он был одним из самых драчливых, из тех, которые бьют наотмашь, не

щадея ни авторитетов, ни мировой известности. Недаром злые языки прозвали его «Иуда из Териок»⁵, перефразировав заглавие известного рассказа Леонида Андреева «Иуда Искариот». Именно так остро, интересно, небанально он писал и о Леониде Андрееве.

«<...> Не забывайте, что он /Л. Андреев – А.Р./ из газетчиков: репортёр, фельетонист, хроникёр бойкого московского «Курьера»,⁶ – замечал К. Чуковский в одной из статей, вошедших в книгу «Леонид Андреев большой и маленький» (в переработанном виде). В связи с этим представляется любопытным, как писал о том же самом обозревателе газеты А.С. Суворина «Новое время» Б.В. Бэн-Назаревский: «Леонид Андреев начал свою карьеру с того, что был простым газетным репортёром, а потом злободневным фельетонистом. Газетное ремесло наложило свою печать на его творчество, когда он стал уже прославленным писателем».⁷ И далее, утверждая, что злободневность – это своего рода «Бог» Андреева, что будто бы писатель именно ему приносит свои жертвы, критик явно сместил акцент, не разобрав во многом чисто функционального значения «злобы дня» в творчестве писателя. И, как мы попытаемся показать, это, несомненно, удалось сделать именно Чуковскому, и никому другому. Поэтому, по мнению Назаревского, круг читателей и почитателей у Андреева оказался сильно суженым, заменённым довольно неопределённым понятием «толпа». И вот как тот же нововременский критик пишет об этом далее: «У него /Л. Андреева – А.Р./ есть и ещё достоинство, незаменимое в глазах толпы. Он знает, как она падка на всё яркое и бросающееся в глаза. Для неё он выработал особенный язык – звучный, гудящий, как удары в медный котёл, ходульный и торжественный. Лубочными, яркими красками, раздражительными эффектами, преступлениями и ужасами, выхваченными из дневника происшествий, он зазывает к себе публику. Сожительство с родными сёстрами, убийство проститутки гимназистом, изнасилование, мать, торгующая родной дочерью – вся эта уголовщина щекочет дурной вкус толпы, и заставляет читать Андреева со сладко замирающим сердцем».⁸

В творчестве Леонида Андреева оказались в наибольшей мере сконцентрированными и выпукло представленными все наиболее типичные приметы и проявления времени. Не будет, наверное, преувеличением сказать, что он был одним из самых, если не самым характерным писателем начала XX века, что заставило К. Чуковского написать в одной из статей книги «От Чехова до наших дней» следующее: «Он – синтез нашей эпохи



под сильнейшим увеличительным стеклом». ⁹ И мы полагаем, что Чуковскому, много писавшему об Андрееве в то время, удалось создать свою, быть может, и небесспорную, но очень оригинальную и интересную концепцию творчества Андреева, в определённом смысле конгениальную самому объекту.

Так, высмеивая некоторую выспренность и известную искусственность художественных приёмов Л. Андреева, Чуковский нарочито заострённо, в фельетонном духе, сравнивает его произведения с афишами, расклеенными на заборе.

«Из всех созданий современного искусства, – писал Чуковский, – я особенно ценю афиши. Их идеал – яркость, их художественный принцип – бей по голове! Никаких полутонов, полуоттенков! Они не знают шёпота, они вечно должны кричать!». ¹⁰

Именно такую разухабистую афишность и своего рода рекламизм критик считал одной из основополагающих особенностей стиля Л. Андреева, особенно, в его символистских драмах «Цезарь – Голод», «Океан» и др. Дrame Л. Андреева «Океан» он посветил очень злоую и язвительную статью под заглавием «Устрицы и океан», сильно обидевшую Л. Андреева. Но в другом месте той же статьи Чуковский в совершенно ином ключе пишет о творчестве Леонида Андреева: «<...> Есть у меня другой Андреев, не уличный, не “Кушайте геркулес”, а элегический художник, автор “Вора”, “Губернатора”, “Призраков”, и нужны какие-то другие слова, чтобы хоть что-нибудь сказать об этом Андрееве». ¹¹

Чуковский отмечает некоторую разорванность и раздвоенность творчества Л. Андреева, лишённых внутренней целостности его героев. «<...> Снаружи его книги – балаган, расписанный пёстро и крикливо, и всюду – рожи, маски, личины, а внутри – полумрак, благолешие, шепот, тихая обитель, где коленопреклоненный Андреев призывает и вас преклониться перед затаённым, прекрасным человеческим «я». ¹²

Преимущественную же ценность и значительность андреевских произведений Чуковский находит в отличие от многих других, писавших об Андрееве, отнюдь не в унижении человека и циничном смаковании его тёмных и порочных сторон, а напротив, в иступлённой любви Андреева к маленькому, обиженному человеку, жалость к нему, стоящему на самом низу социальной лестницы, в чём Андреев, несомненно, наследовал лучшие гуманистические традиции русской литературы XX века – и это не раз отмечалось позд-

нейшими исследователями творчества Андреева.

К таковым, как нам представляется, относятся такие герои Андреева (пусть они и не все были рассмотрены Чуковским), как, например, дешёвая, размалёванная, как тряпичная кукла, уличная проститутка, которую зверски убивает ножом гимназист, юридивый психически больной Алёша из рассказа «Алёша-дурачок», нищий городской дурачок Гараська из рассказа «Баргамот и Гараська», которого городской Баргамот, всегда его презиравший и только забиравший в участок за мелкое воровство, вдруг приглашает к себе домой на пасхальный обед. Или же мать, которую не хочет признавать её ребёнок и которому не понравились игрушки, что она ему принесла (рассказ «Валя»), мелкий провинциальный чиновник Андрей Николаевич из рассказа «У окна», чья жизнь сравнивается с крышкой гроба, готовой вот-вот захлопнуться, или же мальчик на побегушках из московской парикмахерской Петька («Петька на даче»), для которого кратковременное пребывание на подмосковной даче в Царицыне, среди природы, которую он прежде никогда не видел, – его туда взяла с собой мать, кухарка Надежда, служившая у господ, летом переезжавших на дачу. Всё это для него оказывается как бы волшебным сном, который неожиданно и жестоко прерывается, когда надо вновь возвращаться в Москву, всё в ту же грязную парикмахерскую. И он опять видит всё тот же заплёванный семечками бульвар с чахлыми деревьями, где, как обычно, «пьяный мужчина бил такую же пьяную женщину». Или же вспомним наивного, простодушного дьякона Сперанского из рассказа «Жили-были», умирающего в больнице и не понимающего, что он умирает, пока ему безжалостно не сказал об этом сосед по палате купец Кошеверов, тоже смертельно больной, а он кротко высказывает лишь сожаление о том, что никогда больше не увидит своего сада в Тамбовской губернии, где уже созрели яблоки «белый налив», и что ему больше всего «солнышка жалко».

Нельзя не упомянуть также и придурковатого эстонца-крестьянина Янсона в одном из самых вершинных созданий Л. Андреева – «Рассказе о семи повешенных», приговорённого к смертной казни за убийство и ограбление старой помещицы. Он всё время проговаривает одно и то же: «Меня не надо вешать».

Чуковский одним из первых обратил внимание на ту особенность творчества, художественного мира Л. Андреева, которая состоит в стремлении к показу человека обобщённого, в определённом смысле символического, с гротескно преувеличенными чертами, что впоследствии дало основание

исследователям относить творчество Л. Андреева к нехарактерному в целом для русской литературы направлению экспрессионизма – в этом-то как раз и заключается «изюминка» Леонида Андреева – художника. Чуковский писал, что для Андреева человек – «голый орех: губернатор без губернаторства, сифилитик без сифилиса – прочь шелуху с человека». ¹³ Для Андреева Губернатор в одноименной повести 1906 года, прежде всего, не Губернатор, высокое должностное лицо в генеральском пальто и брюках с лампасами, а просто старый, несчастный, больной человек, живущий в ежечасном и даже в ежеминутном ожидании смерти, которая была ему непременно обещана террористами, и Андреевым, подчёркивает критик, «приняты особые меры, чтобы вызвать добрые чувства к нему, в расчёте на то, что читатель не может не подчиниться хоть на самый коротенький миг гипнотической силе искусства». ¹⁴

Ещё в 1901 году, откликаясь на публикацию первой большой статьи о нём 19-летнего Чуковского в газете «Одесские новости», Л. Андреев писал ему в частном письме ещё до их личного знакомства, состоявшегося в 1903 году, когда Чуковский побывал у него в Москве в Грузии, по поводу разобранного начинающим критиком своего рассказа «Кусака»: «Быть может, в ущерб художественности, которая требует строгой и живой индивидуализации, я иногда умышленно уклоняюсь от обрисовки характеров. Мне не важно, кто “он”, герой моих рассказов: поп, чиновник, добряк или скотина. Мне важно только одно – что он человек и как таковой несёт одни и те же тяготы жизни». ¹⁵

В «Книге о Леониде Андрееве» (1911) Чуковский вновь называет те произведения Л. Андреева, которые в наибольшей мере привлекают его – «В тумане», «Вор», «Иуда Искариот», «Рассказ о Сергее Петровиче», «Рассказ о семи повешенных», и вдруг неожиданно уподобляет совсем, казалось бы, неподходящие коллизии андреевских произведений поэзии Блока.

«<...> И когда больной развратник целует пьяную гулящую девку, Андреев не верит ни в распутство, ни в его дурную болезнь, – перед ним певучая влюблённая душа и в его бесстыдных словах Андрееву слышатся всё те же «Стихи о Прекрасной Даме». ¹⁶

В своём превосходном мемуарном портрете Леонида Андреева – в нём Чуковский, как это всегда ему было свойственно, создаёт своего рода «маску» Леонида Андреева (неслучайно одна из его дореволюционных книг называется «Лица и маски»), он пишет о том, что «было много Ан-

дреевых и каждый из них был настоящий». ¹⁷ Он с подъёмом говорит об андреевской одержимости творчеством, о его удивительной способности подобно актёру перевоплощаться в своих героев и забывать в это время обо всём на свете.

«<...> Он не просто писал свои вещи, он был охвачен ими, как пожаром. Он становился на время маньяком, не видел ничего, кроме них, как бы малы они ни были, он придавал им грандиозные размеры, насыщая их гигантскими образами, ибо в творчестве, как и в жизни, был чрезмерен. <...> Каждая тема становилась у него колоссальной, гораздо больше его самого, и застила перед ним всю вселенную». ¹⁸

Чуковский ставит Л. Андреева в литературный ряд современников и замечает, что «та литературная группа, среди которой он оказался в начале своего писательского поприща – Бунин, Вересаев, Чириков, Телешов, Гусев-Оренбургский, Серафимович, Скиталец – была внутренне чужда Леониду Андрееву (в скобках напомним, что в современной критике, на заре литературной деятельности Л. Андреева, его часто называли «вторым Горьким» – А.Р.). «То были бытописатели, волнующие вопросы реальной действительности, а он среди был единственный трагик, и весь его экстатический, эффектный, чисто театральный талант, влекущийся к грандиозным, преувеличенным формам, был лучше всего приспособлен для метафизико-трагических тем». ¹⁹ Но Чуковский при всей меткости и блеске этого пассажа, впадал в данном случае в некоторое преувеличение. Совершенно очевидно, что творчество Леонида Андреева в целом представляет собой довольно причудливый синтез модернизма и реализма, во многом имевшем своими корнями русскую литературу XIX века, в частности её разночинско-демократическую линию, представленную именами В.А. Слепцова, Ф.М. Решетникова и др. также, как известно, близкую Чуковскому. Этого пронизательный и тонкий критик почему-то не учёл. Теперь, уже несколько десятилетий тому назад, на эту тему написано много хороших исследований и книг, в частности следует вспомнить книгу тартусского литературоведа и историка театра В. И. Беззубова «Леонид Андреев» и традиции русского реализма» (Таллин, Ээсти Рамат, 1984).

Но совершенно ясно, что отличие писаний Чуковского от литературоведских штудий состоит в том, что статьи, книги и мемуары Чуковского были написаны пером писателя старой закалки, а не научным работником.

Любопытно и показательно, что в одном из своих писем к К. Чуковскому 1908 или 1909 года



Л. Андреев в характерном для него, особенно, для его частных писем шуточно-добродушном тоне соглашается с оценкой критика своей пьесы «Царь-Голода», которая по его мнению, «написана помелом или шваброй».

«Насчёт дальнейшего не знаю, а то, что помело, – писал Л. Андреев, – и даже швабра, это верно. А в общем я рад, что вы так, именно так – поняли вещь...»²⁰

И если вначале Андреев не столь положительно относился к Чуковскому-критику, его явно задевали язвительные суждения и оценки последнего, тем более, что вообще он к критике был, по выражению А.А. Блока, «странно внимателен», то впоследствии он высказывал глубоко позитивные суждения о критическом творчестве Чуковского.

«Достоинства ваши как критика, – писал Л. Андреев Чуковскому, – острая наблюдательность, блеск и меткость языка, яркость сопоставлений, разрушающих привычный шаблон, давали мне твёрдую уверенность, что Вам именно суждено заполнить существующий пробел в русской критике, явить особую, плодотворную, крупную силу. И наши личные беседы, в которых вы разделяли мой строгий взгляд на литературу, на звание литератора и критика и его серьёзные, ответственные задачи, служили постоянным и очень убедительным подтверждением этого диагноза».²¹ Показательно, что примерно в таком же смысле Андреев высказался в одном из газетных интервью, относящихся к периоду Первой мировой войны: «Литература никогда не была забавой для пообедавших, а став таковой в несчастную минуту, гибла...».²²

Всё это, нет никаких сомнений, совпадало с литературно-критической позицией Чуковского, его стойкой влюблённостью в настоящую, подлинную литературу. А Андреев сам признал, таким образом, что Чуковский одним из первых дал верное объяснение природы его таланта и творчества.

Их личные литературные контакты продолжались почти вплоть до конца жизни Андреева, до революционных и последовавших за ними событий. Так, в 1913 году Чуковский был составителем и редактором полного собрания сочинений Л. Андреева, выходявшего в издательстве А.Ф. Маркса, в приложении к журналу «Нива». Интересно то, что в этом издании, которое долгие десятилетия

считалось наиболее полным, произведения Л. Андреева разных жанров – проза, драматургия, газетная публицистика, судебные отчёты, которые он в молодости писал для московских газет, расположены не по хронологии, как это обычно бывает, а по тематическому принципу. Этот принцип был придуман и осуществлён составителем – К.И. Чуковским.

Когда осенью 1919 года в Петроград из Финляндии пришло известие о внезапной кончине Леонида Андреева в возрасте 48 лет, Чуковский долго не мог и не хотел этому верить.

«Мне всё кажется, что Андреев жив, – записывал он в дневнике 4 ноября 1919 года, – я писал воспоминания о нём и ни одной минуты не думал о нём как о покойнике».²³

А в записи от 15 ноября того же 1919 года есть такая фраза, которую Чуковский повторил на вечере в Тенишевском училище, посвящённом памяти Л. Андреева: «Главное, главное, главное, я уверен, что Андреев жив».²⁴

Но он не мог тогда ещё знать того, что творчество Леонида Андреева, сильно провинившегося перед большевиками своей обличительной публицистикой, в течение долгих десятилетий будет замолчанным и почти запрещённым, о нём в редких случаях будут упоминать вплоть до конца 1950- начала 1960-х годов в литературоведческих работах, прежде всего, фундаментально-академических, как о печальном прецеденте падения таланта под тлетворным влиянием декаданса и непростительных политических заблуждений. Новое признание и вновь сильно вспыхнувший читательский и исследовательский интерес пришли к Л. Андрееву много позже, до этого Чуковский уже не дожил, если не считать встречи в Переделкине в 1964 году с сыном Андреева Вадимом Леонидовичем и его женой, выхода в 1959 году сборника пьес Л. Андреева в серии «Библиотека драматурга» и 72-го тома «Литературного наследства», содержавшего научно подготовленную и прокомментированную одним из крупнейших отечественных андрееведов В.Н. Чуваковым переписку Леонида Андреева с его «другом-врагом» А.М. Горьким. Обе книги были подарены Чуковскому составителем и автором комментариев – сообщено было мне покойным моим сослуживцем по Институту мировой литературы В.Н. Чуваковым.

Примечания:

1. Из интервью мистера Рэя /С.С. Раецкого/, взятого у Л. Андреева /«Л.Н. Андреев у Л.Н. Толстого»// Цит. по: «Литературное наследство», т. 90. «Яснополяские записки» Д.П. Маковицкого. М., «Наука», 1979, книга 4я, С. 460.
2. «Литературное наследство». Т.72. «Максим Горький и Леонид Андреев: неизданная переписка». М., «Наука», 1965, с. 207.
3. Новости сезона, 1909, 17 сентября, № 1811, с. 6.

4. Цит. по публикации В.Н. Чувакова и А.П. Руднева «Леонид Андреев – критик» // Вопросы литературы, 1994, вып. 3 с. 254-255.
5. Териоки – известное дачное место под Петербургом, на Карельском перешейке, современное название – Зеленогорск.
6. Цит. по изд.: Чуковский К. Собр. соч.: В 6 т.т. Т.6 М., ГХИЛ, 1969, с. 27.
- 7 Назаревский Б.В. Леонид Андреев // Бэн-Назаревский Б.В., «Сумерки русской литературы». Очерки, М., Кн-во К.Ф. Некрасова, 1912, с. 31.
8. Там же, с. 31-32.
9. Чуковский, К. «От Чехова до наших дней». Литературные портреты, Характеристики. СПб., 2908, 2е изд., с 218.
10. Чуковский К. Собр. соч. в 6 т.т. т. 6, с. 22
11. Цит. изд., с. 38.
12. Там же.
13. Там же, с. 47.
14. Там же.
15. Цит. по изд.: Чуковский К. «Современники», Портреты и этюды. М., «Молодая гвардия», «ЖЗЛ», 2008, с. 206-207.
16. Чуковский К. Книга о Леониде Андрееве. СПб., 1911, с. 43.
17. Чуковский К. «Современники». Цит. изд., с. 200.
18. Там же, с. 199.
19. Там же, с. 202.
20. Чуковский К. «Современники». Цит. изд., с. 209.
- 21 Там ж, с. 211.
22. Из интервью с Леонидом Андреевым. // Утро России, 1914, №50/4567/, 21 октября.
23. Чуковский К. Дневник: 1901-1929. М., «Советский писатель», 1991, с. 118.
24. Там же, с. 121.

ЕЛЕНА КОРО

ЕЛЕНА И ПРОТЕЙ

(Елена Меньшикова. *Слёзы Гераклита*. – СПб.: Алетейя, 2016 – 186 с.)

«Слёзы Гераклита» – новый поэтический сборник культуролога и философа Елены Меньшиковой.

«Подделывать можно всё, даже чувства, особенно эмоции, но так как они вплетены в реальность человеческого существования, то ощущения оказываются реальностью сознания, переживающего различные состояния, – значит, «подделки», сделанные иллюзии, как пчелиные соты, плотно пригнанные гранями, заполняемые нектаром ощущений, и являют и жизнь пчёл, и улей, и собственно экзистенции. Доля выдумки велика и всё в спирали сознания иногда теряет порядок, всё – видимая кажимость, но именно здесь следует искать язык, его корни, его аффиксы и интонации, образы и – ритм сердца, который и соединяет реальное с иллюзорным в водопадном потоке, что именуется *бытием*. Поэзия всего лишь голос – ритмически организованная речь, но голоса разнятся – языком.

Поэзия – есть голос. Точка. Ритмически организованная речь – не более. А вот язык, включая гласные, не гласные и несогласные глаголы, согласные духу и мыслям, морфемы, основы, слова и словечки – морфы, гудящие роем, волною, ручьём звенящие аффиксы, ритм, строй, запятые, что полнят речь водицей, камнями иль шелухой слов – колец и стыковок – разнится гласом. По голосу уж судят, процессом кафочным страшая, гвоздят и шпильят стикером креста бесславного

погоста поэтов малых, великих, немых, неутомимых стайеров, которым труден только бег с трамплином, что зеброй закрывает горизонт. И притом, при этом, гласу нужно уметь искру выбить и гранями совпасть с чужой гранью, чтобы стаканами трястись в вагонной качке, унисоном, и гиперборейно даже. Важно, чтоб был язык бытием набит и лалами укатан, но, как подушка, лёгок, гибок, мягок, чтоб скоротечностью влекла, не пугая, речь, что междуречьем вскачь буден зазвучала, чтоб и жалил, и ласкал, чтоб анемоны расплывля и душу рвал чужую, при этом парус свой берёг от койтов и моли карусельной, чтоб... – да мало ли что ещё примером можно вставить, прервёмся, ведь всё же это заключение, конец – не стихам (упаси нас, боже) – венку, что слезами Гераклита стянут».

(Елена Меньшикова. *Совинья взвесь*. – СПб.: Алетейя, 2016)

Эхом расширяющихся смыслов...

Дрёма бытия

*Удары солнцем темные –
Поющие терновником, густые,*



Будили ночью каждый час:
 Гудели сирым долгам,
 Сквозным моментом
 Прожитого, невольного
 Шаманства лугового, –
 Так грустью пеленая,
 Взыскав пустоте и морю,
 Босой росой стучась в песок,
 Свиваясь в ямки узелок
 От нежности и страха,
 Память, подразнивая явью
 Дней одиноко хладных, тая
 И растворяя дрёму бытия,
 В раскатах прятала стихи,
 Сливая образ в ретушь звука...

20.10.2014 г.

Елена Меньшикова

*

...он растекался двойником,
 Размытой акварелью снов,
 Зеркальных окон, слов,
 В них распускались узелки
 И звуки, пришептывая, рокоча,
 Срываясь с уст и сквозь
 Глухой прибой, так неожиданно,
 Аргю с тобой... и тот
 Сквозь свист, сквозь сон:
 «Я-сон!», сквозь скрип кормой
 Сливают образ словно негатив
 На ялос.

Елена Коро

Нам явлен новый миф Елены о Протее. В поэзии Елены Меньшиковой он явлен ярко, в ликах, в кварках мигнов неупорядоченно текучего, изменчивого мира-Протее, удержать его лик можно только в миге настоящего.

В «Фаусте» Гёте мы видим, что Протее влечёт пламя, пламя гомункула, сотворённого Фаустом духа без плоти, чистое пламя заключённого в стекло Эроса.

Обманщик-Протей увлекает гомункула в океан, обещая духу рождение, дельфином довериться морю его увлекает, «по совету Протее гомункул охвачен томленья огнём», «слышатся стоны, вскрик потрясения», «стекло разбивается, а наполнение, светясь, вытекает в волну целиком», возвращая уловленный магом флюид – стихии морской, что принимает пламя Эроса, неупорядоченно сливаясь и расширяясь...

И хор сирен – песнь хвалы:

«Хвала тебе, Эрос, огонь первозданный,
 Объяввший собою всю ширь океана!
 Слава чуду и хваленье
 Морю в пламени и пене!
 Слава влаге и огню!
 Слава редкостному дню!»
 Гете «Фауст» (М., -Худ.лит, стр.304-305)

И это пролог священного действия, из пламени в пене нам будет явлена Афродита ль, Елена, Фауста фантазмагорическая мечта, Протей первым мигом творения и слияния антиномии священного огня Эроса и стихии морской, материнской утробы, начала вещей всех, оплодотворённых Эросом, предупредил явление в мир...

И следом следует уж похищение Елены в иное пространство-время – Фаустом, как тень вещи, как призрак, как духа, великий алхимик вызывает в свой мир Елену.

И Елена, как дух, вступает в сократический диалог с Фаустом, отзываясь созвучием платонической идеи:

Елена
 Как мне усвоить ваш прием красивый?

Фауст
 Он кроется в невольности порыва.
 Мы ждем в потребности обнять весь свет,
 Того, кто тем же полон...

Елена
 Нам в ответ.

Фауст
 Тогда наш дух беспечностью велик.
 Прекрасен только...

Елена
 Настоящий миг.

Фауст
 Жизнь только им ценна и глубока.
 Тому порукою?..

Елена
 Моя рука.

И Фауст, и Протей как будто следуют парадигме мигнов настоящего, сменяющих друг друга изменчивых мигнов, из которых ткётся настоящее время, без хронологического продолжения из

прошлого в будущее. Фауст в этой антиномии – Фауст-Протей – фигура, рационализирующая мистическое. Он тот, кто извне изменяет материю, руководствуясь интеллектом учёного и алхимическим инструментариумом.

Протей изменчив онтологически, сущностно. Его стихия изменчивых ликов настоящего обманчива, он длит череду фальшивых мигов, среди которых настоящий только один. Он искушает, заговаривает зубы, меняет лики, смеётся настоящему в лицо, ускользает из временной парадигмы вовсе, вновь являясь в любое из времён. Он знает, он владеет мигом настоящего, а посему он, как путешественник во времени, оседлавший настоящий миг, волен являться когда и где угодно. Вновь искушать, ворожить, пленять и – давать место рядом с собой во всех мигах и ликах, но овладеть мигом настоящего, а, следовательно, и всеми координатами времени в их продлении дано будет только тому, кто постигнет с ним настоящий миг.

Фауст вечно следует по уготованному ему Протеем пути, даже не подозревая о водителе, не подозревая о том, что Протей предуготовил ему Елену предыдущим мигом, Фаусту дан настоящий миг с Еленой, но после тот, кто дал, тот же и забирает.

А что же Елена во всех этих духовных приключениях? Вещь ли, призрак, платоническая тень?

И вот Елена Меньшикова дарит нам новый миф, даёт своё прочтение.

И новая Елена открывает череду духовных странствий встречей с фавном:

*«И был мой Фавн,
Возникший ниоткуда, вдруг...
Явился бог»
«Мой Бог на час, пират взаимный!»*

Явился бог на миг, вдруг из вневременья, явился фавном, солнечным и диким Эросом «ты высек море, чтоб послушно стало». Вот образ антиномии знакомой, дихотомии уже властного

Эроса, что море высек. Но не маячат ли за кадром действия и качества Протея, не им ли предуготовлен миг явления к Елене Эроса дикого, зрелого, властного флибустьера, призванного умертвить в жгучей страсти и воскресить, в становлении, новое истинное естество Елены? И вот он, настоящий миг:

*«Однако Фавн, презрев златое,
Востребовал иное:
Свиренное и злое –
Всю жизнь мою.
Но разве Богу отказать возможно?»*

«К Фавну»

За первый настоящий миг Елена, не колеблясь, платит всей дальнейшей жизнью – и чередой прекрасных мигов, приключений страсти в объятиях ликов-духов. И мы видим, что ни одно мгновение не фальшиво. И в перекрёстках спуганных проулков давних городов, в песках Магриба, в летящих даях Сальвадора, в личинах Дэва, дервиша или принца магрибского; во временах, в слиянии времён в прекрасный лик и в чередо ликов мы видим странствия Елены, познающей мир Протея, и, сущностно, себя в этом удивительном мире приключений духа. И всем своим умениям-дарам дух обучил Елену. И что же Елена, познавшая все миги-лики мира духа? Что Елене в дар предуготовил сам Протей, богов и духов подсылая к ней и пряча за их лики суть свою?

Она познала суть и получила в дар миг настоящий, в него миры и времена впледала. Их выткала из антиномий «гротескного сознания», познав природу Смеха, низвела трагическое в повседневность, до абсурда, став «кысью в мензурке веры химеричной». И мир подняв из антимира смехом, всё – в настоящем миге этом создала – не Фаустом, властительницей времени протеевой, и свой эксперимент вписала в хронологию времён.

ЛЕОНИД КОЛГАНОВ

У ЧУЖОГО ОГНЯ

о романе Емельяна Маркова «Маска»

Булгаковский Воланд показывает Маргарите глобус, приближает его к своему магическому глазу и глобус оживает. Видно дома, людей, гибель праздника...

Емельян Марков в романе «Маска» приближает взгляд читателя к разным точкам быта и бытия, высвечивает их, увеличивает до последней детали, до оттенков цвета, до запаха. Читатель наблюдает жизнь люмпенских хрущёб, где Достоевщина озвучена советскими песнями.

«...Он требовал у жены деньги, заработанные на бетонном заводе, если она не давала, запирали её на балконе для острастки. Она стояла под развешенным бельем, как под парусами, задумчиво курила, вглядываясь в городскую даль. Тамка постоянно держала чистое стиральное белье на верёвках, и в ночи оно белело на её балконе мистично».

Эти реалистичные сцены написаны как бы графически в чёрно-белой манере. Где женская красота парит над нескладностью быта, человеческого непонимания ближнего. И тут возникает цвет огулашающий, яркий.

«Губы только полные, цвета узловой нераспустившейся сирени, и тени сиреневые, как облачный испод, на губах, сама – не смуглая в шоколадный лоск, а бледная в сиренево-белый снег. Жёсткие волосики с синевой, как чёрные ветки берёзы, и чёрные глаза с синевой, как черника, по весне влажные от оттепели ветки берёз цвета черники, стекают берёзовые чернила с веток по стволу и мажут по нему кляксы».

Главная героиня родом из заштатного городка, но при этом она необыкновенной красоты мулатка. Вот взгляд переходит на другую точку, которая растёт, расширяется, и мы попадаем в провинциальный городок советских времён. Убожество красок, лагерная мораль. Клуб, грубо отремонтированный, в котором почему-то танцуют чернокожие в масках и набедренных повязках. И это тоже цвет, разрушающий засушенную темперу полинявших плакатов. Такой расписной афро-американский танцор прямо в маске берёт в объятия комсомольскую богиню, пришедшую спросить за кулисы, почему нарушается мораль на сцене идеологически выверенного Клуба. Без маски она его так и не видела... А через девять месяцев она и рождает маленькую мулатку.

Такой, я бы сказал, неореализм.

Мистика, фантастика запросто сосуществуют с детальной бытовухой.

Жизнь нищих у храма завораживает глубиной и мистицизмом диалогов. Работники храма из бывших сов.служащих. Они писаны явно маслом и по золотому сечению.

Главный герой Филипп Клёнов, отождествляющий себя с Мистером Иксом, ищет своё место в этом престранном существовании. Кажется, что он не вписывается в современность, будто прилетел на машине времени и здесь и сейчас для него нет нищ. Он расстался со своей первой любовью, портрет которой исполнен явно пастелью.

«Филия открыл. На пороге стояла светловолосая девушка, глядящая одновременно с вызовом, жалостью и насмешкой. “Нонна была права, – подумал Филия, – действительно приведение”».

«На пороге стояло то, что было забыто в мельчайших подробностях. Бережная, бережная память! Как рачительно она сохраняет самое дорогое, но ещё рачительней она это дорогое переводит к забвению».

Клёнов поёт в церковном хоре, играет в знаменитом театре, точнее, репетирует роль женщины Серебряного века... Раздербаненный этот век после отмены цензуры в изуродованном виде не изображает только ленивый. Вот и Филипп ходит по сцене Нового театра (прообраз явно МХАТ) и изображает сон поэта – Юношу в женском платье. Долго Филипп репетировал, полюбил странную театральную жизнь, как водится. И вот – репетиция пред очами хозяйки театра:

«– ...Вы единственный сын у матери? – проникновенно спросила Алла Васильевна.

– Да.

Алла Васильевна посмотрела на Филия с хищным умилением, глаза её сверкнули в полумраке зала. Она теперь была опять грандиозной, огромной, как на сцене и в кино.

– Зачем вы пришли в театр? – не понимала Алла Васильевна, – вам тут просто нравится? Вам тут удобно сидеть! – догадалась она с яростной улыбкой.

– Ну как сказать... Нет, мне тут не просто нравится. Я люблю театр, с детства.

– Издеваетесь? – зорко прищурилась Алла Васильевна.

– Смело ли...»

После изгнания с треском костей из театра герой почти погибает от рук приезжих искателей лёгкой добычи. Он и становится лёгкой добычей...

Но пастельная первая любовь устраивает его на прогулочный корабль поющим клоуном... На Волге... Служба эта заканчивается почти самоубийством. На глазах у «отдыхающей» девушки Клёнов прыгает за борт. Ему удаётся выплыть на неведомый ночной берег и постучаться в дверь при храме в клоунском размазанном прикиде...

«Филипп устроился на узкой кровати навзничь. Шутовская амуниция больше не тяготила его, но и под кладбищенскими звёздами, чей свет сочится на тёрфаску волшебю, как в склеп, он не выпустил паутиной нити

своих размышлений: «Куда же податься шуту? Коль скоро его шутлом сделали, завели его как шута? У шута, комнатного или площадного, один приличествующий исход – рыцарство».

За всем этим стоит небывалая современность России, на ощупь идущей в неизвестном направлении. Но катарсис в самой прозе. Глубине образов, подспудного юмора, родственного юмору Достоевского и Солженицына.

СТАНИСЛАВ АЙДИНЯН

В КНИГЕ СВЕТАНЫ ВАСИЛЕНКО...

(Светлана Василенко «Дневные и утренние размышления о любви» – М., Союз российских писателей, – 2016)

У Светланы Василенко, писателя известного и даже в начале XXI столетия прогремевшего, вышел большой однотомник, обширно озаглавленный «Дневные и утренние размышления о любви» (2016). Однако, открыв книгу, мы убеждаемся, что это не однотомник, это много книг в одном большом томе; то есть, можно даже сказать, «юбилейное» собрание сочинений. Светлана в юности очень любила В. Маяковского, и у неё, – читаем в книге, – «...был такой огромный том его избранных произведений в почти 600 страниц...» вот и у неё самой, волею судьбы, «родился» и пошёл по свету её собственный шестисотстраничный гигант.

Весь текст «возглавлен» романом-житием «Дурочка» (1993-98). Когда он вышел впервые, журнально, в «Новом мире», то сразу был замечен, о нём говорили. Многие почуяли в этой «безприютной фантазмагории» особую искренность, исповедальность, жёсткость, трагичность. Казалось бы, в повести жизнь при поверхностном чтении предстает вполне реальной, – тётка Харыта привозит устраивать в детский дом немую девочку. Она всё время молчит. Не умеет говорить. Но, бывает, песни поёт. Появление этой девочки было чудесным – «На плоту приплыла, по реке, в колыбельке. На малиновой подушечке, как куколка, лежала. Я лошадку пошла, смотрю – плывёт, я мужиков покричала, выловили. Она ещё зрудная была, всем селом выкармливали... Сейчас кормить нечем, голод кругом, вот сдаю...». В появлении героини «жития» сразу заданна сказочность, – вот так, из водной стихии, обретались на Руси чудотворные иконы, приплывали по реке, становились местнотчтимыми

святынями... Но героиню-девочку – зовут её Ганна, ожидает не радость домашнего уюта, а мытарства и испытания. Судьба ведёт её по белу свету как юродивую, её глазами мы постепенно начинаем видеть причудливый, жутковатый мир. Ей открываются «бездны», такие как – убийство сторожем детдома мальчика, как смерти людей, её приоткрывших, аресты... Было от чего оглохнуть к этому миру, уйти в себя, впасть в... – современным словом – аутизм. Но Ганна широко открытыми глазами видит людей, видит природу. Вот как она прямо медитативно разглядывает стрекозу – «У стрекозы было лёгкое, почти не весомое, будто не нужное ей, сухое тело. У стрекозы были лёгкие, прозрачные, как воздух, крылья. На круглой голове её помещались два огромных глаза. Они были во всю голову и вместо головы – глаза. Она будто думала глазами. Стрекозу, словно лёгкую и невесомую душу, спустили с небес на землю – смотреть». И мы начинаем понимать, что Ганна – никто иная, как Душа. В присутствии Души всё оживает, становится антропоморфным, – «река, сверкая и извиваясь, вдруг улыбнулась Ганне злобно сверкающей, лукаво ускользающей змеиной улыбкой...». И та же река в прозе у С. Василенко может обрести особую «оптику» образа – «река сверкала на солнце и становилась всё меньше и меньше, будто усыхала у неё на глазах. Её уже всю можно было поместить в кружку. Хотелось выпить речку».

Разворачивается, постепенно, строится событиями и характерами тканый холст народной жизни – тут и бой кулачный на льду реки, и гибель убиенного священника в проруби и сияющий солнечно ледяной крест! Текст всё более мифологизируется. Появляется из небытья легендарный

Стенька Разин – кузнец рассказывает девочке, что Стенька был такой – *«В острог запрячут – возьмёт уголь, на стене лодку нарисует, попросит воды испить, плеснёт – река станет. Сядет на лодку, кликнет товарищей и уж плывёт Стенька»*. И в повести, развернувшейся, начинают входить в права чудеса, то девочку, убогую дурочку деревенскую, за русалочку из реки Ахтубы примут, то стихия повествования сделает её «дочкой ханской, мамынской». Потом, претерпев насилие, учинённое над нею бандитами, она в сонном видении видит Божью Матерь. *«– Ты любимая дочь Господа, – сказала Ганне. – Я? – удивилась Ганна. – Но почему я? – Ты страдала, легко сказала Божья Мать»*. И тут, вопреки мыслимым канонам, в Ганне воссияла, раскрылась способность творить чудеса, излечивать. Нет, мёртвых она не воскрешала, но исцеляла. Да, читатель, вот где всё-таки понимаем, что это всё-таки «житие». Тело её осквернили, Душа осталась невинной. К концу повести Ганна чудом оказывается в своей родной семье. Повествование ведётся уже от лица её родного брата. Следует будто опрощение юродивого, очень русского по своей органике образа – и не целительница она уже, не чудодейница, а простая беременная дурочка. Именно в этой, последней части текста, когда Надька снова, замкнувшись в себе, входит в обычный повседневный мир, брат её говорит, что он «...чувствует Надькину добрую прекрасную душу, на которую накинута зачем-то глухое и немое тело, будто засадили в тюрьму, где ни звука, ни крика». И самым важным, самым главным апофеозом всей повести стала заключительная сцена, в которой деревенская Дурочка возносится над землёй, обхватив свой живот, как воздушный шар, и этим спасает планету в миг вселенской опасности, когда мир очутился на пороге Конца Света. Тут есть потрясающий сопутствующий фон этой картины – *«стояли овцы, подняв свои кроткие лица к небу»*, – мы слышим чуть не библейское, либо иконописное по тональности звучание. Надька-Ганна своим непостижимым для неверующих «вознесением» спасает Землю, она рождает огромное красное солнце, новое Солнце. Смерти не будет, не будет ядерной войны, наступит новый, обновлённый духом, мир!... Тут не «софийность», а через страдание и муки рождения – явление миру сокровенной Природы Планеты. Вот такая скромная вселенская мистерия от Дурочки! И совсем не удивительно, что критика по выходе «Дурочки» открыто говорила, что «не понимает» последней сцены. Духовное, даже чисто художественное, понять на фоне «горизонтальных», современных, густо метафорических текстов – нелегко.

В романной повести у Светланы немало сопутствующих главному образу персонажей, тут и боголюбивая, жертвенная тётка Харита, и добрая, душевная баба Маня, и злобно-одномерная дочь советской эпохи, атеистующая Тракторина; выпуклы и детские лица, и эпизодические, проходные... Действие во времени смещается, то это советские тридцатые годы с соответствующим духом времени атрибутами, а к концу – начало 1960-ых, Кубинский кризис, мир на грани атомной войны. Эта тема для творчества Светланы давно магистральная – в новой книге не раз она возвращается к своему родному городку Капустин Яр в Астраханской области, у речки Ахтубы, к пережитым там событиям. Василенко стала полноправным и, думаю, единственным летописцем этого местечка, по которому чуть не ударили американские ядерные ракеты. И тогда все они, жители, особенно дети, при ожидании неминуемой смерти, пережили нечто жуткое и великое. Ужас предсмертья учит. Жрецы древнего Египта вводили себя искусственно в предсмертное состояние, чтобы познать мудрость Жизни. А простые люди, пережив смертное ожидание удара, унесли в будущие дни своё невольное душевное «посвящение», своё прикосновение к тайне.

Эта тема событий близ даты 28 октября 1962 года прописана и в другой краткой повести – «Город за колючей проволокой», и тут С. Василенко верна себе в том плане, что по её страницам непринужденно рассказывает другая Дурочка, попроче, зато на смену той, «основной» Дурочке явлен трогательный дурачок, сирота Леша, немного юродивый, тут эта тема юродства и незащитной и тонкой «надмирности» тепло продолжена. Сей образ есть и в особом по жанру ритмико-прозаическом опыте Светланы, в её «Прозе в столбик», то есть в её верлибрах, где и речка Ахтуба, и посёлок, и её родственники, и сны. И автобиографичность, и исповедальность, – это у Светланы непременно есть во всех озаглавленных разделах её «собрания сочинений».

То, что Светлана закончила помимо Литинститута Высшие сценарные и режиссёрские курсы, чувствуется по тому, как выпукло и динамично, одновременно естественно строятся лица, характеры в её больших и малых «сказах». Они очень кинематографически зримы, и это сразу обличает талант писателя и подкупает. А есть у неё черты, не связанные с кинематографом. Это, например, особое умение эффектно, афористично заканчивать свою текстовую протяженность, – с чувством,

с нажимом, со всею глубиной внезапно блеснувшего смысла. Это качество ей исключительно редко изменяет.

Есть в составе книги и глубинно-психологические вещи, к ним относится повесть «Звонкое имя», рассказывающая о молодых годах героини Светланы – на сей раз почтальонши Натки. В повести терпко и остро показана стихия мыслей Женщины в её инстинктивном противостоянии менее чуткому (с её точки зрения) мужскому началу. И её жажда любви, и обнажён скользкая дорога двух взрослых людей на пути непрочного, болезненного сближения друг с другом...

Не только повестями «житийными» и реальными, не только рассказами, за которые не раз была премирована и отмечена автор, полны «Дневные и утренние размышления о любви». Нет, тут масса наблюдений, лирики, жизненных наблюдений и «горестных замет». Этот дробный и очень легко

читающийся свод малой прозы эссенстичен по своей сути. Столь же краткую эссеистику, ещё до того, как этот жанр так назвали, писал В.В. Розанов, самый свободный в своём самовыражении русский мыслитель, мне о нём его друг, А.И. Цветаева давным-давно говорила, что он был человеком «интимного собеседования». Вот и у Светланы Василенко многие страницы дышат именно этим «интимным собеседованием», в котором малое может неожиданно стать большим чем большое, а большое сравняться с малым... Речка Ахтуба может влиться в кружку, и её может выпить душою юродивая Дурочка, глядя на небо... Светлана допускает чудо на свои страницы, и ожидание чуда дремлет в её героях, не растерявших души посреди вяло текущей повседневности. Эти души живые. Они живут благодаря чуткому, прозорливому, одарённому перу Светланы Василенко.

СТАНИСЛАВ АЙДИНЯН

«ТЁПЛЫЙ СВЕТ ПАМЯТИ» СЕРГЕЯ ТИМШИНА

(Сергей Тимшин «Тёплый свет памяти» Стихи, циклы, поэмы) – Киев, –
Золотая серия «Писатель в Интернет пространстве», 2016)

Сергей Тимшин назвал свою книгу «Тёплый свет памяти». Это простое название как нельзя лучше отражает характернейшую, если не основную особенность всего его творчества. Стихотворные циклы книги большей частью действительно будто овеяны теплом. Сердечность – вот что прежде всего найдём в строках часто лёгких, музыкальных, порою графико-акварельных... Что же касается черт поэтичности, то Сергей Тимшин порою становится несколько парадоксален, когда, например, пишет – «*Кудрявый мальчик с метким луком / Нанёс ранение и мне, / Несовместимое с разлукой / Ни на земле, ни на луне...*». Амур или Купидон, божок любви, ранит поэта. И разлука с любимой более невозможна – «Ни на земле, ни на луне», то есть возникает спонтанная символизация – «на луне» – это читается как «сфера чувств», недаром во время Серебряного века в России людей чувственных, страстных называли «людьми лунного света» по названию одноименной книги интимнейшего мыслителя империи В.В. Розанова. Мечтательность, свойственная ритмическим текстам Сергея Тимшина – тоже лунная. Это вечерняя особенность поэта, не она ли проявляется тогда, когда он пишет – «*И там до утренней зари / Теплом кубанским одари, / И в наши веси забери, / Будить во сне не смея,*

/ Желанную мне феею...?».. Романтизм европейской литературы, что-то от старой Англии или Ирландии, лёгком касанием седых крыльев тронул его «Предрасветный экспромт» (1916)...

С. Тимшин, конечно, культурно оснащённый поэт, но, тем не менее, он не «книжный», в его строках лёгкое дыхание естественности при лирическом музыкальном ключе, которым владеет автор, пишущий о «гранатовых зорях»... В стихотворении «Здравствуй, Синица-Царица», он создаёт образ своей лирической героини, жильё которой фантазийно превращается из обыденной квартиры в сказочный терем. Атмосфера тимшинских строк пронизана «призвуками» лирической сказочности. Потому его писания не консервативны, а *вневременно поэтичны*, и это делает его творчество истинно привлекательным для внимательных, вдумчивых, творческих читателей... В его жизни неизменно присутствует мечтательность. В стихотворении «Лунные параллели» с подзаголовком «Невстреченной поэтессе», теме *невстречи* с возможной любовью соответствует извечная сердечная мечта о понимании, о возможной будущей радуге чувств... Можно жить бессеребрянником, но без поэзии и мечты такому поэту, как С. Тимшин – нельзя.

Цикл «Пред Вечным» посвящён религиозным, христианским чувствам поэта, он часто там афористичен, и от его строк также веет теплом и искренностью. Присутствие этого цикла, конечно, духовно и тематически обогащает книгу. Чувство космичности, которое по-настоящему некогда привнесли в русскую поэзию великие и теургические Владимир Соловьёв и Андрей Белый, присутствует в книге в цикле «Мой космос». Так что Сергей Тимшин не только лирик, но и мыслитель, у него имеются и теургические, и религиозные мотивы. Они присутствуют не формально, а овеяны всё тем же душевным теплом, которое есть основа его природного Дарования. И уж совсем неудивительно, что Тимшин обладает чувством Природы, которое он воплотил в цикла, названный «Есть в каждом сезоне отрада».

В стихотворении 2011 года «Социо-Логическое» Тимшин с присущей ему нотою исповедальной искренности говорит – *«Пусть и нищим кончусь под забором – / Были мне цельюем, а не мором, / Все мои беспутные стихи – / Те, что возместят мои долги, / Те, что мне – последняя опора...»*. Вот где не-

жданно проявилась вера творца-стихотворца в своё призвание, рождённое в «душевном непокое». И, надо сказать, это очень русская, славянская черта – воспринимать свой талант как нечто большее, чем *текстотворчество*, чувствовать, что в России «поэт больше чем поэт», не только потому, что ему подвластна эстетика Слова, но ещё и потому, что он, создавая в сущности стихи для себя, вольно и невольно помогает читателю не только расширить свои горизонты, но увидеть, прозреть в то духовное Солнце, о котором так вдохновенно писал самый духовный поэт XX века – Райнер Мария Рильке. Ибо ритмы во всех основных религиях мира имеют сакральный, таинственный и высокий поэтический смысл... Не даром у любого талантливого поэта сила в колокольном *призыве стиха* и в способности к обобщению и своему, оригинальному и уникальному взгляду на мир. И творчество Сергея Тимшина, конечно, в этом контексте, к счастью для ценителей Поэзии, также изобразительно и музыкально показательно...

СТАНИСЛАВ АЙДИНЯН

«КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДОЖДЯ» – КНИГА ТИХОЙ ЛИРИЧЕСКОЙ СТРУНЫ...

Людмила Саницкая «Колыбельная дождя» (Стихи о любви) – М., «Вест-Консалтинг», 2016

Книга с тихим лирическим названием – «Колыбельная дождя» принадлежит перу Людмилы Саницкой. Она автор опытный, у неё опубликовано шесть сборников поэзии и книга мемуарной прозы «Вверх по ручью». Печаталась в уважаемых и известных альманахах и журналах... У неё немало литературных заслуг и публикаций, она лауреат многих литературных премий (Грибоедова, Лермонтова, Есенина, Булакова), она долгие годы входила и полноправно входит в известное литературное сообщество женщин-поэтов «Московитянка»...

У книги Людмилы есть подзаголовок – *«Стихи о любви»*. Впрочем, почти все стихи, написанные на планете Земля – так или иначе – о любви. Даже если они о любви космической или о любви к Родине. Недаром Борис Пастернак как-то воскликнул: – «Да что такое жизнь, что такое жизнь, если не любовь?». Основа поэзии тоже, как и сама жизнь, зиждется на чувстве притягательном, пророческом... Своей теплотой оно, конечно, очень сродни любви...

У Людмилы Саницкой речь идёт, прежде всего, о любви земной, о её радостях и горестях,

о «девятом вале» чувственного прибою, увиденного несколько созерцательно, сдержанно, как бы со стороны... Марина Цветаева как-то заметила – «Сдержанный человек, это когда есть, что сдерживать».

На страницах книги – зримо и незримо действуют, чувствуют, живут лирические герои – Он и Она. Они, каждый по-своему, трогают струны жизни... Но его душевные движения мы видим прежде всего глазами её, она в книге – центр мира, лирический центр, а мы знаем, что любая точка может стать центром мира... Она, лирическая героиня, непрестанно чувствует и мыслит. Это она готова «разжать ладонь» навстречу его голосу!..

У Л. Саницкой в одном из «решающих», по нашему мнению, стихотворений сборника предстаёт странный, загадочный образ зелёного корабля, парусника, он рождён из «колыбели дождя». Дождь в этом стихотворении всё окрашивает в зелёный цвет. Кораблю суждено когда-нибудь выплыть в золотой и червонный цвет осени. Но это не сейчас, погода... Строго индивидуальный образ зелёного корабля не почерпнут из традиционного

арсенала принятой образности европейской или восточной поэзии...

Многие стихотворения Л. Саницкой, действительно написаны как сквозь туманную дымку дождя. И стихи эти подчас не что иное, как тонкие, женственные, поэтичные наблюдения над природой и жизнью...

Лирическая героиня чувствует себя порой «виноватой» перед ним, который может быть «молчаливым, скучать и злиться...» или может запретить ей «быть грустной, плачущей, усталой...», и мы понимаем, какой это подвиг – преданная, осторожная и, главное, самоотверженная Любовь. И эта позиция глубоко любящего человека вызывает уважение. Как-то у Александра Блока спросили, как он относится к Анне Ахматовой. Он долго не хотел отвечать, затем всё же ответил – «Она пишет стихи, как перед мужчиной, а надо писать как перед Богом!». А. Блок писал подавляющее большинство своих собственных стихотворений именно как перед Женщиной, а не как перед Богом!.. Марина Цветаева, которая, как и Ахматова, часто тоже писала «как перед Мужчиной», об Ахматовой сказала: – «Ахматова – это совершенство, но в этом её предел...». Так, значит, может быть лирическая женская поэзия в максимальном выражении таланта «совершенством», даже если она не подымается до высочайших теургических высот, завещанных нам поэтами-пророками, мыслителями – Вл. Соловьёвым, А. Белым, Вяч. Ивановым...

Свою «Кольбельную дождя» её автор Людмила Саницкая в предисловии «От автора» открыто называет «лирическим дневником»... Хотя тут же оговаривается, что в неё вошли стихи, написанные в юности и созданные в ту пору, когда «эмоциональные бури стихают». Юношеским, например, видится стихотворение «Весна», в котором – предощущение жизни. Также можно сказать о – «Дальний мой!..», где чувствуется ранимость души, тронутой тенью смуты. Или в следующем – «Это зыбко, это спорно...», где есть строки – «Ни от нормы, ни от права, / ни от шутки, ни от зла... / Только странная отрава / дымом на душу легла. / Только тонкое запястье / обвила цветная нить. / Только хочется со счастьем / эти странности сравнить». Не зыбкая ли тень увлечения, соблазна тронула девичью душу?! Сверчок может заиграть на скрипке чувства внезапно, не вовремя, не в тот миг, не в тот год, или когда кажется, что уже поздно. А когда-то было слишком рано... Что ж, тут чувства живут в их радужном и *верно-широком* спектре... Ведь в жизни человека когда-то неизбежно начинается путь по тропинкам чувствований, возникает чуть

слышимый, полный нюансов диалог. Идут вечные сравнения образов людей с образами Природы и даже Сиреневый куст может в воображении поэта предстать хмурым и северным, как избранник лирической героини. Для Л. Саницкой, объёмно чувствующей реальность, всё оживает, раскрывается, или создается, как, например, в том же стихотворении далее рождается исключительно поэтичный, прямо зримый образ лета – «Там яблоки светом горят изнутри / И духом малинным исходит лукошко / И цвет земляничный у стёкол в окошке, / И сок земляничный в полоске зафи»...

Мир, встающий со страниц «Кольбельной дождя», прежде всего, обаятелен. И своеобразен своими авторскими нюансами – вот, в стихотворении «Говоришь умно и многословно...», которое относится к теме «сердца горестных замет», и эта тема занимает немалое место в сборнике, автор говорит о том, как лирический герой красноречив и остроумен, но ей, лирической героине, хочется остыть от лицедейства, она обращается ко всеильному Времени – просит его охранить от марева обмана и соблазна... Но, взмывом, бурей чувства она внезапно прерывает себя – «Или нет – дай заболеть надеждой, / Обмануться дай в последний раз!.. / Это правда в будничных одеждах, / Это правда разлучает нас...». При кажущейся простоте – какой динамический поворот, какая жажда – вновь очароваться и увлечься речью, именно «заболеть надеждою» на ответное чувство... Надеждою любящие именно болят... Психологической и лирической правдой веет тут от многих строк.

Также одним из лучших стихотворений сборника нам видится – «Я плавать не умею, а плыву...». В нём лирическая героиня «плывёт по течению» жизни, и хотя она плывёт одна, но она ранена чувством и в её душе есть Любовь, есть любимый. А как тонко передана стихия уносящая, стихия жизни, данная через образ воды, течения! – «Я плавать не умею, а плыву, / Как волосы осики – по теченью. / На мне блестит спокойное свеченье / Высоких звёзд, вкраплённых в синеву». И потом – образ «лодки с переломленным веслом», неудержимо минующей «мель и быстрину»...

К Мудрости осознания приходит поэт, когда в стихотворении «Нет более в звучанье слов» описывает своё ощущение обретения Основы, когда слова лишаются своего «платья», обличья, и поэт ощущает «Лишь первозданное свеченье / Их сокровеннейших основ»... Вот и духовный по сути мотив, который прихотливо, но органично влетён в эту книгу тихой лирической струны...

Автор сам даёт читателям «компас» для чтения книги, когда стихотворения объединяет в циклы

– «Предчувствие», «Встреча», «Счастье», «Расставание», «Память», «Эпилог».

В этих, казалось бы простых, «однословных» или «односложных» названиях собственно, всечеловеческая история каждой любви. И эта обобщённость, конечно, сильная сторона книги, обобщение дает многим, если не всем стихам возможность быть и в циклах, и вне их...

Л. Саницкая не пользуется тяжёлыми каскадами сложных по смыслу и строфическому строю метафор, хотя это часто свойственно современной российской поэзии. Её поэзия создаёт образ за образом, она может быть поступательно повествовательной, и оттого реалистичной. Но когда в её стихотворении «Зима» «Кукушка в ходиках стальных» «дробит» тишину пустую, мы понимаем, что эта «простая» образная система по-своему точна, выверена... И читатель с интересом построчно наблюдает за тем, как мир, опустошённый «слепым нашествием разлуки», наполняется светом из окна, наполняется и голосом пророчицы-кукушки, кукующей надежду – «П долго-долго со стены / Душе кукушка толковала, / Что жизнь ещё не миновала, /

А лишь застыла до весны».

Особого слова заслуживает художник-иллюстратор «Кольбёльной дождя», Татьяна Марковцева, ныне живущая в США. Она очень тонко и женственно «сопровождает» стихотворения графическими листами-изображениями. В художественных кругах говорят, что «высший пилотаж» графика, рисовальщика состоит в умении, рисуя, создать образ, который был бы рожден единой «извивной» линией... Вроде того, как Пикассо мог нарисовать быка буквально несколькими линиями...

Так вот, Т. Марковцева с исключительным изяществом и линейным минимализмом – разнообразно, женственно и профессионально справилась с задачей оформления. А автор-поэт затем «одел» её графику в рамки в стиле «модерн», что создало ещё более единства художественной серии и сделало эту «лунную» галерею изображений ещё ближе к своей благородной задаче – сопровождать и раскрасить безусловно талантливые и умные чувством стихи...

АЛЕКСАНДР РАТКЕВИЧ

ПОЭТИЧЕСКИЙ ИМПУЛЬС БРОНИСЛАВЫ ВОЛКОВОЙ

(Шёпот Вселенной. Избранное из десяти сборников. Авторский перевод с чешского. – Москва: ИПО «У Никитских ворот», 2015. – 144 с.)

Читать стихи Брониславы Волковой не просто, а трудно. Это не только интеллектуальная работа, но и целый процесс освоения созданной автором вселенной. Эта вселенная не говорит, не кричит – она шепчет. И её шёпот – на уровне ультразвука и инфразвука. Возможно ли это слышать человеку? Ответ как на ладони: сам факт существования тонко вибрирующей поэзии Волковой, её то сужающееся до одного аккорда, то расширяющееся до оркестрового звукового потока звучание предрасполагает к восприятию поэтической вселенной Волковой, насколько бы эта вселенная не казалось недосягаемой для человеческого разума.

*Я гляжу в воды, как в зеркала.
Я качаюсь в ловащих волокнах тела.
Шушу свой сон.
Снимаю
час, который уже пробил,
и слышу его власть,
когда он стекает ручейком по виску.*

Бронислава Волкова – поэт трансцендентный, то есть её не устраивает эмпирическое познание поэтики или познание на опыте. Своей мыслительной способностью она берёт любой объект или субъект, любую вещь или вещь-в-себе и переустраивает их таким образом, чтобы они несли поэтическую потенцию, которая воздействует одновременно на все человеческие органы: глаза, сердце, мозг, кожу, позвоночник и т.д. Её метафорические конструкции ваяют здание стихотворения таким образом, чтобы в нём уживались все предметы и вся чувственная энергия одновременно, и чтобы они создавали полифоничность звучания, как, впрочем, и ощущения.

*Маленькие растеньица,
абсурдно расколотые мечами,
размывают дорогу.
Рассвет умирает перед рождением.
Я обессиленна от лжи,*



языки которой небрежно начинаются на первом этаже.

*Старое обещание, останавливаемое иногда шатки-
ми рассветами,
разъедает мою печень, определяет мой шаг
до самого конца дорог.*

Несомненная смысловая абсурдность стихотворной строки Волковой придаёт ей современное очарование, заключающееся в осознании того, что будущее литературы за абсурдной логикой, что подтверждается нарастающей читаемостью таких писателей, как Джеймс Джойс, Марсель Пруст, Сэмюэль Беккет, Франц Кафка и др. Причём Волкова трансцендирует достаточно банальные, знакомые каждому человеку предметы из окружающего нас мира, преобразуя их в предметы с поэтическим, то есть с более значимым смыслом и таким образом реализует метапоэтическую функцию языка.

*Я прошла миры, прошла галактики,
я обручилась с тем и с другим духом,
я зашла, как солнце, на ночь в трущобу
и расплавила замки, жилы, мусор,
постояла у объятий, тлела в простой земле,
сходила с ума от послания и от грязи пошлых дыр,
как сталь, плавилась в домнах,
хромала по склонам и, слабостью охрипевшая
вставала из могилы, сызла, звучала.*

Поэзия Волковой родственна таким литературным направлениям как поэтизм и катарсизм. Более того, в её стихах наблюдается семантический синтез этих направлений, порождающий иные миры стиха, где эхо сознания и подсознания, как инфракрасное и ультрафиолетовое излучение поэтической мысли, врывается в житейскую повседневность человека с целью индивидуального исцеления если не каждого, то хотя бы желающего этого, причём, на многих уровнях: национальных, религиозных, культурных и т.д. Эта борьба внутри поэтического анклава особенно трудна в наше время, когда быстрыми темпами происходит развитие личностного начала и когда не каждый захочет прислушаться к призывам поэта: «Преобразуйтесь обновлением ума вашего» (ап. Павел).

*Я ангел-полю-сопровождою-
Я являюсь тем, кто всё время моет свою душу
в болях и от желания
гореть и зажигать. Я прихожу, чтоб им
в нужде подать руку.
Я влажная, плавная, как божья мгла,*

*я вездесущая и созревшая
к поступкам. Однако мало кто
протянет ко мне руку.
Отчаяние и тень милее мне, чем
жизнь.*

Как известно, каждый слог, слово, синтагма имеют электрический импульс, движущиеся в человеческом сознании со сверхсветовой скоростью. Так вот, Волкова мыслительный импульс превращает в поэтический с ярко выраженной индивидуальностью, отчего её верлибры пульсируют с космическим размахом. Фотоны метафор и метонимий, кванты литот и гипербола, частицы эпитетов и сравнений в её опозитизированном мире фигурально движутся по галактическим рукавам, как вихрь втягивая в этот водоворот сознание читателя, показывая и доказывая ему о каплевидности существования на Земле и о масштабности и значимости жизни (и смерти) во Вселенной, не прекращающей напёпывать поэту, а через него остальным людям о том, что человек вышел из космоса и вновь в него вернётся.

...
*да, я живу,
и я ваше чудовище, потому что вы не привыкли
к моему своеволию,
к моей яркой краске,
к моему буйному окружению.
Я – ваша нежность, страсть, таяние,
я – ваша ода радости,
я – сила зрения,
я – жизнь, обнажённая до сердцевинки –
и без трагических жестов,
я – чудо жизни и здоровья,
я – ваше воскресение,
я – горло, полное голоса, который поднялся,
чтобы отпраздновать свою жатву.
...
я – танец ветра в Галактике,
который во Вселенной от блаженства стонет*

Поэзия Волковой является поиском универсального духовного развития не себя самой, не отдельной личности, а общества в планетарном масштабе. Зачем ей это? Для чего это нам? Вопросы, по сути, утилитарные. Полезность этого поиска однозначна и необратима, тем более, сейчас, сегодня, в наше спиюминутное время, когда целенаправленно набирает вес идея (якобы идея), что люди в основном делятся на торговцев и покупателей, и это возводится в константу. Поэту Волковой эта идея чужда, поэтому она (вме-



сте со своим лирическим героем) ищет и находит иные принципы единения человечества, не забывая, между прочим, что и ей как рядовому человеку ничто человеческое не чуждо, что и она (или её лирический герой), как и все люди, ходит по этой земле, испытывает чувство вины, угрызения совести, сострадания и ненависти...

*Я вся сгораю,
хотя часто кажется,
что только тлею
смущённо –
и бессознательно.
Улицы моих ночей
перепрыгивают огоньками нервных
волокон,
как свечи без церкви.
Воск
жадно капает
на мостовую...*

Отсюда сам собой выговаривается вывод, что поэтический стиль Волковой сформирован и являет собой универсальное значение и его необходимо понимать и ощущать как творение, а точнее, как стихотворную симфонию, исполняемую во славу всех живущих на Земле, которая (вместе с живущими) несётся, вращаясь, с огромной скоростью в ещё непознанных нами просторах Вселенной, являющейся, скорее всего, тоже поэтическим творением, в котором слиты в неразделимое единство все мыслимые противоположности. Потому-то так гармонично синтезированы в книге Волковой жизнь и смерть, мужчина и женщина, правда и ложь, жалость и ненависть..., поэзия и вселенная, в которой пока преобладает шёпот.

Нарастающий шёпот Вселенной.

ББК 84 (4 Укр-4 Олє) 62я45
Ю 195
УДК 821.161.1'06 (477.74) – 94

Підписано до друку 29.11.2016 р.
Формат 60x70/8. Гарнітура Garamond Narrow.
Папір офсет. Друк офсет. Ум. друк. арк. 20,79.
Зам. 1358. Тираж 500 прим.

Видавництво КП ОМД (свід. ДК № 774 від 17.01.2002 р.)
Надруковано в КП «Одеська міська друкарня»
65012, Одеса, вул. Пантелеймонівська, 17